

Английский детектив

# misterium

**БАРБАРА ВАЙН**

**ПЯТЬДЕСЯТ  
ОТТЕНКОВ ТЕМНОТЫ**

РОМАН, ПОЛУЧИВШИЙ  
ПЕРВУЮ ПРЕМИЮ  
EDGAR ALLAN POE AWARDS



## Annotation

Вера Хильярд совершила ужасное преступление — и должна быть сурово наказана. Ее приговорили к казни через повешение — одну из последних англичанок за всю историю страны. А за сухими строками приговора потерялась печальная история обычной домохозяйки, которую все знали как благонравную и безобидную женщину. Но никто даже представить не мог, какую страшную семейную тайну долгие годы хранила Вера в самом дальнем и темном углу своей памяти. И чтобы скрыть эту тайну от окружающих, она была готова на все — даже на жестокое убийство. И на собственную смерть...

Барбара Вайн — псевдоним знаменитой «баронессы детектива» Рут Ренделл. С тех пор как в 1964 г. вышел в свет ее первый роман, она удостоилась множества наград, в числе которых: «Золотой кинжал» Ассоциации британских авторов детективов за лучший детективный роман (1976, 1986, 1987), «Бриллиантовый кинжал» за вклад в развитие жанра (1991), британская Национальная книжная премия Совета по искусствам в жанре художественной литературы (1980), три премии Эдгара Аллана По Ассоциации американских авторов мистических триллеров и др. В 1996 г. она стала кавалером ордена Британской империи, а в 1997 г. — баронессой и пожизненным пэром. Ее книги переведены на двадцать пять языков.

---

- [Барбара Вайн](#)
  - [1](#)
  - [2](#)
  - [3](#)
  - [4](#)
  - [5](#)
  - [6](#)
  - [7](#)
  - [8](#)
  - [9](#)
  - [10](#)
  - [11](#)
  - [12](#)
  - [13](#)

- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [notes](#)
  - [1](#)
  - [2](#)
  - [3](#)
  - [4](#)
  - [5](#)
  - [6](#)
  - [7](#)
  - [8](#)
  - [9](#)
  - [10](#)
  - [11](#)
  - [12](#)
  - [13](#)
  - [14](#)
  - [15](#)
  - [16](#)
  - [17](#)
  - [18](#)
  - [19](#)
  - [20](#)
  - [21](#)
  - [22](#)
  - [23](#)
  - [24](#)
  - [25](#)
  - [26](#)
  - [27](#)
  - [28](#)
  - [29](#)
  - [30](#)
  - [31](#)
  - [32](#)
  - [33](#)
  - [34](#)

- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)

- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)



**Барбара Вайн**

**Пятьдесят оттенков темноты**

*Темновая*

*адаптация:* состояние зрения, возникающее в результате длительного пребывания в полной темноте и характеризующееся постепенным повышением чувствительности сетчатки.

Адаптированный к темноте глаз — это глаз, в котором завершился процесс темновой адаптации.

*Джеймс Древер.*

*Психологический  
словарь*

# 1

В то утро, когда умерла Вера, я проснулась очень рано. Птицы тоже; в нашем зеленом пригороде их было больше, чем в деревне, и пели они громче. Они никогда так не пели за окнами Веры в Дедемской долине.<sup>[1]</sup> Я лежала, прислушиваясь к однообразным, повторяющимся звукам. Наверное, дрозд — если верить Браунингу<sup>[2]</sup> — повторяет каждую трель дважды. Это было в четверг, в августе, сто лет назад. Нет, конечно, не больше тридцати. Это лишь кажется, что очень давно.

Только в таких обстоятельствах не возникает сомнений, что кто-то должен умереть. Все остальные смерти можно предвидеть, предчувствовать или даже ждать с определенной долей уверенности, хотя и не с точностью до часа или минуты, когда не остается места надежде. Вера умрет в восемь часов, и тут ничего не поделаешь. Меня начало подташнивать. Я лежала неестественно тихо, прислушиваясь к звукам из соседней комнаты. Если я проснулась, значит, отец точно не спит. Насчет матери у меня уверенности не было. Она никогда не скрывала неприязни к обеим его сестрам. Это стало одной из причин их отчуждения, хотя родители все еще были вместе — в соседней комнате, в одной постели. В те времена люди не так легко разводились и расставались друг с другом.

Я собралась встать, но сначала нужно было понять, где отец. Мысль о том, что мы можем столкнуться в коридоре — оба в ночных рубашках, с заспанными глазами, спешащие в ванную и вежливо уступающие друг другу, — почему-то вызывала ужас. До встречи с ним я должна была умыться, причесаться, одеться и собраться с духом. Я ничего не слышала, кроме этого дрозда, повторявшего свою идиотскую трель не дважды, а пять или шесть раз подряд.

На работу отец пойдет как обычно — я была в этом уверена. И имя Веры не прозвучит. Его не произносили в нашем доме с того дня, когда отец последний раз навещал Веру. У него оставалось одно утешение. Никто не знал. Можно быть очень близким с сестрой, с близнецом, и скрывать от всех свои отношения; никто из наших соседей не знал, что он брат Веры Хильярд. И клиенты банка не знали. Если сегодня старший кассир упомянет о смерти Веры, что вполне вероятно, поскольку люди будут обсуждать новость, в том числе из-за того, что речь идет о женщине, отец — я не сомневалась — вежливо, с напускным интересом повернется к нему и произнесет какую-нибудь подходящую к случаю банальность. В конце

концов, ему нужно жить дальше.

В коридоре скрипнула половица. Услышав, как закрылась дверь спальни, а потом — дверь ванной, я встала и выглянула в окно. Белесое и тихое утро без солнца и голубого неба; казалось, оно вместе со мной чего-то ждет. Половина седьмого. У окна можно встать так, что не будет видно ни одного дома — столько тут деревьев и кустов, и такая густая у них листва. Словно смотришь на поляну тщательно ухоженного леса. Вера презрительно отзывалась о районе, где жили родители: не город и не деревня.

Теперь встала и мать. Странно, но мы все проснулись очень рано, как будто собирались куда-то на каникулы. Когда я ездила в Синдон, то иногда вставала в такую рань, волнуясь в ожидании путешествия. Почему я искала общества Веры? Одна, она была беспричинно придирчивой и строгой ко мне, а когда приезжала Иден, они объединялись, не позволяя никому присоединиться к их альянсу. Наверное, я надеялась. Каждый раз я становилась старше, и по этой причине она могла перемениться ко мне. Но Вера оставалась все такой же — почти до самого конца. Хотя к тому времени она слишком сильно нуждалась в союзнике, чтобы привередничать.

Я пошла в ванную. Понять, закончил ли отец утренний туалет, было несложно. Он пользовался старомодной опасной бритвой и каждый раз, проводя лезвием по щеке, вытирал его о маленький квадратик газеты. Газету и кувшин с горячей водой он приносил сам, но убирать за ним всегда приходилось матери — мыльную пену со щетиной и пустой кувшин. Я умылась холодной водой. Летом мы включали бойлер один раз в неделю, чтобы принять ванну. Вера и Иден принимали ванну каждый день, и это мне тоже нравилось в Синдоне — моя ежедневная ванна; хотя из-за отношения ко мне Веры я предпочла бы увильнуть, если бы могла.

Принесли газету. Разумеется, новость появится завтра — несколько строчек жирным шрифтом. Сегодня там нет ничего о Вере. Она никому не интересна, забыта, вплоть до этого утра, когда вся страна вдруг заговорит о ней — и те, кто будут ее жалеть, и те, кто скажут, что так ей и надо. Отец сидел за обеденным столом и читал газету. Это была «Дейли телеграф», поскольку никаких других ежедневных газет в нашей семье не читали. Кроссворд он оставит на вечер — точно так же поступала Вера, за все эти годы лишь один раз позвонившая отцу, чтобы узнать ответ на вопрос, который ей никак не давался. Когда Иден жила в собственном доме и была богатой, она часто звонила и просила отца закончить кроссворд. С отцом и Верой она тягаться не могла.

Отец поднял голову и кивнул мне. Он не улыбался. На столе вчерашняя скатерть в желтую клетку, на которой не видны пятна от яиц. Продуктовые карточки еще не отменили, и мясо мы видели очень редко, большей частью питаюсь яйцами, которые несли материны куры. Отсюда крики петухов в нашем зеленом пригороде, хотя сама домашняя птица пряталась за живыми изгородями из жимолости и лавра. Однако в то утро яиц на столе не было. И кукурузных хлопьев — тоже. Кукурузные хлопья, с их оранжево-белым пакетом, мать посчитала бы легкомысленными. Она не любила Веру, и ее раздражала сильная привязанность отца к родственникам, но она хорошо чувствовала ситуацию и знала, что уместно, а что нет. Ни слова не говоря, мать принесла нам тосты, на которые — еще горячие — был тонким слоем намазан маргарин, банку джема из кабачков с имбирем и чайник с чаем.

Я знала, что не смогу проглотить ни кусочка. Отец ел. Он хотел, чтобы все оставалось как прежде, я это видела. Все закончено, черта подведена, и теперь прилагались титанические усилия если не забыть, то хотя бы делать вид, что все забыто. Молчание нарушил его голос, резкий и нарочитый — отец стал читать вслух. Что-то о войне в Корее. Он все читал и читал, колонку за колонкой, и слушать его становилось неловко, потому что никто так не читает газету — без вступления, объяснения или какого-либо предложения. Должно быть, это продолжалось минут десять. Отец дошел до конца страницы, где, вероятно, указывалось, что продолжение статьи на развороте внутри. Он не развернул газету. «На Дальнем...» — произнес он, но так и не закончил: «Востоке», а опустил, сложил пополам, потом еще и еще раз, так что газета снова приняла форму, в которой мальчик-разносчик просунул ее в щель почтового ящика.

Слово «Дальний» повисло в воздухе, обретая странный смысл, совсем не тот, что имел в виду автор статьи. Отец взял еще один тост, но не стал есть. Мать пристально смотрела на него. Думаю, когда-то она была нежна с ним, но у отца не было ни времени, ни желания на подобные чувства, и ее нежность усохла до потребности услышать похвалу. Не стоило ждать, что мать подойдет и возьмет отца за руку или обнимет его. А я сама, не будь ее рядом? Наверное. В нашей семье любовь никак не проявлялась внешне. Близнецы, например, никогда не целовали друг друга, хотя женщины чмокали воздух около щек.

На часах было уже без четверти восемь. Я продолжала повторять про себя (как дрозд, который к тому времени умолк): «На дальнем, на дальнем».

Сначала, когда это случилось, когда отцу сказали, он отреагировал

вспышкой ярости, отрицания, бессильного протеста. «Убита, убита!» — кричал он, как персонаж из трагедии елизаветинской эпохи, который вбегает в замок, принося ужасную весть. А потом: «Моя сестра!», «Моя бедная сестра!» и «Моя маленькая сестренка!».

Затем все скрыла завеса молчания и тайны. После смерти Веры эта завеса приподнялась на короткое время, когда мы с отцом — в запертой комнате, после наступления темноты, словно заговорщики — слушали рассказ Джози о том, что случилось в тот апрельский день. Отец больше никогда не говорил об этом. Он стер сестру-близнеца из памяти и даже заставил себя поверить — невероятно, но факт — в то, что был единственным ребенком в семье. Однажды я слышала, как он кому-то говорил, что никогда не жалел, что у него не было братьев или сестер.

И только после того, как отец заболел, незадолго до смерти, он воскресил память о сестрах. Удар, который с ним случился, словно содрал пласты осторожности и сдержанности, и отец иногда смеялся и часто плакал, постоянно возвращаясь к тому, что чувствовал тем летом. Любовь к Вере, подавляемая на протяжении стольких лет, превратилась в отвращение и страх; иллюзии разрушились под воздействием не только самого убийства, но также ужасной ссоры и аморальности — это его слово, а не мое — Иден.

Отец встал из-за стола, не допив чай и оставив второй тост точно в центре тарелки; «Телеграф» был сложен и лежал с тщательно выровненными по углу стола краями. Ни слова матери или мне. Он поднялся на второй этаж, потом спустился, и мы услышали, как за ним закрывается входная дверь. Я подумала, что отец пойдет по зеленым улицам, отклоняясь от прямого маршрута, превращая полмили до станции в две мили, прячась от времени в тех местах, где нет часов. Именно тогда я заметила, что отец оставил свои часы на столе. Взяла газету, а под ней оказались часы.

— Мы должны куда-нибудь переехать, — сказала я.

— Зачем? — с жаром возразила мать. — Она сюда почти не приходила. Неужели из-за нее мы должны уезжать?

— Наверное, не должны.

Я задумалась, на каких часах правильное время: настенных, показывавших без пяти восемь, или наручных часах отца, на которых было без трех минут. Мои часы остались наверху. В такие моменты время течет очень медленно. Казалось, ожидание продлится века. Мать составила посуду на поднос и отнесла на кухню — нарочито громко стуча чашками, как бы желая показать, что ни в чем не виновата. Невинная, она попала в

эту семью после замужества, не подозревая ни о чем. Другое дело я — во мне текла их кровь.

Я пошла наверх. Мои часы лежали на прикроватном столике. Новенькие — подарок родителей к окончанию колледжа. Тот факт, что из-за всех этих событий оценки оказались ниже ожидаемых, никак не комментировался. Циферблат часов был маленьким, не больше россыпи крошечных бриллиантов на моем обручальном кольце, лежавшем рядом, и чтобы рассмотреть положение стрелок, нужно было поднести часы к глазам. Я думала, что сегодня рухнут небеса или раздастся оглушительный удар грома — природа просто не может остаться равнодушной. Ничего не произошло. Только птицы перестали петь, но в это время так бывает всегда: территориальные претензии предъявлены, деревья заняты, и пора приступать к дневным делам. А чем сегодня заняться мне? Я подумала, что одну вещь сделаю точно. Позвоню Хелен, поговорю с ней. Это символично для моего отношения к помолвке и к будущему браку — за утешением я бросилась именно к Хелен, а не к мужчине, который подарил мне кольцо с россыпью бриллиантов размером с циферблат часов.

Я двинулась к прикроватному столику — напряженно, тщательно следя за своими движениями, словно плохая актриса в любительском спектакле. Режиссер непременно разозлился бы и заставил повторить действие: вернуться к двери и подойти снова. Я сама едва не попятилась, лишь бы не видеть время. Но пересилила себя, взяла часы, поднесла циферблат к глазам и почувствовала, как будто проваливаюсь в пустоту: я пропустила момент. Все уже кончено, и она мертва. Стрелки часов показывали пять минут девятого.

Единственный вид смерти, которую можно предсказать с точностью до минуты, смерти, заставляющей...

...задыхаясь, заплясать  
В петле над пустотой. [3]

## 2

За прошедшие тридцать пять лет я трижды видела ее имя в прессе. Один раз в заголовке газетной статьи из серии, посвященной женщинам, которые были повешены в Англии в этом столетии. Я ехала в вагоне метро и искоса поглядывала на страницу таблоида в руках сидевшего рядом мужчины. Буквы, складывающие ее имя, — жирные, черные, прямые — бросились мне в глаза, заставив вздрогнуть. На следующей станции я вышла. Конечно, мне очень хотелось увидеть вечернюю газету — тогда это была «Стар», — но я боялась, и страх победил. Еще раньше имя Веры появилось в «Таймс», когда в стране широко обсуждалась отмена смертной казни. Один из депутатов упомянул о ней во время дискуссии, и это попало в отчет о заседании парламента. Но в первый раз я увидела ее имя в библиотеке.

Имя *Веры Хильярд* стояло на корешке книги рядом с именами *Рут Эллис*<sup>[4]</sup>, *Эдит Томпсон*,<sup>[5]</sup> а также еще двумя или тремя другими. Я осторожно сняла книгу с полки и оглянулась, желая убедиться, что меня никто не видит. Поддержала книгу в руках, ощущая ее вес и форму, но вынести ее из библиотеки, открыть и прочесть — это слишком серьезный шаг. Я решила, что не буду торопиться, сначала подготовлюсь. Расслаблюсь и настроюсь на объективный лад. Два дня спустя я вернулась, и книга покинула стены библиотеки. К тому времени, как я взяла ее, мне удалось отбросить страхи, преодолеть запреты, и меня охватило волнение. Мне уже не терпелось узнать, что посторонний наблюдатель может сказать о моей тетке.

Меня ждало разочарование — если не сказать больше. Автор все понял неправильно. Он искажил общую атмосферу, совсем не показал дух нашей семьи и, главное, не разобрался в сути дела. В возмущении и раздражении я решила написать автору книги: целый день собиралась сесть за письмо и объяснить ему, что Вера не была ревнивой мегерой, а Иден — запуганным невинным младенцем. Однако я не только не написала письмо, но и не дочитала книгу до конца, поскольку поняла, что прочтенные главы уже принесли пользу. Со мной произошло нечто вроде катарсиса, изгнания бесов, и я смогла взглянуть в лицо фактам и сказать себе: она была всего лишь твоей тетей, все произошедшее касается тебя опосредованно, и ты можешь думать об этом, не испытывая реальной боли. Выяснилось, что действительно могу. В отличие от других, кто был гораздо ближе к Вере,

меня не связывали с ней плоть и кровь, любовь и ненависть. Я даже подумала, не написать ли книгу самой — рассказ осведомленного человека о Вере и о том, как все случилось.

Однако следовало подумать о Джейми. Это было до нашего знакомства и разговора у могилы Лэндора. Автор, книгу которого я читала, описывал Джейми как пешку, не знавшую ни любви, ни боли, как деревянную фигурку, а не ребенка, как бесполезную марионетку — Джейми не видел убийства, поскольку в последний момент его схватили и вывели из комнаты. Я почти не вспоминала о нем много лет, за которые он, должно быть, вырос — это трудно представить, потому что когда-то я очень хотела стать его крестной. Но прочтя несколько глав взятой в библиотеке книги, фрагмент, оказавшийся настолько неточным и фальшивым, словно автор писал совсем о другой семье, я стала думать о Джейми. И поняла, что для кое-кого из родственников он превратился в обузу. Джейми был катализатором этих событий. Вероятно, им казалось, что лучше бы ему — в том числе для него самого — вообще не появляться на свет, и эта мысль меня пугала. Разумнее всего — с его точки зрения и с точки зрения остальных — спрятать Джейми. Потом у меня мелькнула мысль, что когда-нибудь, когда я буду в Италии, нужно попробовать встретиться с ним.

Отчасти именно Джейми, его существование, тот факт, что он родился и теперь стал взрослым человеком, способным страдать, помешал мне написать что-то самой. Кроме того, я сомневалась в своей способности реконструировать жизнь Веры. У меня имелись воспоминания, и довольно много, но что делать с огромными пробелами, белыми пятнами в прошлом? Например, с годами, когда я почти не приезжала в Синдон, и промежутками времени, очень важными в роковом переплетении событий, — в частности, зима, когда Вера болела, и следующее лето, когда они с Джейми сбежали, словно спасаясь от угнетателя.

Рассказать обо всем мог бы Чед. Он был журналистом, знал, как это делается, и, Бог свидетель, не меньше меня наблюдал, как исполняется начертанное судьбой — даже больше, потому что всегда был рядом с «Лорел Коттедж», не мог расстаться с ним, привязанный к этому месту, к этому дому, подобно влюбленному, для которого кирпичи и цемент способны впитать аромат любимого человека, как пол детской впитал кровь.

Но так ли мне хочется, чтобы книга о Вере увидела свет? Я старалась забыть тетку и добилась определенных успехов на этом пути. Мои дети были уже почти взрослыми, когда узнали, что Вера Хильярд приходится им двоюродной бабкой — нет, лучше сформулировать по-другому: когда

узнали, что женщина, приходившаяся теткой их матери, была повешена за убийство. Имени Веры Хильярд они никогда не слышали. Разумеется, их чувства не ограничивались любопытством или волнением; узнав, они были шокированы. Мой муж никогда не упоминал о ней. Не думаю, чтобы моя мать до конца жизни хоть раз произнесла ее имя. Все это время Вера лишь изредка являлась ко мне во сне, когда я переносилась в детство и теплым летним вечером возвращалась от Энн в «Лорел Коттедж», выслушивая выговор за опоздание или характерное ворчание Веры, спрашивающей, помню ли я о том, что утром нужно вставать в школу. Или открывала дверь в комнату и видела сидящую на стуле Веру, похожую на мадонну, безмятежную и прекрасную, с обнаженной грудью, которую сосет Джейми. Младенец никогда не смотрел на меня, а отворачивался и закрывал лицо рукой. Но это Джейми, и все ниточки ведут к нему.

Мы остановились в отеле на Виа Кавур.<sup>[6]</sup> Позже Джейми рассказал, что именно здесь жил Фрэнсис, когда они впервые встретились после стольких лет разлуки. В номере Фрэнсиса висели две картины, уродливые абстракции с кричащими красками, вдобавок претенциозные. Он взял две узкие полоски белой клейкой бумаги, написал по-итальянски на одной «Угорь в разрезе», а на другой «Содержимое сточной канавы на Борго Пинти<sup>[7]</sup>» и приклеил к картинам. Джейми попросил меня, если это возможно, проникнуть в номер 36 и взглянуть на картины. У меня получилось — наклейки были на месте, «Contentuti d'un Canale dal Borgo Pinti», и вторая, надпись по-итальянски на которой я не запомнила. Ни горничная, ни коридорный их не заметили, а гости даже если видели и веселились, то не сообщили о своем открытии администрации отеля. Узнаю Фрэнсиса! Джейми получал огромное удовольствие от этой особенности Фрэнсиса и смеялся своим резким, булькающим смехом при одной мысли о его едких шутках и розыгрышах. Они даже подружились, эти двое — вот уж чего никак нельзя было ожидать.

Я не видела Джейми больше двадцати лет, почти двадцать пять. Разумеется, я знала, что он живет в Италии; тяга к этой стране возникла у него после проведенных там летних каникул вместе с графиней, у которой был дом где-то под Вероной. Окончив школу, Джейми немного пожил в Лондоне с еще одним родственником Пирмейна, а затем Тони отправил его в Болонский университет. Понимаете, Джейми всегда следовало держать подальше, поскольку он был обузой и напоминанием. Думаю, все это время Тони с ним не виделся, а поддерживал связь через адвокатов, как

персонажи викторианских романов, превратив в эмигранта, живущего на деньги, присылаемые с родины, хотя в данном случае за Джейми не числилось никакого проступка. Возможно, все было не так или не совсем так, по крайней мере, в деталях. Жизнь Джейми — и не только жизнь, а даже само появление на свет — оставалась загадкой.

Патриция сказала мне, что он журналист, военный корреспондент, побывавший во Вьетнаме. Хелен думала иначе. По ее версии, Джейми работал в Национальной библиотеке и был одним из тех, кто занимался спасением книг во время наводнения 1966 года, когда воды Арно затопили библиотеку. Правду мог открыть Фрэнсис, но никто из нас, даже Хелен, не поддерживал с ним регулярной связи — за исключением Джеральда, его отца. А у Джеральда, как утверждала Хелен, уже тогда, должно быть, «появлялись странности», поскольку он настаивал, что Фрэнсис говорил ему, что Джейми повар.

Во всех этих суждениях — обычное дело — присутствовала доля истины. Когда я поехала во Флоренцию, мне и в голову не пришло искать Джейми; это был мой третий или четвертый визит, и каждый раз я лишь мельком вспоминала, что несколько дней мы будем в одном городе, он и я. Но в Пизе, опоздав на флорентийский поезд и вынужденные как-то убивать время, мы купили газету «Ла Национе», и на одной из внутренних страниц я наткнулась на его имя: Джеймс Рикардо. Строка с именем (так ее называют журналисты — впервые мне объяснил это Чед много-много лет назад) располагалась между заголовком, переводившимся как «вкусная корочка», и статьей, посвященной рецепту сладкого песочного теста. Джейми *на самом деле* был журналистом, *на самом деле* поваром, а впоследствии он сам рассказал мне, что помогал спасать книги.

Приехав во Флоренцию, я нашла его в телефонном справочнике. Людей по фамилии Рикардо там было много, но из них только один Джеймс. Я боялась ему звонить. Телефонную трубку можно бросить, а письмо всего лишь не удостоить ответа. Я написала Джейми записку. Это было до того, как он переехал в район парка Орчелари — на углу, на самом верху там ресторан «Отелло» — и жил на улице рядом с Виале Грамши, около того места, где когда-то стояли городские ворота Порта-а-Пинти. Джейми ответил. Он слышал обо мне — Фрэнсис упоминал о существовании кухни и говорил, что в детстве мы были знакомы, но сам Джейми ничего не помнит. Наверное, нам следует встретиться. Смогу ли я прийти завтра на Английское кладбище, в три часа, сразу после открытия?

— Почему он не пригласил тебя домой или не пришел сюда, как цивилизованный человек? — спросил мой муж.

Я ответила, что его происхождение и его жизнь окутаны ореолом тайны, и ему, возможно, доставляет удовольствие поддерживать эту таинственность. Должно быть, он любит загадки.

— Нельзя сказать, что я в восторге от мысли, что у моей жены свидание на кладбище с каким-то странным обозревателем кулинарного раздела, — сказал муж. — В любом случае, лучше не зевать, когда будешь переходить площадь — тут столько машин.

Однако муж не пошел со мной, опасаясь, что его присутствие может оттолкнуть Джейми, как это произошло с Фрэнсисом. Он отправился на поиски пары туфель.

Протестантское кладбище у Порта-а-Пинти, называемое также Английским кладбищем, хотя там похоронены и американцы, и поляки, и много швейцарцев, похоже на зеленый остров посередине площади Донателло. Машины, как и предупреждал муж, несутся мимо, словно речные воды, окружающие остров. Был чудесный день, ясный и солнечный, с голубым небом, жаркий по нашим меркам, хотя флорентийцы, пережившие несколько месяцев настоящего зноя, уже переоделись в зимние наряды из шерсти и кожи. Чугунные ворота были закрыты, но при моем появлении привратник отпер их и провел меня через арку в сторожку, по другую сторону которой начиналось кладбище.

На кладбище было шумно — с потоками машин всего в сотне ярдов отсюда иначе и быть не могло, — однако там чувствовалась атмосфера тишины, призыв хранить молчание; эту атмосферу создавали ряды серых гранитных плит и тонкие кипарисы. Кладбище выглядело пустым. Я медленно пошла по дорожке к мраморной колонне императора Фридриха Вильгельма, мимо могилы Элизабет Баррет,<sup>[8]</sup> с опаской поглядывая по сторонам, чувствуя себя беззащитной и подозревая, что за мной наблюдают. Но Джейми не наблюдал за мной и даже не искал меня. Повернув назад, я увидела, что он сидит у могилы Уолтера Сэвиджа Лэндора<sup>[9]</sup> и читает — что меня не слишком удивило — знаменитую гастрономическую книгу Брилья-Саварина «Физиология вкуса».

Я не знала, что Лэндор похоронен здесь. Чед цитировал его в день свадьбы Иден, стоя на берегу озера в саду в Уолбруксе: «Все голоса, даже самые мелодичные, когда-нибудь умолкают: как бы страстно и пылко ни твердил ты любимое имя, все равно пройдет время, и эхо его неизбежно затихнет вдали». Теперь эхо имени Иден уже затихло. Я забыла, как звучит голос Чеды, хотя помнила его лицо, а также уши как у императора Адриана. Джейми посмотрел на меня и встал.

— Да, — сказал он. — Вы похожи на Лонгли. Я бы признал в вас Лонгли — по фотографиям, конечно.

Я протянула руку. Мы обменялись рукопожатием.

— Обычно я прихожу сюда днем, — объяснил он. — Здесь спокойно, но не тихо — вы меня понимаете. Людей мало. Люди боятся кладбищ. — Тогда я впервые услышала этот его странный, похожий на ржание смех. — Полагаю, вы предпочли бы получить приглашение в мою квартиру?

Американское выражение странно звучало в устах Джейми, с его выговором выпускника привилегированной английской частной школы и легким итальянским акцентом, особенно заметным в звуке «р». Оно было жидковатым, его «р», формировалось чересчур высоко. Я ответила, что мне все равно, а посидеть на свежем воздухе приятно. В Англии нечасто выпадает такая возможность.

— Я не возвращался туда четырнадцать лет, — сказал он. — И не думаю, что уже когда-нибудь вернусь. Мысль об Англии наполняет меня ужасом.

Его привычка смеяться, после того как он сказал что-то совсем не смешное, сбивала с толку; смехом он также выражал удовольствие или удивление. Смех смолк, и Джейми пристально посмотрел на меня. Внезапно он стремительно поднес правую ладонь к левому плечу, увидел, что я смотрю, отвел руку и снова рассмеялся. Это был коренастый, немного потрепанный, не очень высокий мужчина, выглядевший старше своих лет. Круглое, выразительное, несколько болезненное лицо, яркие губы и темные вьющиеся волосы делали его похожим на итальянца, что не удивительно — с учетом всех обстоятельств. В детстве он был белокурым, но кожа у него всегда имела оливковый оттенок. Глаза, на которые в те дни взрослые смотрели с любопытством и подозрением, гадая, изменят ли они свой цвет или останутся такими же, были карими и бархатистыми — глаза животного, но не укрощенного, а дикого. В тот день на Английском кладбище он почему-то напомнил мне Чеда — абсурдное предположение. Никакого внешнего сходства, и, кроме того, Джейми слишком молод, чтобы иметь сморщенные мочки ушей. Возможно, общим было впечатление, которое они производили: неудовлетворенного желания, неполноценной и потраченной впустую жизни.

Я села лицом к нему, и он принялся нерешительно — словно любопытство побеждало предубеждения — расспрашивать меня о семье; разумеется, это была и его семья, а не только моя. Я осторожно рассказывала, повторяя то, что репетировала во время долгой прогулки по Виа Кавур. Я чувствовала, что не стоит упоминать Гудни-холл, имя его

матери или мужчин, которые сделались его врагами безо всякой вины с его стороны, просто из-за самого факта его существования, а также из-за ревности, ненависти и уязвленной гордости. Моя мать тогда была еще жива, и поэтому я рассказала о своих родителях, о Хелен, ее детях и внучке.

— Я назвал себя Ричардсоном из-за тети Хелен, — сообщил Джейми. — Пирмейну было все равно. Ему наплевать, как я себя называю. — Он снова рассмеялся своим похожим на ржание смехом, и я вздрогнула, почувствовав отвращение и ненависть, в том, как он называл Тони «Пирмейном». Рука Джейми вновь мелькнула в воздухе, стряхивая с плеча невидимую грязь. — Зиа Франческа все время повторяла мне, как сильно он любит детей. Таким способом она пыталась убедить меня не переживать из-за того, что все время живу с ней, а не с ним. Тони слишком занят, но действительно любит детей. Вы в курсе, что он был важной персоной в «Фонде помощи детям»? Любил всех детей на свете, кроме меня. Туго ему приходилось, правда? — Джейми умолк и посмотрел на солнце; тонкие параллельные тени от кипарисов были похожи на прутья решетки. — Тетя Хелен часто рассказывала мне, какими чудесными людьми были ее бабушка и дедушка. Понимаете, в жизни мне встречалось не так много чудесных людей, и поэтому, когда Пирмейн сказал — он очень смутился и был напряжен, — что меня определили в частную начальную школу и мне нужно сменить фамилию, и предложил назваться Джеймсом Смитом, я ответил, что лучше не Смитом, а Ричардсоном. Ему было все равно. Вот так я назвался Ричардсоном, а потом стал Рикардо. Вы когда-нибудь слышали, как итальяшки произносят «Ричардсон»?

Будучи сам практически итальянцем, Джейми каждый раз использовал это презрительное, просторечное выражение, называя их «итальяшками». Внезапно мне стало отчетливо видно, какой он несимпатичный. Похоже, это лишь подчеркивало абсурдность нашей встречи на кладбище. Величественные каменные плиты, голубое небо, кипарисы, домик привратника с терракотовой крышей — все это должно служить фоном для какого-нибудь высокого, красивого, романтического и благородного человека. Именно таким и обещал вырасти Джейми, когда я видела его последний раз, в пятилетнем возрасте. Но судьба приготовила для него ужасные события, которые непременно должны были произойти — они толпились у порога, собравшись там еще до его рождения.

— До шести лет я ничего не помню, — сказал Джейми. — Самые ранние воспоминания относятся к лету, когда мне было шесть и от меня не отходили две женщины, которые мне не нравились.

— Миссис Кинг и няня.

— Наверное. Иногда появлялся Пирмейн и смотрел на меня взглядом, каким смотрят на собаку, которую поместили в карантин.

Я хотела произнести имя Веры, но боялась. Представив маленького мальчика — такого разговорчивого, живого, *милого* маленького мальчика, которым он был, — запертого в Гудни-холле с двумя наемными опекунами, я почему-то расстроилась. В конце концов, это было много лет назад, в давно забытом прошлом. Напуганная и удрученная, я хотела сказать, что скучаю по его матери, хотела выразить сочувствие, но не могла — и не только из-за нахлынувших чувств. Меня остановили не эмоции, а сомнение — я не знала, как выразить свою жалость, какие слова произнести. Джейми пришел мне на помощь.

— Может, выпьем где-нибудь кофе?

Я покачала головой. Одна из немногих вещей, которые мне не нравятся в Италии, — это кофе. Капучино мне не подходит, потому что я не пью молока. От эспрессо я бы не отказалась, если бы его можно было заказать полпинты, а не чайную ложку.

Джейми сказал:

— В следующий ваш приезд я вам что-нибудь приготовлю.

Я поняла, что мне оказана честь. В этой стране «высокой кухни» он, будучи англичанином, добился известности как повар и как эксперт в области кулинарии. В этот момент мне вспомнилась Вера и ее превосходное владение единственным разделом кулинарного искусства, в котором сильны английские женщины, — выпечкой. Я видела, как она смазывает маслом и переворачивает слоеное тесто на столешнице из серого в прожилках мрамора, видела в ее руках мраморную скалку с деревянными ручками, вновь почувствовала во рту вкус ее ватрушек с лимонным кремом, викторианских бисквитов и других сладостей, которые выкладывались к чаю.

Джейми поразил меня.

— Моя мать хорошо готовила, — сказал он.

Испытанное мною чувство было похоже на то, что мы ощущаем в присутствии человека, проблемы с психикой которого всем известны, но который ведет себя и говорит настолько рационально, что мы забываем о психозе или шизофрении, пока нам вдруг не напоминает об этом его замечание, приходящее из мира по ту сторону разума, где обитают только сумасшедшие. Я ни в коем случае не ставлю под сомнение здравый ум Джейми — он абсолютно нормален. Скорее его слова открыли дверь в мир невероятного, и первая реакция любого человека — сильный испуг,

который затем сменяется жалостью к тем, кто утешается иллюзиями.

Он снова поднял на меня глаза, похожие на глаза медведя. Потом вскочил и быстрым движением смахнул что-то невидимое с плеча.

— Пойдемте, — сказал он. — Я покажу вам могилы. Тут Айза Благден [\[10\]](#) и миссис Холман Хант. [\[11\]](#)

После этого мы с ним долго шли назад по Борго Пинти. Именно тогда Джейми рассказал мне о Фрэнсисе и о картинах и попросил проверить, на месте ли названия, которые дал им Фрэнсис. Мы снова пожали друг другу руки, собираясь расстаться, и он, впервые за все время смутившись, сказал мне:

— Если кто-нибудь когда-нибудь захочет написать обо всем этом — вы понимаете, о чем я — и если они обратятся к вам... я имею в виду, что к вам могут обратиться точно так же, как к любому другому... я не буду возражать. Насчет Фрэнсиса не знаю, но я возражать не буду. В сущности, я бы даже приветствовал, если бы все прояснилось, — мне бы хотелось знать *правду*.

— Но вы же сказали, что ничего не помните, — заметила я.

Смех Джейми эхом разнесся по узкой улице, так что люди стали оглядываться на нас. Попрощавшись, он ушел.

Я не могла согласиться с Джейми, что любой потенциальный биограф Веры обратится ко мне с той же вероятностью, что и к любому другому. Во-первых, я не думала, что такой биограф меня найдет, поскольку после смерти Веры дважды меняла фамилию. А во-вторых, я приходилась ей всего лишь племянницей, в то время как еще живы ее сын, муж и сестра. Хелен достигла того возраста, когда сама жизнь становится хрупкой, когда каждый день воспринимается как подарок, на который ты все же надеешься, когда понимаешь, что у тебя нет будущего, о котором можно говорить. Память о текущих событиях у нее ослабла, но воспоминания о прошлом остались яркими, а что касается проницательности, то я не знаю ни одного человека — любого возраста, — кто мог бы сравниться с ней. Тем не менее, когда Хелен сказала, что скоро мне придет письмо с просьбой о встрече, я не восприняла ее слова всерьез. Этот писатель, мужчина по имени Дэниел Стюарт, вероятно, задумал написать книгу о Вере и обратился за информацией к Хелен, но меня — я в этом не сомневалась — он проигнорирует. Как бы то ни было, Хелен клялась, что не называла ему моего имени. Может, это Джейми?

Стюарт — довольно распространенная фамилия. За прошедшие годы я, наверное, встречала многих Стюартов и Стьюартов, но, увидев подпись в

конце письма, почему-то подумала о Марии Стюарт, сцены из жизни которой разыгрывали мы с Энн, а также о том, что Гудни-холл был спроектирован Стюартом, чем Иден и Тони всегда гордились. К письму прилагалась книга: «Питер Старр, или Непонятое убийство», выпущенная издательством «Хайнеманн», стоимостью девять фунтов и девяносто пять пенсов.

На бланке был указан лондонский адрес, недалеко от нас, по другую сторону от Кромвель-роуд.

«Дорогая миссис Северн, — писал Стюарт. — Вероятно, вы уже слышали от других о моем намерении заново проанализировать дело Веры Хильярд. Ваше имя и адрес мне сообщил ваш кузен Фрэнк Лодер Хиллз; сам он, однако, не пожелал делиться воспоминаниями...»

Разумеется, Фрэнсис. Исключительно ради того, чтобы доставить мне неприятности, подумала я, а затем — как предположил муж — подать в суд на меня и Стюарта, если Фрэнсису покажется, что мы его оклеветали. Далее Стюарт писал о своем ощущении, что Вера была осуждена несправедливо. Очевидно, он специализировался на переоценке дел об убийстве, рассматривая их заново, с точки зрения того, кого он называл злоумышленником.

«Мистер Джеймс Рикардо, проживающий во Флоренции на Виа Орти Орчелари, любезно поделился со мной своими детскими воспоминаниями. Мистер Энтони Пирмейн в настоящее время находится на Дальнем Востоке, но...»

На Дальнем, на Дальнем... Географический трюизм из газет, радио и телевидения, увидев или услышав который я каждый раз вспоминала о том, как в утро казни Веры отец читал вслух — невыразительным, монотонным голосом птицы майны. «На Дальнем...» — произнес он, сложил газету и умолк.

«Миссис Хелен Чаттерисс уже поделилась своими воспоминаниями, а мистер Чед Хемнер обещал рассказать мне о собственных впечатлениях. Плохое здоровье заставило его отказаться от намерения самому написать биографию Веры Хильярд».

«Если вы сообразовите прочесть мою книгу о Питере Старре и если вас удовлетворят мои способности к такого рода расследованиям, я бы хотел прислать вам копии черновиков первой и второй главы. Первая глава посвящена самому убийству. Я понимаю, что в тот момент вас не было в Гудни-холле, и поэтому вы не в состоянии оценить точность описания. Из всех очевидцев в настоящее время жива только миссис Джун Стоддарт, но ее воспоминания о том событии — как она сама призналась — весьма

расплывчатых».

«Однако моя вторая глава ставит целью познакомить читателя с историей семьи начиная с вашего прадедушки, Уильяма Лонгли. Ваше подтверждение этого рассказа, а также любые исправления, которые вы пожелаете сделать, окажут мне неоценимую помощь. Вы увидите, что я опирался в основном на письма, имеющиеся в распоряжении миссис Чаттерисс и семьи Хаббард, а также — в определенной степени — на информацию о Вере Хильярд из книги Мэри Гоф-Уильямс „Женщины и смертная казнь“».

Письмо обрывалось внезапно. Как будто Стюарт понял, что увлекся и начинает рассуждать так, словно я уже одобрила его идею и согласилась сотрудничать. Ужасно не люблю читать книгу с определенной целью. С тех пор, как мне приходилось это делать, прошло много лет, и в те времена — когда произошло убийство в Гудни-холл — книги, которые я была вынуждена читать, казались мне стоящими; это была настоящая литература, лучшее из всего написанного. Что я могу сказать о произведении Стюарта? Неплохая книга, совсем неплохая, написанная простым и понятным языком, без вымышленной сенсационности. В жизни Старра — как и в жизни Веры — хватало сенсационности, и в преувеличениях не было нужды. Тем не менее я не дочитала книгу до конца; смысла не было, потому что я уже поняла, каким будет мой ответ на письмо — положительным. Я прочла достаточно, чтобы сделать вывод и надеяться, что автор будет деликатен, не слишком резок и поймет, что такое невыносимое бремя любви.

Она вернулась в мою жизнь после отсутствия, длившегося почти треть века. Хелен и Дэниел Стюарт вернули ее мне, и теперь она здесь, у меня, стеснительная гостя, какой всегда была, когда ночевала в чужих домах. Я живо представляла ее: не Веру с фотографий из «шкатулки», юную, чистую, с открытым взглядом, а мою худую, нервную, придирчивую, часто нелепую тетю, с ее странной, ни на что не похожей привычкой — такой же бессознательной, как взмах руки у Джейми или нервный тик, — вдруг прижимать ладони друг к дружке и опираться на стиснутые руки, словно ее терзает внутренняя боль. За прошедшие годы воспоминания о ней не раз приводили меня в самую маленькую, не используемую спальню, где стоял «сейф», заставляли поднимать крышку и еще раз перебирать содержимое, останавливаясь, чтобы рассмотреть фотографию, прочесть строку из письма или просто погрузиться в ностальгические грезы при взгляде на вещицы, которые отец сохранил на память о своих сестрах.

Что бедная Вера подумала бы о нравственном климате нынешних дней? Я могу представить ее упрямый и недоверчивый взгляд. Произошла сексуальная революция, и мир изменился. То, что случилось с ней и Иден, не могло бы случиться сегодня. И мотив, и само убийство принадлежали тому времени, произрастали из него; сегодня они не только невозможны, но и абсолютно непонятны молодым, если им не объяснить нравственные нормы той эпохи. Вера вернулась ко мне, присутствовала в моем доме, словно призрак, видимый лишь одному человеку, лишь тому, кто проявляет интерес, и поэтому я попыталась кое-что рассказать своей дочери, попробовала просветить ее.

— Но почему она не... — перебила меня дочь. — Почему она не сказала ему? Почему просто не жила с ним? Почему хотела выйти за него замуж, если он так к ней относился? — И еще: — А что с ней могли сделать?

В ответ я лишь растерянно пробормотала:

— Тогда все было иначе.

Действительно, иначе. Знает ли Стюарт, тоже молодой человек, до какой степени иначе? А если нет, поверит ли мне на слово? Или я сама пойму — когда, скорее всего, начну размышлять, сообщая ему голые факты, исправляя очевидные ляпы, слегка погружаясь в воспоминания, но все время, раздумывая о реальной книге, — что пленка с записью Веринной жизни проигрывается только в моей голове?

Дело сделано — они схватили Веру, отобрали нож, который она хотела направить на себя, связали ей руки. В самый последний момент Джейми увели из комнаты. Плакал ли он тогда? Может, кричал и звал мать? Никто никогда не говорил об этом, словно миссис Кинг подхватила какое-то маленькое бессловесное существо, ошеломленное и растерянное, — хотя, возможно, именно так и обстояло дело. Стюарт все правильно описал — все, вплоть до Веринной одежды, сшитой из одеял и сохранившихся довоенных вещей, вплоть до фриза в детской и даже до брызг крови, попавших на сине-белый коврик и блестящую каминную решетку.

Насколько мне известно. Как верно заметил Стюарт, меня там не было.

Я видела, что суть этой загадки он излагал в разговорном стиле, повторяя общепринятую версию. Оставить ли его в невинном заблуждении? Или рассказать о главном вопросе, до сих пор оставшемся без ответа?

Джейми знает ответ. По крайней мере, так он утверждал в письме, которое я получила сегодня. Намек на это его убеждение прозвучал во время нашей встречи на Английском кладбище, но, как наиболее пострадавший и ранимый участник драмы, Джейми вряд ли может быть беспристрастным судьей. Разумеется, он совсем не хотел бы выступать в этой роли, но как тогда относиться к его заявлению, что он ничего не помнит до шестилетнего возраста? Совершенно очевидно, что его убежденность основана исключительно на влечении сердца, на тоске по обожаемому существу, на преклонении перед тем, кто постоянно является к нему во сне, хотя воспоминаний о нем не сохранилось.

Во второй главе Стюарта, в истории нашей семьи, места для Джейми не нашлось. Возможно, Стюарт сократил текст, поскольку толком не знал, куда вставить Джейми.

Семья Лонгли жила на викторианской вилле (писал Стюарт) в деревне Грейт-Синдон, в Эссексе, меньше тридцати лет. Виллу никак нельзя было назвать семейным гнездом. Артур Лонгли купил дом на небольшое наследство, полученное женой одновременно с его вынужденным уходом на пенсию из страховой компании «Пруденшл». Если у Лонгли и были какие-то корни, то лишь в оживленном городке Колчестер. Там с начала девятнадцатого века они владели обувной мастерской в домике с витриной

почти у самого замка.

Колчестер считается самым старым английским городом, известным из письменных источников. Римляне называли его Камулодунум; именно в этих местах с ними сражалась королева Боудика. Для саксов он был Кольнекест, и река до сих пор называется Кольн. Сторожевая башня романского замка построена в 1080 году, и если смотреть на башни и крыши из голландской черепицы в солнечный день, то можно представить, что вы в Тоскане. Сегодня в Колчестер ведут два шоссе, и он опоясан «экспериментальной» кольцевой автострадой; имеется также объездная дорога, зачастую более запруженная, чем проезд через центр. В городе есть многоэтажные автостоянки с фасадами из красного кирпича, не очень удачной имитацией средневековых крепостей, безжалостная система улиц с односторонним движением, а внутри древних римских стен — лабиринт из старинных домов, превращенный в пешеходную зону.

Именно здесь, в совсем иные времена, в более мирной и безмятежной атмосфере шил и ремонтировал обувь Уильям Лонгли, а затем, разбогатев, нанял трех человек, которые работали в задней комнате его дома. Мастерская Уильяма до сих пор существует — в тупике, которым кончается Шорт-Уар-стрит, — и в ней теперь разместилась бухгалтерская фирма. Дверь между магазином и мастерской сохранилась, вместе с круглым стеклом диаметром в два дюйма, вставленным в дубовую доску, — через него Уильям мог незаметно следить, как шьют обувь его работники.

В 1859 году Уильям женился на Амелии Джекмен из Лэйер-де-ла-Хай. У них родились три дочери, а потом сын. Мальчик, названный Артуром Уильямом, получил гораздо лучшее, чем отец, образование, но, тем не менее, должен был унаследовать семейное дело. Юный Артур подавал большие надежды в средней школе Генриха VIII, основанной в 1539 году, и у него были другие планы. Соблазны среднего класса, такие притягательные для рабочего человека из этих слоев общества, склонность к тому, что в наши дни называют «вертикальной мобильностью», заманили его в ловушку, и отец не стал сопротивляться. Уильям Лонгли взял в обувную мастерскую мужа своей дочери Амелии, а Артур устроился в «Пруденшл» на должность страхового агента. Начинать он достаточно скромно, объезжая свой район на велосипеде и проживая вместе с родителями и незамужними сестрами.

Несмотря на свое честолюбие, Артур никогда не зарабатывал много денег. Район нельзя было назвать процветающим, и комиссионные оставались весьма скромными. Богатство пришло к нему в результате женитьбы. Его первая жена была единственной дочерью джентльмена по

имени Эйбел Ричардсон, землевладельца с солидным доходом. Романтические обстоятельства их знакомства можно назвать классическими. Мод поехала на верховую прогулку, и лошадь сбросила ее как раз в тот момент, когда по окраине Сток-бай-Нейленда проезжал на велосипеде Артур. Мод растянула лодыжку, и Артур, который был сильным, юным и пылким, полмили нес ее на руках до дома в Уолбруксе. В последующие недели события развивались абсолютно естественно: молодой человек пришел справиться о здоровье девушки, а Мод при помощи сочувственно настроенной горничной устроила так, чтобы в следующий раз его визит пришелся на то время, когда папа занимался собаками (он был местным «хозяином гончих»<sup>[12]</sup>), а мама отправилась с визитами.

Имеются свидетельства, что Эйбел Ричардсон решительно противился намерению дочери выйти замуж за страхового агента, выходца из низших слоев общества, практически без гроша в кармане. Тем не менее через год он уступил мольбам Мод. Причем уступил до такой степени, что не стал отказываться от обещания, сделанного раньше, еще до появления в их жизни Артура Лонгли, — дал за дочерью пять тысяч фунтов.

В 1890 году пять тысяч фунтов были приличными деньгами, вероятно, сегодня эквивалентными сумме раз в двадцать большей. Артур и Мод купили одну из новых вилл на Лейер-роуд и устроились там с большим комфортом. Жили они не по средствам, даже несмотря на регулярную финансовую поддержку со стороны Эйбела Ричардсона. Мод держала собственный экипаж. Прислуга включала кухарку, горничную, поденщицу, приглашавшуюся для «грязной работы», а также кучера, который одновременно выполнял обязанности садовника.

Дочь Мод, миссис Хелен Чаттерисс, в настоящее время пожилая дама, чей возраст приближается к девяноста, так вспоминает о своем доме:

*Мне едва исполнилось пять, когда все закончилось. Поэтому мои воспоминания туманны и отрывочны. Я помню, как ехала с матерью в очень красивом экипаже, запряженном гнедой лошастью. Моя мать обычно оставляла визитные карточки, но я убеждена, что многие дома местной аристократии оставались для нас закрытыми из-за того, что мой отец не был джентльменом.*

*Из всей работы по дому мать только расставляла цветы и мыла самый лучший фарфор. Каждый день*

*после обеда она ложилась отдохнуть, надевая белые хлопковые перчатки, чтобы сберечь руки. Мою няню звали Бити. Ей только исполнилось шестнадцать, она была дочерью одного из фермеров, арендовавших землю у моего дедушки Ричардсона, и часто брала меня с собой, когда навещала родителей, которые жили в домике с одной комнатой и кирпичным полом. Узнав об этом, мать ее уволила.*

*Мне говорили, что отец занимается важным бизнесом, но я помню, что он почти все время сидел дома. У него был кабинет, где отец запирался на все утро. Теперь, оглядываясь назад, я думаю, что это время он проводил за чтением романов. Выходя из дому по делам страховой компании, отец брал нашу вторую лошадь, чалого жеребца. Я не помню у нас в доме приемов, званых ужинов и всего такого; только мои бабушка и дедушка Ричардсоны приезжали довольно часто, а бабушка с дедушкой и тетки Лонгли — реже. Думаю, моя мать их стыдилась.*

Эта жизнь внезапно закончилась в 1901 году, когда мать Хелен умерла при родах. Ребенок — мальчик — тоже умер. Состояние Мод Лонгли, или то, что от него осталось, перешло к ее дочери — мера предосторожности, на которой перед заключением брака настоял Эйбел Ричардсон, — и после смерти жены Артур Лонгли остался бедным человеком. Он отказался от дома, экипажа, лошадей и переехал в небольшой коттедж на западной окраине города, отпустив всю прислугу и оставив только служанку, выполнявшую всю работу по дому.

Отказался Артур и от дочери. В любом случае, ее разлучили с отцом, и она стала жить в Сток-бай-Нейленде с Эйбелом и Мэй Ричардсон. Это обстоятельство до сих пор, по прошествии более восьмидесяти лет, не дает покоя миссис Чаттерисс — несмотря на счастливое детство в Уолбруксе с бабушкой и дедушкой, которые ее оберегали, баловали, окружали роскошью.

*Полагаю, отец боялся, что не справится с такой ответственностью, — пишет она. — Или в этом убедили его мои дедушка и бабушка. Я бы страдала гораздо сильнее, не будь у меня такой удивительной*

*бабушки, которую я любила больше, чем мать. После смерти матери мы с отцом виделись редко.*

В 1906 году Артур снова женился. Миссис Чаттерисс впервые узнала о его браке в результате случайной встречи в Колчестере, у церкви Святого Ботольфа. Именно там находилась частная школа, которую она посещала, — ее привозили из Стока и отвозили обратно в экипаже, запряженном пони. До того момента, как Эйбел Ричардсон первым в округе купил себе седан «Роллс-Ройс» — кожаная обивка с пуговицами из слоновой кости и приборная панель черного дерева, — оставалось еще два года. Однажды днем, после школы, она увидела, что у ворот ее ждет отец с какой-то незнакомой дамой. Ее представили Хелен как «новую мать», но впоследствии не было предпринято никаких попыток упрочить отношения. Бабушка и дедушка несколько месяцев ничего не знали, а когда все открылось, очень рассердились — скорее из-за того, что их держали в неведении, а не из-за самого факта повторной женитьбы Артура Лонгли.

Ему было тридцать девять. За двадцать два года работы в «Пруденшл» он не продвинулся по службе и, после того как удача от него отвернулась, вернулся к своему чахлому бизнесу и к велосипеду. Родители Артура умерли, семейное дело перешло к зятю, Джеймсу Хаббарду, а небольшие деньги достались двум незамужним сестрам. Невеста тоже была без денег, хотя и с определенными надеждами на них. Айви Нотон уже исполнилось двадцать восемь, когда она вышла за Артура; Айви служила гувернанткой в семье его клиента. У девушки не было соответствующей подготовки или образования — она всего лишь до шестнадцати лет посещала школу и умела играть на фортепьяно. Но люди, нанявшие Айви, — Ричардсоны их знали — были торговцами зерном с большими претензиями, и сама возможность похвастаться тем, что они могут позволить себе гувернантку для трех своих дочерей, приносила им удовлетворение, независимо от качества образования, которое могут получить девочки... За работу мисс Нотон полагался полный пансион, а также пятьдесят фунтов в год.

Они с Артуром сняли собственный дом. Через девять месяцев после свадьбы, весной 1907 года, у них родились близнецы. Тетушка Айви, мисс Присцилла Нотон, которая имела собственный дом и подвизалась в качестве портнихи, стала крестной матерью детей; второй крестной матерью была дочь Артура Хелен, которая за месяц до этого прошла обряд конфирмации.<sup>[13]</sup> Близнецы, мальчик и девочка, получили при крещении имена Джон Уильям и Вера Айви. Как и ее муж, Айви Лонгли была страстной любительницей романов — их сблизил именно разговор о

литературе, — и по случайному совпадению у героинь их любимых книг оказались одинаковые имена.

*Мой отец предпочитал Уиду<sup>[14]</sup>, — пишет Хелен Чаттерисс, — и больше всего ему нравились «Мотыльки». Главную героиню звали Вера, как и главную героиню романа Мэриона Кроуфорда «Любовь табачного фабриканта». По словам отца, это была любимая книга моей мачехи. Именно так они пришли к имени Вера.*

Вера Лонгли и ее брат — мальчик и девочка — разумеется, не были однояйцовыми близнецами. Похожи они были не больше, чем просто брат с сестрой, но обоих отличали очень светлые волосы и яркие синие глаза — характерные черты второй семьи Артура Лонгли. Сам Артур, его мать и две сестры были светловолосыми, а вторая жена — блондинкой с очень белой кожей и светлыми глазами. Предки Айви Лонгли были рыбаками с побережья Норфолка, и ходили слухи, что один из ее дедушек, моряк, привез домой жену с Фарерских островов. Джон рос красивым мальчиком, а Вера была обычным ребенком, внешность которого меняется по мере взросления. На фотографии в четырнадцатилетнем возрасте она предстает милой девушкой с резкими чертами, копной светлых, почти белых волос, большими глазами и серьезным, почти суровым выражением лица.

За четыре года до того, как был сделан этот снимок, страховая компания «Пруденшл» отправила отца Веры на пенсию — медицинское освидетельствование показало, что у него слабое сердце. Ему было пятьдесят, и шел третий год Первой мировой войны. Та война напрямую не коснулась семьи Лонгли, хотя сын Амелии, Уильям Хаббард, погиб в сражении при Вими-Ридж. Вскоре после вынужденного ухода Артура на пенсию умерла Присцилла Нотон, оставив своей племяннице Айви дом и 500 фунтов. Лонгли решили переехать в сельскую местность и весной 1919 года обосновались в Грейт-Синдон, деревне в десяти милях от Колчестера, в Дедемской долине.

В отличие от ныне не существующей виллы Артура на Лейер-роуд, на месте которой стоит многоквартирный дом, это был явно не «дом джентльмена». Агенты, через которых Артур покупал дом, описывали его как коттедж. Хотя по сегодняшним меркам это нечто более солидное. Нынешние владельцы, Пол и Розмари Оливер, сменили название дома с «Лорел Коттедж» на «Финчес» и сделали перепланировку первого этажа,

объединив столовую и кухню в одну большую гостиную; маслобойня превратилась в кухню, а гостиная — в столовую. Однако во времена Лонгли и, возможно, Веры на первом этаже были четыре комнаты, а лестница на второй этаж находилась в самом центре дома. Когда в дом переехали Артур и Айви с двумя детьми, наверху было четыре спальни. Самую маленькую Артур превратил в ванную комнату, оставив большую спальню им с женой и по отдельной комнате сыну и дочери.

Стены «Лорел Коттедж» сложены из не содержащего железа кирпича желтовато-серого цвета, который называют белым кирпичом, и покрыты кремовой штукатуркой, крыша шиферная. Дом был симметричен: дверь в центре, подъемные окна по обе стороны от нее и три окна наверху. Палисадник делился на две равные части дорожкой, которая шла к входной двери, или дверям, потому что их было две, из деревянных панелей снаружи и стеклянная внутри. В большом саду за домом, у забора, рядом с воротами стоял флигель, который когда-то был жилым, но теперь не использовался и в котором в дождливые дни играли дети семьи Лонгли; Оливеры превратили его в гараж.

Какое детство было у Веры Лонгли в Колчестере и затем в Грейт-Синдон? Может, она пережила какую-то душевную травму? Через два дня после дня рождения, когда ей исполнилось двенадцать, она писала своей единокровной сестре:

*Дорогая Хелен. Большое спасибо за денежный перевод. Я собираюсь купить на него теннисную ракетку. Завтра я уезжаю на каникулы в Кромер, в Норфолк. Надеюсь, на море будет чудесно. С любовью, Вера.*

И летом того же года, 1919-го:

*Дорогая Хелен, папа показал мне твое письмо. Я с огромным удовольствием буду подружкой невесты на твоей свадьбе. Надеюсь, ты будешь очень счастлива, выйдя за капитана Чаттерисса. Спасибо, что предложила мне быть подружкой невесты. С нетерпением жду встречи. С любовью, Вера.*

Свадьбу сыграли осенью. Хелен познакомилась с двадцативосьмилетним Виктором Чаттериссом, служившим в индийской

армии, когда он приехал домой в отпуск. На свадебных фотографиях Хелен Вера на полголовы выше других девушек — неуклюжая, худая, с большими серьезными глазами, в доходящем до середины икр платье из какого-то блестящего материала с кружевными вставками. Похоже, она была любимицей отца, который писал своей сестре Кларе:

*...Моя маленькая Вера превращается в привлекательную девушку, гораздо более красивую, чем можно было надеяться. Она напоминает мне тебя в этом возрасте — такие же волосы цвета чистого золота, причем, похоже, они уже не потемнеют. Мне кажется, Вера умнее брата, что, с одной стороны, не может не вызывать сожалений, а с другой — гордости. Ее школьный табель просто превосходен. В прошлом полугодии она была лучшей в классе по английскому языку и истории. Я уступил ей и разрешил брать уроки игры в теннис; это дополнительные расходы, которых лучше бы избежать, но Вера делает такие успехи, что мне не хотелось отказывать. Кроме того, это поможет ей в жизни, правда? Я убежден, что должен дать девочке все самое лучшее. Впрочем, она сама все тебе расскажет, когда приедет на следующей неделе...*

Клара, которая была на пять лет старше Артура, поздно вышла замуж и уехала вместе с мужем в Кромер, где Вера иногда проводила каникулы. Бездетная тетка из Кромера ее очень любила, и Вера писала Хелен в Индию, что «тетушка Кло» заказала ей два длинных платья у собственной портнихи и отвела к фотографу, чтобы сделать студийный портрет. Кроме тенниса, Вера занималась бальными танцами. В 1921 году она получила школьную награду за успехи в учебе, а потом еще одну — томик Раскина<sup>[15]</sup> «Сезам и лилии» в переплете из телячьей кожи, за лучшую работу по рукоделию в течение трех полугодий подряд. На первый взгляд у Веры было счастливое и благополучное детство.

В 1922 году, когда сыну и дочери исполнилось пятнадцать, а мужу пятьдесят пять, сорокачетырёхлетняя Айви Лонгли родила еще одного ребенка. Девочку назвали Эдит — уже тогда это имя считалось старомодным. В 1908 году, когда близнецы были еще маленькими, Айви писала своей тетке Присцилле Нотон, что боится иметь еще детей. После рождения сына и дочери она несколько месяцев болела. Роды были

тяжелыми и продолжительными и привели к частичному выпадению матки; сама кормить близнецов грудью Айви тоже не могла. Она писала мисс Нотон:

*Мне всего тридцать, и у меня еще могут быть дети — ужасная перспектива! Говорят, что подробности родов — боль и тому подобное — забываются, но я все помню. Кроме того, в нашей семье уже были близнецы, и не только у меня: сестры матери, которые умерли в младенчестве. Иногда я представляю, что в сорок лет у меня родится нежеланный ребенок...*

Вторая дочь появилась на свет, когда Айви, должно быть, уверилась, что опасность миновала. Все указывало на то — в том числе прецеденты, — что ребенок станет обузой. Пожилой отец с больным сердцем, мать на пороге менопаузы, открыто заявляющая, что «не любит детей», брат и сестра, вступившие в подростковый возраст, каждый с давно установившейся ролью в семье. Джон, как и его отец, учился в средней школе Колчестера и был в таком возрасте, когда мальчики в обществе сверстников очень стесняются любого проявления сексуальности со стороны родителей. А разве можно найти более убедительное свидетельство сексуальности, чем рождение ребенка? Кроме того, родители Джона были старыми — отец на двадцать лет старше, чем у большинства одноклассников. Что касается Веры, то причины ущерба лично для нее на первый взгляд вполне очевидны. Новорожденный ребенок того же пола должен был перетянуть на себя родительскую любовь, прежде предназначавшуюся ей.

Однако ничего такого, похоже, не случилось. С самого начала Эдит — вскоре она стала называть себя Иден — была всеобщей любимицей. Не будет преувеличением сказать, что ее обожали, по крайней мере отец, брат и сестра. Отношение миссис Лонгли к ребенку оставалось тайной. Она редко писала письма и, по всей видимости, вообще ни с кем не переписывалась в период между смертью тети и отъездом старшей дочери в Индию. Не сохранилось и ее фотографий — если таковые существовали — вдвоем с Иден. Вместе их можно увидеть только на одном снимке, где также присутствуют Артур Лонгли, Джон, Вера и Клара Доусон. Снимок был сделан на пляже в Кромере: Вера держит на коленях трехлетнюю Иден, а на заднем плане в шезлонге сидит Айви, лицо которой скрыто в тени широкополой шляпы.

В 1924 году Вера писала Хелен Чаттерисс:

*Жаль, что ты не видела моей младшей сестры. Она самый красивый ребенок на свете, но фотографии совсем не передают ее прелести. Я должна тебе кое в чем признаться. Когда я выхожу с ней на прогулку — веду за руку или везу в коляске — то мне хочется, чтобы люди считали, что это мой ребенок, а я его мать. Думаешь, это глупо и странно? Конечно, я еще недостаточно взрослая, чтобы быть ее матерью, но люди говорят, что я выгляжу на восемнадцать. А на прошлой неделе одна знакомая мамы, которая не видела меня раньше, предположила, что мне двадцать четыре! Как нетрудно догадаться, мама была не очень довольна, потому что это делало ее еще старше.*

*Эдит мы все называем Иден, потому что она сама так себя называла, когда еще не научилась выговаривать звук «т». Мне кажется, это очень милое имя. Эдит больше подходит для старой тетушки. Не понимаю, почему мама и папа его выбрали. Волосы у нее сверкают, как чистое золото. Надеюсь, они не потемнеют. Мои, конечно, не потемнели, но в ее возрасте они у меня были белыми...*

После окончания школы Джон устроился на работу в банк «Мидленд». Когда представилась возможность перевестись в лондонское отделение, он раздумывал не дольше одного дня, после чего принял предложение и поселился в качестве жильца в доме двоюродной сестры матери и ее мужа. До замужества Элизабет Уайтстрит носила фамилию Нотон. Вместе с мужем и двумя детьми она жила в Уэнстеде, который тоже относится к Эссексу, но расположен на восточной окраине Лондона. Проживая в их доме, Джон познакомился с молодой девушкой, наполовину швейцаркой, Вранни Брюйер, которая также снимала тут квартиру и которая работала — не имея соответствующего образования — сиделкой в местном приюте для детей. Отец Вранни умер во время эпидемии инфлюэнцы в 1918 году, а мать — семь лет спустя. Ее мать тоже была детской сиделкой, или, скорее, няней, нанятой одной семьей из Цюриха, где она и познакомилась с Йоханном Брюйером. Вранни была на два года старше Джона Лонгли — она родилась в Цюрихе в 1905 году; это обстоятельство стало одной из

причин недовольства родителей выбором сына, когда в 1928 году Джон, которому исполнилось двадцать один, женился на ней. Еще большее смятение у Артура и Айви вызвало происхождение Вранни. В двадцатых годах двадцатого века англичане, и особенно сельские жители, все еще сохраняли глубокое недоверие к иностранцам. Не будет преувеличением сказать, что в 1928 году Айви Лонгли относилась к выбору сына точно так же, как современная женщина из тех же слоев общества отнеслась бы к тому, что ее сын женится на чернокожей африканке. Если одна из бабушек Айви действительно происходила с Фарерских островов — именно ее гены внесли решающий вклад в красоту самой Айви и ее дочерей, — то данный факт был благополучно забыт. По свидетельству миссис Чаттерисс, отказ присутствовать на свадьбе — несмотря на то что Артур приехал, вместе с шестилетней Иден — стал причиной постоянной напряженности в ее отношениях с невесткой, и когда Джон ездил навещать мать, которую обожал, он был обязан делать это один.

Неизвестно, как относилась Вера к отступлению Джона от традиций. Она не присутствовала на свадьбе, потому что к тому времени уехала в Индию и сама уже два года была замужем. Когда ей исполнилось восемнадцать, от единокровной сестры пришло приглашение посетить Равалпинди. Хелен Чаттерисс предлагала оплатить половину стоимости морского путешествия. Вера отправилась в Индию в конце лета 1925 года и прибыла в Бомбей как раз к окончанию сезона дождей. Вера устроила свою судьбу так же поспешно, как ее брат-близнец: в первую неделю пребывания в бунгало капитана (теперь майора) Чаттерисса и миссис Чаттерисс она познакомилась с младшим офицером из полка Виктора Чаттерисса, юным Джеральдом Лодером Хильярдом, и увлеклась им.

Что касается происхождения — в 1925 году такие вещи все еще были очень важны, — то Джеральд Хильярд стоял на ступеньку выше Веры, а если точнее, то на несколько ступенек, хотя Хелен Чаттерисс благодаря неожиданному повороту судьбы (и отсутствию отцовских чувств у Артура Лонгли) стала принадлежать к тому же классу, что и он. Джеральд был третьим, самым младшим сыном сомерсетского сквайра, мелкого помещика с хорошей родословной, но небогатого. Согласно семейной традиции, младшие сыновья поступали на службу в индийскую армию, и у Джеральда Хильярда имелся предок, прославившийся своей храбростью в первой афганской войне 1839–1842 годов, а его двоюродный дед сопровождал сэра Генри Хейвлока<sup>[16]</sup> во время «Великого Мятежа»,<sup>[17]</sup> когда тот прорывался к осажденной резиденции в Лакхнау. Джеральд Хильярд был воспитанником

Харроу-Скул<sup>[18]</sup> и окончил Сандхерст.<sup>[19]</sup> Внешне он напоминал Джорджа Оруэлла — по крайней мере, такое впечатление оставляют его фотографии. Очень высокий, выше шести футов трех дюймов, худой до истощения — хотя обладал отменным здоровьем, — с каштановыми волосами и темными квадратными усиками. Его младшая сестра, миссис Кэтрин Кларк, пишет:

*Я познакомилась с Верой только через семь лет после их свадьбы. Они приезжали в отпуск домой в 1930 и 1933 годах, но в первый раз я в это время была в школе. Отец умер в 1933 году. Думаю, моя мать считала брак Джеральда неравным: он был введен в заблуждение и женился на девушке из низших слоев, отчасти из-за собственной неопытности, а отчасти из-за того, что Вера жила с Чаттериссами как сестра миссис Чаттерисс. Представлялось, что она занимала такое же положение в обществе, поскольку жила с ними, но на самом деле это впечатление было ложным. Разумеется, все это глупости, но в те времена так не считали. Моя мать лишь однажды заговорила со мной об этом. Помню, она сказала, что у Веры неправильное представление о благородной леди.*

Бракосочетание состоялось в Равалпинди в марте 1926 года, когда Вере было девятнадцать лет, а Джеральду Хильярду двадцать два. В следующем году у них родился сын, Фрэнсис Лодер. Когда ему исполнилось шесть, Вера и Джеральд приехали в отпуск в Англию вместе с ребенком и оставили сына в подготовительной школе<sup>[20]</sup> в Сомерсете, недалеко от того места, где жила его бабушка Хильярд. Два года спустя Вера приехала одна. Ее отец был при смерти, но она успела лишь на похороны, не застав его в живых. Отец любил Веру больше других детей, и она сама была очень привязана к нему. Жаль, что не сохранилось ни одного из нескольких сотен писем, которые Вера отправила ему из Индии.

Артур Лонгли умер, а его жене Айви оставалось жить лишь несколько месяцев. В 1935 году ей было всего пятьдесят семь лет, но она страдала от неоперабельного рака матки. Вместо того чтобы вернуться в Индию к Джеральду, Вера осталась с матерью, а когда весной 1936 года Айви умерла, взяла на себя заботы о четырнадцатилетней сестре Иден.

Хелен Чаттерисс пишет:

*По прошествии года или двух Вера уже не думала об Индии. Понимаете, у нее была очень светлая кожа, и она не переносила солнца. Насколько мне известно, их брак был удачным, и то, что они с Джеральдом не жили вместе, не означало разрыва. Просто она чувствовала себя счастливее и комфортнее в английском климате, и, разумеется, в Англии был ее сын. Кажется, я вам уже говорила, что Вера очень любила младшую сестру, и на самом деле именно мысль о разлуке с Иден стала главной причиной ее сомнений относительно возвращения в Индию. Признаюсь, я пригласила к нам Веру для того, чтобы она нашла себе хорошего, достойного мужа. И она нашла. Теперь это трудно представить, потому что все так изменилось, но в двадцатые годы девушки больше всего на свете хотели найти мужа, и это было главным делом их жизни. Огромное число молодых людей, которые могли бы стать мужьями таких девушек, как Вера, погибли в Первую мировую войну. Однако в Индии оставалось много достойных юношей. Я никогда не жалела о том, что пригласила Веру и познакомила ее с Джеральдом; я не считаю это своей ошибкой. Их брак был счастливым, по крайней мере, в те годы, когда они жили вместе, и я по-прежнему убеждена, что именно война — я имею в виду войну 1939–1945 годов — все испортила, как она испортила жизнь многим из нас.*

А вот что рассказывает Кэтрин Кларк:

*Брат вернулся домой вместе со своим полком в 1939 году. Виктор Чаттерисс вышел в отставку годом раньше в чине генерал-майора и вместе с женой и детьми жил где-то в Суффолке, в особняке, унаследованном от бабушки и дедушки жены. Семейная жизнь моего брата проходила в доме под названием «Лорел Коттедж» в деревне Грейт-Синдон вместе с Верой и ее младшей сестрой. Дом не принадлежал им. Он был оставлен в наследство Вере, ее брату и ее сестре; каждый владел одной третью. Когда началась*

*война, полк перевели на север — если я не ошибаюсь, в Йоркшир.*

Таким образом, в начале Второй мировой войны Вера Хильярд тихо и скромно жила вместе с младшей сестрой в родном доме Иден в сонной деревушке, которая могла похвастаться одним-единственным магазином, школой, типичной для Восточной Англии громадной «шерстяной»<sup>[21]</sup> церковью и нерегулярным автобусным сообщением с Колчестером. Описывая отношения матери и дочери, мы часто говорим, что они близки, как сестры. Вера Хильярд и Иден Лонгли *были* сестрами, но больше походили на мать и дочь. В 1939 году Вере исполнилось тридцать два, а Иден — семнадцать. Во время каникул к ним присоединялся сын Веры Фрэнсис. Время от времени их навещали Джон и Вранни Лонгли с дочерью Фейт. В нескольких милях от них, в Сток-бай-Нейленде, жили Чаттериссы — генерал со своей женой и двумя детьми-подростками, Патрицией и Эндрю. Иногда на чай приезжала кузина Нотон. Разумеется, у Веры были знакомые в деревне, в том числе Тора Моррелл, жена приходского священника.

Жизнь, которую вели две сестры, была тихой и неприметной; развлечения ограничивались вышиванием, выпечкой и радиопередачами. Тем не менее драма, которой было суждено разразиться в этом доме, уже назревала.

В тот день, когда Вера предстала перед магистратским судом по обвинению в убийстве, мой отец ходил по дому, собирая и пряча все, что могло связать его с ней. И уничтожал — я в этом не сомневалась. Возможно, это звучит грубо. Отца никак не назовешь бесчувственным, вовсе нет, однако он придавал большое значение приличиям — а также своей честности и потребности быть вне подозрений. Никто не должен знать, что Вера Хильярд его сестра — особенно банк и его клиенты. Отец горевал молча, позволив ужасной тайне грызть его изнутри. Внешне он вел себя так, словно Веры никогда не существовало.

О том, что произошло в тот вечер, мне рассказала мать. Меня не было дома — я сидела в Кембридже, ошеломленная тем, что прочла в газете. Отец вернулся из банка. Отказался от ужина — и еще два дня вообще ничего не ел. Потом задал матери вопрос, какой банковские служащие обычно не задают женам:

— У нас где-нибудь есть сейф?

Она сказала где. Отец отнес сейф наверх, в свободную спальню, комнату, где однажды ночевала Иден, что привело в ярость мою мать, поскольку он испачкал пылью мебель; там, укрывшись от нее — он не смог бы заниматься этим серьезным делом, почти священнодействием, у нее на глазах, — отец наполнил сейф письмами сестры и фотографиями, на которых они были запечатлены вместе. В комнате, где осталась мать, в нашей гостиной, висели два снимка в рамках, портрет Веры и портрет Иден в подвенечном платье. Отец вернулся и извлек фотографии из рамок. У одной тыльная сторона представляла собой нечто вроде дверцы на петлях и удерживалась зажимами, а другая была просто закрыта листом проклеенной бумаги, которую отец сорвал одним движением, торопясь избавить комнату от Веры и ее маленького сына. Он порезал палец о кромку тонкого стекла, и коричневое пятно на краю фотографии, круглое и — для того, кто не знает — необъяснимое, — это его кровь.

Вместе с другими фотографиями она отправилась в сейф. После смерти родителей я нашла сейф в глубине их гардероба. На стене свободной спальни висела картина — довольно симпатичная, хотя мне она никогда не нравилась. Ее обратная сторона была неаккуратно заклеена скотчем, отодрав который я обнаружила между репродукцией картины Миллеса<sup>[22]</sup> и листом картона две детские фотографии Иден. Это

натолкнуло меня на мысль заняться поисками, и вскоре я везде стала находить напоминания о сестрах отца. Он не следовал сформулированному Честертоном правилу, что лист лучше всего прятать на дереве. Отец знал, что прятать лучше там, куда никто не заглянет, не в семейном альбоме — все фотографии были изъяты оттуда, свидетельством чего служили пробелы, — а между страниц аннотированного издания Нового Завета, под форзацем «Девочки из Лимберлоста»,<sup>[23]</sup> внутри украшенной вышивкой обложки, которую кто-то (Вера? Иден?) сделал для альбома с поздравительными открытками с шелковыми цветами, между фанерным дном выдвигного ящика стола и выстилавшей его красной промасленной тканью.

Я положила все в сейф, к тем памятным вещицам, которые казались отцу самыми ценными, забрала сейф домой и спрятала в буфет под лестницей. Приятельница, гостившая у нас, нашла сейф, когда мой муж отправил ее искать резиновые сапоги, чтобы надеть на прогулку. Тогда мы жили в деревне. Она весь вечер разглядывала фотографии, а я отвечала на ее вопросы, прибегая ко лжи во спасение; муж сидел молча, изредка поглядывая на меня, но не произнес ни слова. Но я тоже Лонгли, и мне передалась семейная склонность к замкнутости и скрытности. Приятельница нашла фотографию Веры, которую моя двоюродная бабушка Клара сделала в Кромере, и передала мне, заметив лишь, какая милая девушка; но когда очередь дошла до снимка, сделанного в Колчестере в 1945 году, одного из тех, что были напечатаны во всех газетах, в голове подруги словно что-то щелкнуло, и она умолкла, долго рассматривала изображение, а потом заявила, что не сомневается, что где-то видела эту фотографию, много лет назад, в связи с чем-то ужасным.

Когда мы переехали сюда, я поставила сейф в самую маленькую спальню и накрыла одеялом с буквами «М» и «Д», купленным (или украденным) во время войны. Нет смысла спрашивать, почему отец не выбросил содержимое сейфа, — точно такой же вопрос можно адресовать и мне. Дэниелу Стюарту повезло, что я этого не сделала.

Оставшись в доме одна, в три часа пополудни — сегодня не наша очередь, и не очередь Хелен сидеть у инвалидной коляски Джеральда, — я отпираю сейф и, охваченная чувством, что делаю что-то стыдное, и предвкушая волнение от неожиданных открытий, достаю фотографии и письма, на которые лишь мельком взглянула, когда собирала их с книжных полок и из ящиков родительского дома. Моя любопытная приятельница, разумеется, не посмотрела письма, хотя я очень боялась этого. Она

вытащила их — или только часть — из большого коричневого конверта, где они все помещались, а потом сунула назад, удовлетворившись объяснением, что это, должно быть, семейная корреспонденция. Но даже прочтя их, она не смогла бы догадаться о личностях отправителей.

Я разворачиваю письма. От них исходит затхлый, немного отдающий серой запах. Вера и Иден всегда писали только моему отцу, а не отцу и матери. Вот, например, Вера благодарит его за подарок к свадьбе, хотя совершенно очевидно, что именно мать выбирала, покупала и упаковывала скатерть из дамасского шелка и дюжину салфеток с инициалами «В» и «Х». Но Вера не жаловала мою мать, поскольку та была не англичанкой, и долго считала, что имеет право вести себя так, словно жена брата вообще не существует. Дальше идут два письма из Индии, гораздо более ценные, в которых сообщалось о намерении Веры остаться в Англии, чтобы «устроить дом» для Иден в «Лорел Коттедж». Я никак не могу понять, почему отец сохранял одни письма и выбрасывал другие, пока не вспоминаю один случайный фактор, который сегодня выглядит абсурдным. Вера писала часто, по меньшей мере раз в месяц, и эти письма отец обязательно читал нам вслух за завтраком, что вызывало у матери сильное раздражение. Последнее письмо, вновь вложенное в конверт, неделю лежало на каминной полке, после чего зимой его бросали в огонь, а летом мать убирала его в ящик стола или отец, смяв, совал в карман. Поэтому письма, полученные с октября по май, были сожжены — проще не бывает.

Вот что Вера писала в июне:

*Дорогой Джон, я рада, что ты согласен со мной — нужно не продавать дом и делить вырученные деньги, а сохранить его, по крайней мере временно, как родной дом Иден. Пока она учится в школе, ей будет трудно расстаться с Синдоном. Разумеется, ей было тяжело потерять обоих родителей в таком юном возрасте. Она очень разумная и взрослая для своих лет — я имею в виду не успехи в школе (хотя, по моему скромному мнению, и этого уже вполне достаточно), а ее взгляды на жизнь, деликатность и хорошие манеры. Она рада, что я собираюсь остаться в Англии и что мы обе будем жить в этом доме, который всегда был для нее родным и в котором она появилась на свет...*

Первое письмо от Иден, которое я читаю, повергает меня в шок. Я

видела его раньше (хотя письмо не было прочитано вслух), забыла о нем за эти годы, а теперь вспоминаю, что оно долго не выходило у меня из головы. Я была невежливой и, конечно, заслужила выговор, но такое?.. В то время Иден исполнилось семнадцать, а мне одиннадцать.

*Дорогой Джон, — писала она, — я обязана написать тебе и сказать следующее: полагаю, ты должен научить своего ребенка хорошим манерам. Я не услышала от нее ни слова благодарности за почтовый перевод, который отправила ей ко дню рождения. Совершенно очевидно, что к десяти годам человек уже должен знать, что на подарки принято отвечать письмами с благодарностью. Мама вдалбливала это мне начиная с того момента, как я могла держать карандаш, и должна была научить этому и тебя. Фейт не пойдет на пользу — не говоря уже о том, что это невежливо по отношению к тем, кто дарит ей подарки, — если ей позволить...*

Почему отец сохранил это письмо? Потому что в душе был согласен с ним? Потому что в душе он если и не любил сестер больше жены и дочери — в чем обычно обвиняла его мать, — то, в любом случае, больше ими восхищался? Или письмо оказалось в коллекции просто потому, что пришло в мае, когда огонь в камине уже не разжигали?

Я беру конверт, начинаю доставать из него письма, и в моей памяти всплывает красивое лицо Иден над воротником платья, который поднимается вверх и изгибается, словно лепесток каллы. Иден в свадебном платье, с огромной колыхающейся вуалью, похожей на водопад из пены и словно сделанной из чего-то еще более эфемерного, чем газ. Такая же, как в то утро, когда Фрэнсис обнимал ее и вел к алтарю, а Чед пожирал ее глазами. Вот фотографии, которые отец вырвал из рамок: Вера и Джеральд после венчания, у викторианской псевдоготической церкви с колокольной в стиле Гилберта Скотта, с баньяном и куполом на заднем плане, а также Вера с маленьким Фрэнсисом и пятном отцовской крови на волосах. А вот этот снимок Стюарт захочет поместить на обложку. Светлые волосы падают на лицо — мода, которую ввела кинозвезда Вероника Лейк, но Иден немного изменила прическу, чтобы не закрывать глаз. Подчеркнута прелесть высоких скул, римского носа, короткой верхней губы, округлого подбородка, изящно очерченных щек — Иден была так похожа на

Фрэнсиса, словно они брат и сестра, а не тетка и племянник. На ней светлое платье с отложным воротником и жемчужное ожерелье в треугольном вырезе. Томный, немного не от мира сего, характерный для Иден взгляд широко распахнутых глаз и полураскрытые губы, которые фотограф посоветовал ей облизнуть, чтобы привлечь внимание к модной темной помаде.

Мне и в голову не приходит, что я вправе давать разрешение на использование этого снимка. Такое право может иметь Тони — или фотограф, сделавший снимок. На обратной стороне есть название фотостудии в Лондондерри, что вполне согласуется с прической, возможной датой и даже рассеянным, загадочным и скрытым выражением глаз Иден.

Внизу стопки лежит снимок, сделанный без определенной цели, разве что с намерением запечатлеть толпу родственников, собравшихся летом такого-то года в таком-то саду. На нем есть и я, между Фрэнсисом и Патрицией, с тонким «хвостиком» волос, перекинутым через плечо, в платье из прозрачной ткани, доставшемся мне от кого-то из родных. Позади нас Иден, одетая в то, что журналы называли «платьем из легко стирающейся материи», Вера со свежей завивкой, мой отец, Хелен и несколько двоюродных братьев и сестер Хаббардов. Должно быть, фотографировал генерал или Эндрю. Если бы Джейми уже родился, то обязательно присутствовал бы на снимке; значит, снимок сделали не раньше 1944 года. В 1943 году я коротко постриглась. Возможно, это было еще в 1940 году, когда Эндрю еще не улетел сражаться в «Битве за Англию», а Иден не записалась в женскую вспомогательную службу военно-морских сил.

Я захопываю крышку сейфа и сижу, глядя на него. Потом обнаруживаю, что плачу. Слезы текут у меня по лицу — странно, потому что все это было так давно, и я никого из этих людей не любила, за исключением отца и матери. И, конечно, Чеда, но это совсем другое.

В моей молодости белокурых волос было достаточно, чтобы считаться красивой. Это, безусловно, несколько преувеличенно, но в целом правда. Джентльмены — а также леди и все остальные — предпочитали блондинок. Волосы Иден были такими светлыми — с золотым отливом, — что она могла бы считаться хорошенькой даже без миловидного лица. Когда я первый раз самостоятельно приехала в Грейт-Синдон, Вера встретила меня на железнодорожной станции в Колчестере и, едва ткнувшись губами мне в щеку, отодвинула на расстояние вытянутой руки и произнесла:

— Как жаль, что у тебя такие темные волосы!

Тон был обвинительным — намек на то, что я безответственно допустила процесс потемнения или даже способствовала ему. Я ничего не сказала, потому что не могла придумать ответа — моя обычная реакция на замечания Веры. Просто улыбнулась. Сохраняя вежливое выражение лица, я пыталась уголком платка стереть след от помады, который губы Веры обязательно должны были оставить у меня на щеке. В те времена женский макияж состоял из пудры на носу и помады на губах — ярко-красной губной помады и рассыпчатой пудры из оранжево-золотистой коробочки фирмы «Коти», которую наносили пуховками. Вера не выходила за порог дома с ненакрашенными губами.

— Я не стала бы тебя целовать, — сказала она, — если бы знала, что это тебе так неприятно.

Видимо, надо было действовать более скрытно. Я убрала платок, и мы пошли к автобусной остановке. Ни у кого из моих знакомых — то есть из друзей и родственников — не было автомобиля. У родителей одной или двух девочек в школе имелись машины, а чей-то отец, по слухам, даже владел собственной компанией, был богат и имел не просто машину, а белую машину — дерзкое отклонение от условностей. Я ожидала, что до Грейт-Синдон мы будем добираться на автобусе, и мои ожидания сбылись; Вера тащила мой чемодан, жалуясь на его вес.

— Могу сама понести, — сказала я.

В ответ Вера еще крепче вцепилась в чемодан, переложив его из правой руки в левую, чтобы он не разделял нас.

— Не знаю, зачем тебе столько вещей. Наверное, привезла с собой весь гардероб. Тебе повезло, что у тебя так много одежды. Знаешь, когда Иден уезжает, она очень тщательно отбирает то, что ей может понадобиться, и все умещается в маленький плоский чемоданчик.

Вероятно, этот разговор — а также прочие назидания относительно чемоданов, укладывания, приготовлений и предусмотрительности, которые мне пришлось выслушать на протяжении нескольких последующих недель, — произвел на меня такое глубокое впечатление, что я и сегодня чувствую себя виноватой, если беру в отпуск слишком много вещей. Но тогда, хоть убей, не могла понять, как можно взять меньший по размеру или неполный чемодан. Я приезжаю на неопределенное время, осень не за горами, и мне понадобится как летняя, так и зимняя одежда. И все же Вера, видимо, права. Взрослый человек, сестра отца. Ее и Иден часто ставили мне в пример — именно такой должна быть женщина. Размер и вес чемодана не давали мне покоя, пока мы ехали в автобусе, и я спрашивала

себя, почему взяла с собой ту или иную вещь и что можно было бы оставить дома. Упрек Веры толкнул меня на неверный путь: я чувствовала себя никчемной и погрязшей в постыдном легкомыслии.

Это было в сентябре 1939-го. Все боялись бомб. За несколько лет до этого я однажды слушала радио вместе с родителями и услышала рассказ о бомбардировке Нанкина. Я так испугалась, что, не дослушав до конца, убежала и спряталась в туалете на первом этаже, куда не проникал голос диктора. Однако в начале этой войны боялась не я, а мои родители. Ничего не случилось — все осталось по-прежнему, словно две недели назад не объявляли войну. Никаких планов эвакуации моей школы, которая находилась в четырнадцати милях от центра Лондона. Занятия начались в срок, и все шло обычным порядком. Но отец запаниковал и отправил меня к Вере. Мне было почти одиннадцать; я выдержала экзамен для поступления в среднюю школу, и после взятия этого барьера отец, наверное, подумал, что пропуск одного семестра не причинит мне вреда.

Погода была теплой, еще летней. Вера надела хлопковое платье с отложным воротником и манжетами на коротких пышных рукавах, с поясом из той же ткани, с розовато-лиловыми и желтыми анютиными глазками — фасон, вернувшийся без изменений несколько лет назад. Волосы у нее были цвета начищенной до блеска латуни, без желтоватого или медного оттенка. Довольно сильно завитые, уложенные глубокими, узкими волнами, с маленькими круглыми кудряшками. На верхней губе Веры рос пушок, бледный, похожий на пух чертополоха и заметный лишь под определенным углом, а предплечья и голые ноги покрывали более грубые волоски, выглядевшие как тонкая, поблескивающая пленка. Белая кожа лица покраснела под индийским солнцем, особенно вокруг носа. Глаза Веры — такие же, как у меня и у моего отца, у Иден и Фрэнсиса, — были ярко-голубыми, цвета тарелок веджвудского фарфора из серии «Айвенго», которые собирала бабушка Лонгли и которые теперь висят в столовой «Лорел Коттедж».

Автобус вез нас по сельской местности, которая должна была выглядеть скучной и унылой — никаких гор или холмов, бурных рек, вересковых пустошей, озер или буйной растительности, — но тем не менее оказалась вовсе не скучной, а очень красивой — какой-то особенной, тихой и проникновенной красотой. Именно здесь можно увидеть самые симпатичные домики в Англии и церкви размером с собор, запечатленные на полотнах Констебла луга, почти не изменившиеся с тех времен, когда убрали живые изгороди, превратив поля в прерию.

В описании Дэниела Стюарта «Лорел Коттедж» выглядит маленьким и

уродливым. Вероятно, так оно и было. Ведь сохранить объективность по отношению к дому, знакомому с юности, практически невозможно. В нашем пригороде, далеко от центра Лондона, мы жили в доме, который отец построил по проекту какого-то архитектора — солнечном, удивительно современном и даже дерзком. Он был спроектирован в стиле модерн и словно перенесся сюда из окрестностей Лос-Анджелеса — кремовая коробка с зеленой полосой, легкомысленно опоясывавшей дом, словно лента на свертке, с окнами из гнutoго стекла, плоской крышей и парадной дверью с витражом в виде заходящего солнца с оранжевыми, желтыми и янтарными лучами. Отец не любил виллу по дороге на Мейленд, где он родился, а также террасу на «неправильной» стороне многоквартирного дома в Уэнстеде, где они с матерью жили после свадьбы. Мне не нравился «солнечный» дом — его крыша протекала, потому что он не был предназначен для дождливого климата, а по голливудским стенам серыми ручейками струилась вода.

Я предпочитала старые дома; мне казалось, что именно в таком я хотела бы жить. Разумеется, «Лорел Коттедж» был для меня недостаточно старым. Я спрашивала Веру, почему бабушка и дедушка не купили коттедж с соломенной крышей, один из многих в округе. Ее ответ, вне всякого сомнения, был логичным и точным — страховка от пожара в коттеджах с соломенной крышей обходится гораздо дороже, а содержать старые дома недешево, — но мне он показался слишком приземленным. Каждый раз, приезжая в этот дом с родителями, а чаще только с отцом, я смотрела на керамическую табличку, укрепленную между верхними балками, читала дату «1862 год» и жалела, что дом не старше хотя бы лет на пятьдесят.

Вера была очень аккуратной хозяйкой. «Лорел Коттедж» имел собственный запах — как мне кажется, смесь ароматов мыла и средств для полировки мебели, — который оставался неизменным и при бабушке, и при Вере. Запахи дома, по всей видимости, передаются по женской линии, поскольку, когда у Иден появился собственный дом, в нем, в отличие от нашего, пахло точно так же. Моя мать была довольно небрежной и порицала чрезмерное внимание к уборке как неразумное. Но мне нравился запах чистоты и свежести в доме Веры, окна без единого пятнышка, воощенные полы, сверкающие, безупречно чистые поверхности и занавески из английского ситца с цветочным рисунком, которые, как мне помнится, всегда колыхались от ветра.

Фрэнсис вернулся в пансион. Иден, учившаяся в шестом классе, должна была прийти из школы в половине пятого. В мою честь накрыли роскошный чайный стол. Трудности с удовольствием еще не начались, и

в этом доме всегда имелись ингредиенты, входящие в состав пирожных, пирогов и печенья. У Веры не было холодильника. В 1939 году почти ни у кого не было. Викторианские бисквиты, имбирные пряники, ватрушки с лимонным кремом, банберийские слойки, пшеничные лепешки и слоеные миндальные пирожные лежали на кухонном столе, накрытые чистой, выглаженной салфеткой, защищавшей от мух. Вера всегда была худой как палка, хотя ела много жирного и сладкого. Когда мы вносили сладости, раскладывали их на обеденном столе и расставляли тарелки на скатерти, которую Иден украсила вышивкой из цветов и листьев, Вера (умоляя, чтобы я ничего не уронила, и выражая надежду, что я не «растяпа») извинилась за низкое качество чая и недостаток разнообразия на столе.

— Полагаю, у твоей матери был бы еще торт с глазурью. Бабушка всегда настаивала на двух больших тортах и как минимум двух сортах печенья.

Я заверила ее, что моя мать ничего такого на стол не выставила. К чаю обычно подавались сэндвичи, диетическое печенье или пирожные с заварным кремом.

— Покупные пирожные? — переспросила Вера, шокированная и одновременно польщенная.

Невинное дитя, я ответила, что и не догадывалась о существовании других. Это привело ее в крайнее возбуждение. Даже в те времена Вера несоразмерно волновалась по мелочам. Только для нее они не казались мелочами.

— Это при том, что ты, насколько мне известно, раз десять пила чай в нашем доме! И не знала, что выпечка домашняя! Боже мой, бабушка, наверное, перевернулась в гробу! Я вижу, мы зря старались, выпекая для тебя печенье. Могли бы просто пойти в бакалейную лавку и купить старую пачку «Мэрис». Интересно, что скажет на это Иден? Думаю, она ни разу в жизни не пробовала магазинного печенья. Надеюсь, наше скромное домашнее угощение тебе подойдет, очень надеюсь. Мы не привыкли к лондонским изыскам и не намерены меняться.

Эта тирада ошеломила меня. Я умолкла и почему-то почувствовала себя виноватой, хотя смутно догадывалась, что нападки несправедливы. Метод Веры заключался в следующем: прицепиться к моему невинному замечанию, приписать мне те или иные чувства, которые могут из него следовать (хотя я ничего не чувствовала или, по меньшей мере, не признавалась), а затем осудить меня за слова, которые она сама вложила мне в уста. Точно так же Вера вела себя с Фрэнсисом — по крайней мере, пыталась, — однако на него это не оказывало никакого действия, и он

платил ей той же монетой, причем выходило у него нисколько не хуже, а может, даже лучше. Но я тогда была ребенком и не знала, как реагировать, и лишь молча слушала. А Вера, естественно, и не рассчитывала на ответ. Не ждала и не хотела отпора. Она просто давала выход сильным чувствам, которые испытывала почти по любому поводу, и искала предлог, чтобы выразить свое негодование и утвердиться в своих убеждениях. Глубоко консервативная, Вера ссылалась на традиции, обычаи и, вне всякого сомнения, действительно верила, что покупка пачки печенья будет первым шагом на скользкой дорожке, ведущей к пропасти. И только Иден была невосприимчива к подобным нападкам. Но Иден обладала иммунитетом к любым яростным и беспричинным наскокам сестры.

После атаки на меня, с повторениями и отклонениями от темы, Вера удовлетворенно смолкла. Я ничего не ответила, помогая ей накрывать на стол. Но мне кажется, в тот момент Вера вряд ли воспринимала меня как личность. Ей не приходило в голову, что она может оскорбить *чувства* жертвы, которая способна страдать или злиться, услышав, что ее мать вряд ли делает доброе дело, поощряя подобные вкусы, что дурно упрекать своими изысканными лондонскими привычками деревенских кузин и что кое-кому не мешало бы полностью пересмотреть свои представления о жизни.

После того как стол был накрыт, а все тарелки снова прикрыты салфетками, поведение Веры опять изменилось, и она стала доброжелательной и заинтересованной. Меня похвалили за успехи в учебе, удостоили комплиментов по поводу белизны зубов, цвета глаз (синих, как у всех Лонгли, за что я несла ответственность не больше, чем за покупку печенья матерью) и отсутствия пятен на лице. Я должна вместе с ней подойти к окну и ждать Иден. Иден выйдет из автобуса на деревенской улице, и мы увидим ее, когда она свернет за угол. Грейт-Синдон — симпатичная деревушка, которая была еще симпатичнее, пока в ней не появились новые здания, дорожные знаки и припаркованные вдоль улиц машины. Сонная и тихая. С трудом верилось, что идет война; тут она почти не ощущалась. Всадник спускался по склону холма прогулочным шагом — если лошадь может прогуливаться. На электрических проводах рассаживались ласточки. Я встала на колени на сиденье у окна, Вера позади меня вытянула шею.

Я чувствовала напряжение, исходившее от ее тела. Как будто тело уже не выдерживало внутреннего напора, и стресс буквально выплескивался в окружающий воздух. Неужели я действительно это помню? Вероятно, просто проецирую на то время все, что узнала и почувствовала потом. Но

правда и то, что Вера не позволяла расслабиться ни себе, ни окружающим — просто потому, что они были рядом. Иден появилась из-за угла неожиданно — а разве могло быть иначе? — и Вера воскликнула:

— Вот она!

Вера не стала поднимать мою руку и размахивать ею, чего не удалось бы избежать, будь я на три или четыре года младше. Мне просто сказали помахать Иден, и я подчинилась, хотя чувствовала, что обычная улыбка получилась бы у меня гораздо естественнее. Я слезла с сиденья у окна и приготовилась к встрече.

В подростковом возрасте девочки сильно меняются. Это заметно не только взрослым, но и детям, к которым в то время относилась я. Мы с Иден не виделись год, но, встретив на улице, я бы ее не узнала. Она была прекрасна, и она была взрослой. Стрижка, как у Вероники Лейк, еще не вошла в моду, а прическа Иден была настолько ужасна, что больше никогда не возвращалась: спереди волосы зачесываются вверх и назад и укладываются колбаской, а сзади свободно свисают. Но даже она не могла испортить красоту Иден. Мне эта прическа казалась необыкновенно шикарной. На Иден была школьная форма, простой сарафан с круглым воротничком, но не старомодный, без бантовой складки, а также темно-красный блейзер с гербом школы на кармане; на плече висела сумка для книг. Она меня поцеловала, ласково назвав маленькой племянницей, спросила, как поживают родители — в отличие от Веры, Иден никогда не забывала упомянуть о моей матери, — и выразила надежду, что путешествие в поезде было приятным. Потом удалилась в свою комнату и вернулась через десять минут — с припудренным носом и накрашенными губами, сменив школьный сарафан на юбку с блузкой. Так она выглядела еще старше. Мы сели за стол и приступили к щедрому Вериному чаепитию, прокладывая себе путь сквозь сэндвичи, пирожные и булочки; чай всегда считался тут главной трапезой дня, и этот — первый для меня — не был праздничным исключением. Теперь те чаепития мне кажутся странными, с бутербродами и горами сладостей, которые мы поглощали, — не менее четырех ломтей хлеба, по меньшей мере один ломтик торта, несколько маленьких булочек, слоек, бисквитов и кексов. Никто из нас не потолстел и не покрылся прыщами. Так мы питались каждый день, считая это само собой разумеющимся, и Вера поощряла Иден, а теперь и меня, наедаться до отвала, повторяя, что это качественная, здоровая, домашняя пища. Похоже, она была убеждена, что все купленное в магазине вредно, а приготовленное дома полезно — широко распространенное мнение, ставшее причиной многих преждевременных смертей.

Иден сказала, что научит меня делать слоеное тесто.

— Правда? — спросила я, но в моем голосе, наверное, сквозило сомнение.

— А ты разве не хочешь научиться?

Я не знала. На этот счет я не могла сказать ничего определенного. Даже не представляла, что такое слоеное тесто, и, кажется, путала его с заварным тестом, из которого делают эклеры. Моя мать не очень хорошо готовила, и родители не одобряли обучение девочек домоводству в школе; в то же время отец был убежден, что такие вещи должны приходиться естественным путем, как — по наивности думал он — это произошло с его сестрами.

— Что ты хочешь приготовить? — спросила Иден.

Став взрослыми, мы понимаем, как нужно реагировать на подобные вопросы. Знаем, что нам следовало говорить, когда мы были детьми. Нужно было ответить, что я маленькая девочка и что каждый раз, когда я пыталась поджарить себе ломтик хлеба, мать говорила мне: «Оставь, я сама». Мы зарегистрировались на получение продовольственных карточек, хотя выдали их только в январе следующего года. Мне следовало сказать, что если прогнозы верны, то совсем скоро нам не из чего будет делать слоеное тесто. Но это было бы неприлично, даже неприличнее, чем не поблагодарить за подарок ко дню рождения...

— Я не умею ничего готовить, — ответила я и взяла еще одну ватрушку с лимонным кремом, для храбрости.

Они обе изобразили нечто вроде шока, хотя вовсе не были удивлены. На меня посыпался шквал вопросов: что я *умею делать*, причем речь шла вовсе не о теоремах и французских глаголах. Вытянув из меня, что я не умею вязать крючком или на спицах, шить и вышивать, Вера тяжело вздохнула; она выглядела такой удрученной, словно я призналась, что неграмотна или не умею контролировать свои физиологические отправления. Она заявила, словно не могла поверить в услышанное:

— Не представляю, какая из тебя выйдет жена.

Но Иден, которая всегда относилась ко мне добрее, посоветовала не расстраиваться. Вне всякого сомнения, у меня просто не было возможности учиться, но теперь я в «Лорел Коттедж» — в ее устах это звучало как институт ведения домашнего хозяйства — и она меня всему научит. После этого я перестала всецело владеть их вниманием, а если точнее, они вообще перестали меня замечать и завели непонятный и немного бессвязный разговор о людях, которые жили в деревне и о которых я никогда не слышала. Одна из трудностей в общении с родственниками из

Грейт-Синдон заключалась в том, что они, упоминая того или иного человека, предполагали, что я понимаю, о ком идет речь, и считали меня обязанной узнавать звонившего по телефону, даже если он не представился. Все бы ничего, но когда я признавалась в своем невежестве, Вера с Иден не снисходили до объяснений, а становились язвительными — по крайней мере, Вера — и говорили, что я, разумеется, все знаю, в этом не может быть сомнений, но по причине беспечности или забывчивости, которые мне вполне по силам преодолеть, — а скорее, безразличия, — тот или иной человек просто вылетел у меня из головы. Предположение, что весь мир *в курсе* их жизни, распространялось на обычаи и привычки, и поэтому я без всяких объяснений должна была знать, в какое время вставать, когда пользоваться ванной, где висит ключ от черного хода, когда приходит молочник, кто лучшая подруга Иден, какие предметы она выбрала для выпускных экзаменов за среднюю школу, как зовут викария, а также помнить расписание автобусов из Колчестера.

Я очень много ждала от жизни в доме Веры; продолжительность моего пребывания здесь определялась погодой или тем обстоятельством, начнут ли падать бомбы на северо-восточный пригород Лондона. Я вполне допускала, что буду скучать по дому, поскольку еще никогда не разлучалась с родителями, но думала, что это чувство будет компенсироваться тем, что меня с радостью включают в сестринские отношения Веры и Иден, и я стану желанным — третьим — членом их маленького женского клуба. Как мне было известно, мой дядя Джеральд уехал куда-то на север Англии вместе со своим полком. Фрэнсис жил в пансионе. Я выглядела старше своих лет — люди часто мне это говорили — и предполагала, что тетки, одна из которых лишь на несколько лет старше меня, будут обращаться со мной как со взрослой, как с еще одной сестрой. С этими представлениями, или мечтами, я так и не рассталась окончательно, несмотря на постоянные разочарования. Мне отчаянно хотелось войти в их круг. Они, эти две женщины, обладали силой, позволявшей строить собственный мир — узкий, ограниченный и буржуазный, как я теперь его вижу — закрытое от непосвященных место, куда очень хочется попасть, вроде элитного клуба с необыкновенно строгими условиями членства и правилами, немислимыми для постороннего. Сидя за чаем в тот первый день и не подозревая, какой трудный путь мне предстоит — с попытками войти в этот клуб, стать достойной его, с бесконечными неудачами, — я внимательно слушала, тщетно надеясь, что меня о чем-нибудь спросят, поинтересуются моим мнением. И наконец дождалась вопроса:

— Ты всегда ешь правой рукой?

Я никогда об этом не задумывалась. Посмотрела на Веру, которая подняла (в моей руке) последнюю из пшеничных лепешек.

— Не знаю.

— Левая рука для еды, правая для напитков, — сказала Вера, переставляя мою чашку с блюдцем и тарелку.

Я помогла ей вымыть посуду. Мама сказала мне, что, пока буду жить в «Лорел Коттедж», я должна пытаться быть полезной Вере, и, не зная, чем можно быть полезной, я предложила вытереть тарелки. Беседа к тому времени прекратилась, потому что Иден удалилась в гостиную с книгой, которую ей задали прочитать в школе, а в ее присутствии поддерживать разговор было легче.

Мы присоединились к Иден. Работало радио. Без десяти восемь Вера объявила, что через десять минут я должна идти спать. Мне и в голову не приходило, что я лягу раньше их. Дома я отправлялась в постель в половине десятого, и лишь в том случае, когда утром нужно было идти в школу. Здесь не будет никакой школы.

— В твоём возрасте в восемь я уже лежала в постели, — сказала мне Иден. У нее был низкий, красивый голос. Возможно, это всего лишь мое воображение, но в нем часто проступала какая-то странная интонация, словно Иден не интересовали собственные слова или человек, к которому она обращалась.

— Дети всегда поднимают шум из-за того, когда ложиться спать, — сказала Вера.

— Ты имеешь в виду Фрэнсиса. Уверена, что я этого не делала.

— Нет, думаю, с тобой такого не случалось, Иден. Но ты во многих отношениях была не такой, как другие дети. Тебе пора, Фейт. Уже темнеет.

Через два месяца темнеть начнет в пять!

— Спокойной ночи, маленькая племянница, — сказала Иден. — Вот увидишь: ты заснешь, не успев донести голову до подушки.

Сомневаться уже не приходилось — сестры не впустили меня в свой тесный круг.

Мне отдали спальню Фрэнсиса, хотя в последующие визиты я всегда спала в комнате Иден. Насколько я могла судить, там не было никаких его вещей, ничего, что указывало бы на спальню мальчика моего возраста. Изготовленные руками Веры украшения, которыми изобилует дом, присутствовали и здесь — расшитые наволочки для подушек, чехлы на сиденья с вышивкой петит-пойнт, картинки из серебряной бумаги, плетеный шнурок звонка, коврик ручной работы. Возможно, в честь моего приезда личные вещи Фрэнсиса были убраны. Остались лишь круглые

металлические часы на каминной полке.

Войдя в комнату и закрыв дверь, я сразу же обратила внимание на громкое металлическое тиканье, которое издавали часы. Когда мы с Верой поднимались сюда раньше, с чемоданом, я этого не заметила.

Распаковав чемодан, я убрала вещи в шкаф, несколько напуганная вешалками, которые были обтянуты разноцветными сатиновыми чехлами с рюшами; к крючку каждой был привязан мешочек с лавандой. Я надела ночную рубашку и пошла в ванную; от доносившихся снизу звуков снова накатила волна тоски по дому. Вера и Иден оживленно болтали, а время от времени слышался смех Иден. Они держались совсем не так, как в моем присутствии — беззаботно, расслабленно и как-то уютно, и это неизбежно наводило на мысль, что меня отправили спать пораньше, поскольку им не терпелось от меня избавиться.

Проблема с часами приобретала угрожающие размеры. Я подумала, что не смогу заснуть, пока они тикают в моей комнате, но вскоре обнаружила, что остановить их невозможно — только разбить.

Книга, которую я привезла с собой, на какое-то время меня отвлекла, но потом я испугалась, что Вера и Иден увидят полоску света под моей дверью. Несмотря на юный возраст, я уже понимала: они отправили меня в постель потому, что устали от моего общества, и их не очень волнует, буду ли я всю ночь сидеть и читать, лишь бы я им не мешала; однако они никогда, ни за что на свете, не признают этого и будут настаивать, что установили время моего отхода ко сну исключительно ради заботы о моем здоровье. Поэтому им лучше не видеть, что почти в половину десятого у меня горит свет.

В темноте казалось, что тиканье часов стало громче. В комнате было не совсем темно, потому что взошла луна — яркая, желтая летняя луна. Она давала достаточно света — мне хватило. Я встала, положила одну из подушек на сиденье одного из плетеных стульев, синих с золотом, и поставила на нее часы, завернутые в ночную рубашку.

Тиканье стало приглушенным, но я по-прежнему его слышала. Меня охватил страх, что я никогда не смогу заснуть, и это будет продолжаться не одну ночь, а много, много ночей подряд — наверное, сотню. Я окажусь запертой здесь, вместе с часами, не имея возможности убежать, страдая от их тиканья, как узник, которого подвергают китайской пытке водой. Вспомнив сказку Андерсена о принцессе на горошине, я подумала, что история получилась бы гораздо интереснее, будь источник неудобств принцессы звуковым, а не осязаемым. Какое-то время я размышляла над этим, пытаюсь представить, какой звук мешал бы принцессе не меньше, чем

горошина, подложенная под двадцать перин, на которых она лежала. Но это лишь ненадолго отвлекло меня от тиканья часов, пробивавшегося сквозь складки моей ночной рубашки.

Вера и Иден отправились спать. На лестничной площадке за дверью моей спальни они заговорили шепотом, словно боялись меня разбудить.

— Спокойной ночи, дорогая.

— Спокойной ночи, дорогая. Приятных снов.

Свет на лестничной площадке погас. Я взяла с пола сшитый из лоскутов коврик и завернула в него ночную рубашку с часами. Приглушенное тиканье было еще хуже. Я дошла до крайней степени отчаяния (впоследствии мне часто приходилось испытывать подобное в номерах отелей), и мне казалось, что единственная возможность избавиться от шума — покинуть комнату. Но в «Лорел Коттедж» сделать это было не легче, чем в нью-йоркском отеле «Плаза», где в соседнем номере всю ночь буйно веселились гости. В отеле я несколько раз тщетно звонила администратору, который был вежлив, выказывал готовность помочь, но ничего не делал. Здесь администратор спал и — я это прекрасно понимала — в любом случае не проявил бы сочувствия к такого рода жалобам. Я открыла окно и выглянула наружу.

Красивый сад был залит лунным светом. В то время, когда здесь жили бабушка и дедушка, сад выглядел неухоженным, но Вера преобразила его, заменив смородину и сумах калиной самых редких сортов, кустами дерена белого, скумпией и разнообразными травами. Разумеется, тогда я этого не знала, но могла оценить красоту сада и изящество, которое он приобрел после замены обычных растений редкими видами. В белом свете луны купались листья — в это время года сверкающие золотом — изящного, дрожащего на ветру амбрового дерева в рост человека. Каменный подоконник снаружи был довольно широким. Я развернула часы, поставила их на подоконник и опустила створку окна.

Продельвая это, я вдруг испугалась, что утром в комнату может войти Вера, скажем, с чашкой чая. Или по какой-то другой, не известной мне, надобности. У меня не было сомнений, что она заметит отсутствие часов. Но если повезет, я проснусь раньше, чем это случится.

Тишина казалась мне такой прекрасной, что я старалась не спать просто для того, чтобы насладиться покоем. Разумеется, эффект получился обратным — я тут же заснула. Проснувшись утром, около половины восьмого, вспомнила о часах и достала их, покрытые росой, но по-прежнему тикающие. И не нашла причин, которые помешали бы мне продельвать это каждую ночь. Если только пойдет дождь, но раньше

времени волноваться не стоило. Я начала жалеть, что не знаю, когда здесь принято вставать: если я пойду в ванную, то не помешаю ли Иден, которая, вне всякого сомнения, должна пользоваться преимуществом? В доме было тихо. Я не знала, что делать; минут через десять, решив, что Вера с Иден еще спят, я встала и пошла умываться. Позже Вера спросила меня, почему я не приняла ванну, и взяла обещание, что я стану принимать ванну каждый день и не буду «уваливать».

В доме по-прежнему было тихо. Вытерев часы носовым платком и вернув их на каминную полку, я спустилась по лестнице. В доме было прибрано, все подушки в гостиной взбиты. Столовая оказалась пуста. Я открыла дверь кухни — сама не зная зачем, поскольку не могла приготовить себе даже чашку чая, не говоря уже о завтраке. Они обе сидели тут и ели пшеничные хлопья из квадратных вазочек фирмы «Вудс». Я вздрогнула, и мой испуг не укрылся от Веры, которая почти всегда замечала такого рода вещи.

— Бог мой, какая ты нервная! В твоём возрасте это неестественно.

Иден сказала, что я едва не разминулась с ней. В её голосе чувствовалось осуждение и намек, что выход к завтраку в такой час говорит о склонности к лени. Вера, вскочившая при моем появлении и теперь напряженно застывшая между кладовкой и плитой, спросила, что я хочу на завтрак. Перечень блюд следовал без остановки: яйца-пашот, вареные яйца, яичница, бекон, хлопья, тост. Каша в списке отсутствовала. С ней слишком много возни, объяснила Вера, и кроме того, они с Иден вряд ли будут ее есть. Я сказала, что ненавижу кашу.

— Печально, что ты так относишься к здоровой пище, — заявила Вера.

— Но вы говорили... — пробормотала я.

— Говорила, говорила. Надеюсь, Фейт, ты не собираешься ловить меня на слове по поводу всяких мелочей, которые я говорила. Пожалуй, я не смогу состязаться в логике с тобой или твоей матерью. Прежде всего, у меня нет времени. Ты уже решила, что хочешь на завтрак, или мне сесть за стол и доесть свои хлопья, пока ты будешь думать?

Я ответила, что хочу вареное яйцо. С показным смирением Вера достала кастрюлю и взяла со стеллажа яйцо. Иден вскочила.

— Давай приготовлю. Я уже закончила. Присядь, дорогая, а то ты прыгаешь, как «Джек в коробочке».<sup>[24]</sup>

Иден — в школьном сарафане, с волосами, стянутыми на затылке черной шелковой лентой — засуетилась, намазывая мне бутерброды.

— Три минуты, да?

— Можно пять?

— Ну, разумеется, *можно*. Но это будет яйцо вкрутую. Ты уверена, что захочешь есть яйцо вкрутую?

Вряд ли, но теперь я уже не совершила ошибку и не стала спорить. Просто сказала, что буду следить за временем и сама вытащу яйцо из воды. Иден, наверное, подумала, что это подходящий момент для начала уроков кулинарии, но Вера сомневалась.

— Она только уронит его на пол. Ты же знаешь, Иден, сколько грязи от яйца. — Не оставив мне времени на возмущение, она повернулась ко мне и сказала язвительным, осуждающим тоном: — Мне очень жаль, что тебе не понравились маленькие часы Иден. Она сама поставила их тебе в комнату, поскольку решила, что они пригодятся тому, у кого нет наручных часов.

— Тебе они не понравились, Фейт? — спросила Иден.

Я не могла вымолвить ни слова. Меня словно парализовало.

— Конечно, не понравились. Это совершенно очевидно. Если бы они ей понравились, она не стала бы выставлять их за окно, правда? Да, знаю, моя дорогая, это невероятно, но уверяю тебя, именно так она с ними поступила. Твои маленькие часы явно не имели успеха. Утром я первым делом спустилась в сад и сразу же увидела их на подоконнике, за окном Фрэнсиса. Хорошо еще, не пошел дождь — больше мне нечего сказать.

Как бы не так! Она принялась подробно описывать часы, словно мы с Иден никогда их не видели, потом строила предположения насчет их цены — пять шиллингов и шесть пенсов или пять шиллингов и одиннадцать пенсов, — вспоминала, когда их купила Иден, в этом году или в прошлом, и где именно, в Колчестере или в Садбери. Иден прервала ее, спросив, почему я выставила часы за окно.

— Просто потому, что они тебе не понравились, да, Фейт?

Неужели они считают меня сумасшедшей?

— Мне не нравится, что они тикают, — сказала я.

— Тебе не нравится, что они тикают? — переспросила Иден таким тоном, будто я призналась в какой-то непостижимой фобии. О моем яйце все забыли — вода с громким бульканьем выкипала, но кастрюльку заслонила облокотившаяся на плиту Иден. — Но ведь все часы тикают, за исключением электрических.

— Я знаю. — Наверное, это кажется нелепым, но у меня на глазах выступили слезы. — Мне не нравится, что они тикают. Я ничего не могу поделать. Я выставила часы за окно, чтобы их не слышать.

— Никогда не слышала чего-либо подобного, — сказала Вера.

— Почему ты не пришла и не сказала нам, что тебе не нравится их

тиканье?

— Не хотела вас беспокоить.

— Вне всякого сомнения, лучше было бы побеспокоить меня, — очень мягко и спокойно сказала Иден, — чем портить мои часы.

— Я их не портила. Они идут.

— Нет никаких причин плакать, — сказала Вера. — Слезы тут не помогут. Что у нас с яйцом? Оно кипит не меньше десяти минут.

Иден выудила яйцо и поместила в мою подставку.

— Я предупреждала, что тебе не понравится вкрутую. Бог мой, мне нужно бежать. Посмотрите, который час!

Я осталась с Верой одна. Она несколько минут еще продолжала рассуждать о часах, о ценах на них, о неизбежности тиканья, время от времени отклоняясь от темы и заявляя, что в моем возрасте нельзя быть такой нервной. Тогда я ничего не знала о проекции,<sup>[25]</sup> но теперь понимаю, что столкнулась именно с этим явлением. Мое яйцо несъедобно. Я должна позволить ей сварить другое. Не способная обижаться, она полагала, что на меня не подействует полученная выволочка. Я вытерла вымытые Верой тарелки. Поднявшись к себе в спальню, обнаружила, что часы исчезли. Куда их убрали, так и осталось для меня тайной, но до самого отъезда они больше не попадались мне на глаза.

Тот мой визит продлился недолго. «Странная война»<sup>[26]</sup> действительно оказалась странной; поговаривали, что к Рождеству она закончится, и через две недели отец приехал в Грейт-Синдон, чтобы забрать меня домой. Пять месяцев спустя, в марте следующего года, Иден прислала мне перевод на пять шиллингов по случаю дня рождения. Примерно в это же время Вера приезжала на целый день в Лондон и подарила мне две полкроны, так что у меня имелась возможность поблагодарить ее лично.

Я не отправила Иден письмо с благодарностью вовсе не потому, что была ленива, плохо воспитана, не любила писать письма или мне не нравилось получать пять шиллингов. Просто не знала, о чем писать Иден. Мне абсолютно ничего не приходило в голову — кроме слов благодарности. В то время среди моих чувств к ней и к Вере преобладал трепет. Тем или иным способом они унижали меня, и в их присутствии я чувствовала себя ничтожной, безнадежной, не способной ни в чем с ними сравниться. Если я напишу, то с письмом обязательно будет что-то не так. Или грамматические ошибки, или неразборчивый почерк, или неправильно написанный адрес. Конечно, я писала Иден и раньше, всегда подписываясь «с любовью от». Может быть, теперь, после того, как мы так много

времени провели в обществе друг друга и я получила столько уроков, практических и метафизических, относительно образа жизни, это нужно изменить? Может быть, следует завершать письмо фразой «люблю», «обожаю» или — вследствие ее явного разочарования во мне из-за часов и многих других вещей — употреблять более сдержанное, «с уважением»? Я не знала и поэтому решила промолчать.

Возмущенное письмо Иден отец получил месяц спустя. Оно его очень огорчило. Думаю, испортило настроение на весь день.

— Я бы хотел, чтобы ты написала Иден. — Он ограничился этой фразой, но повторил ее несколько раз, а потом прибавил: — Теперь ты напишешь Иден, правда?

Я так и не решилась. Тот инцидент меня очень расстроил. Разумеется, теперь я уже никогда не смогу взглянуть в лицо Иден или заговорить с ней, думала я, а что касается сестринских отношений, то об этом не могло быть и речи. Письмо отдалило нас друг от друга, и мне поначалу казалось, что оно удвоило шестилетнюю разницу в возрасте. В то время я считала себя неудачницей, неумехой, а их образ жизни — почти недостижимым стандартом.

Я думала... да, я много думала о них. В моем воображении они никогда не менялись, жили все той же размеренной жизнью в приятно пахнущем, безукоризненно чистом доме, поглощали огромное количество еды за чаем, шили и вышивали, целовали друг друга перед сном — две утонченные дамы, которые вели себя как настоящие женщины. Когда-нибудь, если очень постараюсь, я смогу сравняться с ними, стать такой же, как они, быть принятой в их общество.

Кое-что из этого я записала для Дэниела Стюарта — в сущности, конспект, поскольку мне не следовало забывать, что ему нужны сведения не обо мне, а о Вере. Тут я подхожу к семейной тайне. Рассказывать ему или нет?

Разумеется, не такая уж это и тайна. О ней известно, и она где-то записана и зарегистрирована. Например, должен существовать протокол. Я не сомневаюсь, что такого рода протоколы полиция хранит шестьдесят лет, а возможно, и дольше. Эту тайну знает семья маленькой девочки — или их следует называть потомками по боковой линии? То же самое можно сказать о моих родственниках. Или нет? Фрэнсис должен знать, потому что Фрэнсис всегда все знает, иногда еще до того, как это случилось. Ни Вера, ни Иден не говорили со мной об этом. Узнала я все от матери, а не от отца. Она разозлилась на какие-то слова или поступки Веры и вдруг заявила, что должна мне кое о чем рассказать, что продемонстрирует, насколько нелепы представления отца о своих сестрах как об образце добродетели. Бедняга, вскоре он лишится иллюзий.

Очевидно, Стюарт ничего не знал. В противном случае он должен был упомянуть об этом в биографической главе. Перечитывая эту главу, я подумала, что он пропустил очень много вещей, которые мне представлялись важными для правильного понимания характера Веры. Наверное, он о них не знает, и я должна ему рассказать. Например, о ее болезни в пятнадцатилетнем возрасте, через несколько месяцев после рождения Иден. Сначала врачи думали, что это менингит. Сегодня они, скорее всего, диагностировали бы одну из вирусных инфекций, которые проделывают с людьми странные вещи. Вера пролежала в постели несколько недель (однажды рассказал мне отец): поначалу высокая температура и бред, потом днем температура становилась нормальной, а по вечерам резко поднималась. Одно легкое у нее спалось. Она похудела на целый стоун.<sup>[27]</sup> А потом внезапно выздоровела, причем без всяких последствий, за исключением, возможно, худобы, которая сохранилась у нее на всю жизнь. Бабушка преданно ухаживала за ней, вынужденно отрывая время от новорожденного, но, поправившись, Вера постепенно брала на себя все заботы об Иден, став для нее второй матерью. Тут я опять подхожу к семейной тайне. А что, если болезнь Веры не имела отношения ни к вирусу, ни — если носила психосоматический характер — к ревности

к новорожденной сестре, а была обусловлена историей с Кэтлин Марч? Виной, раскаянием или, возможно, а по моему мнению, более вероятно, просто страданиями от того, что ее презирают и осуждают.

Не упомянул Стюарт и о грозе. Мне поведала об этом случае Иден — она очень любила эту историю. Впервые — еще раз мне напомнили о ней в день свадьбы Иден — я услышала ее в саду в Уолбруксе, летом, в разгар войны. Должно быть, Иден тогда приехала домой в отпуск. На ней было платье, сшитое Верой из двух старых. Бело-розовая юбка с цветочным узором и синий лиф с бело-розовыми воротником и манжетами. Волосы подняты со лба и скреплены заколками, а остальные свободно спадают, как в стрижке «паж». На правой руке Иден носила обручальное кольцо матери — она принадлежала к той категории девушек, которые не расстаются с обручальным кольцом умершей матери.

Хелен и Вера ушли в дом. Мы с Иден сидели в шезлонгах на террасе. День был душный, издалека доносились раскаты грома; вне всякого сомнения, именно этот звук заставил Иден вспомнить ту историю.

— Видишь бугорок в дальнем конце лужайки?

Иногда я задумывалась, что это такое: похоже на выпуклость под слоем почвы, скалистый выступ, хотя в здешней местности никаких скал не наблюдалось, только невысокие холмы.

— Там раньше росло дерево, огромный конский каштан — так его называют. Когда я была маленькой и лежала в коляске... Тебе правда никто не рассказывал, Фейт?

— Кажется, нет. Я не знаю, что это.

— Ты бы запомнила, если бы тебе рассказали. Разумеется, не Вера, но я думала, что твой отец... люди такие странные, правда? В общем, как я уже сказала, я была маленькой и лежала в коляске, а коляска стояла под тем деревом. Хелен, естественно, была в Индии. Тут жили ее бабушка и дедушка. Надеюсь, это тебе известно, да?

Я не была уверена, но решила, что разумнее согласиться.

— Мама, папа, Вера и твой отец явились сюда с ежегодным визитом. Обычно они шли пешком — можешь себе представить? — от самого Мейленда. Наверное, миль шесть. Мама положила меня под каштаном. Началась гроза, и вдруг Веру охватило предчувствие катастрофы. Все пили чай на кухне — ты не поверишь, но эти Ричардсоны всегда заставляли их есть на кухне, потому что свысока смотрели на отца, — из окна которой была видна лужайка. Разумеется, нетрудно догадаться, что мама следила за мной через окно, рассчитывая забрать меня, если пойдет дождь, и они все решили, что Вера сошла с ума, когда вскочила и, ни слова не говоря,

бросилась во двор. Ты же видела, какое у Веры превосходное воспитание, и поэтому должно было произойти нечто исключительное, чтобы она встала из-за стола, не спросив разрешения хозяйки. Вера выбежала в сад, выхватила меня из коляски и уже возвращалась в дом, когда на сад, словно бомба, обрушилась гигантская молния. Так сказала мама, хотя сама никогда не видела бомб; я имею в виду, что в ту войну их не было — не то, что теперь. Так вот: молния ударила в дерево и расколола его на тысячи кусочков. Веру, которая держала меня на руках, сбilo с ног, однако она не пострадала, и я тоже, если не считать синяков. От коляски ничего не осталось, и от каштана тоже — только пень, который теперь виден под травой, и два фута ствола, а щепки на клумбах находили еще несколько лет. И, наверное, до сих пор находят.

— Значит, Вера спасла тебе жизнь?

— О да, я обязана ей жизнью. Не понимаю, почему Джон тебе не рассказал. Это очень странно с его стороны.

Таким образом, если болезнь Веры носила психосоматический характер (впервые за все время я подумала, что это вполне вероятно) и была способом отвлечь внимание матери от новорожденной девочки и переключить на себя, а реальные физиологические симптомы болезни были вызваны ревностью, то через несколько месяцев Вера уже раскаялась. Она так полюбила сестру, что рисковала собственной жизнью ради спасения ребенка. Любовь ее была настолько сильна, что заставила забыть о правилах поведения за столом.

Я расскажу Стюарту о грозе — так, как рассказывала мне Иден, — чтобы он мог использовать прямую речь, которую я считала гораздо более эффективным приемом в подобной книге. И еще, наверное, о том, как Вера нашла мертвую миссис Хислоп, хотя это может не иметь никакого отношения к делу. Почему ни одна из этих историй не известна Чеду Хемнеру? Или ему рассказывали, однако он или не слушал, или сразу забывал, поскольку его мысли, как я узнала впоследствии, были заняты совсем другим?

Вера имела обыкновение навещать одиноких стариков — нечто вроде традиции, сохранившейся с тех времен, когда дворяне занимались благотворительностью в своем приходе (хотя Лонгли никак не могли претендовать на благородное происхождение), предшественницы добровольных общественных работ. Однажды Вера отправилась к миссис Хислоп и нашла ее мертвой. Вероятно, это стало шоком для девочки, явившейся со свертком старой одежды и пирожными, которые она только что испекла. Вера сама рассказала мне об этом случае в один из редких

дней, когда ей захотелось выговориться.

Мы гуляли с Джейми, который был еще в коляске, только она и я; Иден в то время жила в Лондоне у старой леди Роджерсон. Я толкала коляску, и Джейми заснул, что часто случалось, когда коляска приходила в движение, и тогда он неизбежно пропускал все, что ему хотели показать, — лошадей на лугу, кошку на стене, пожарную машину. Я отчетливо вижу его: похожие на персики щеки с тенью от густых темных ресниц, золотистые, как у всех Лонгли, волосы, еще ни разу не стриженные, потому что Вера не допускала мысли, что можно обрезать его кудри. Мы возвращались домой другой дорогой, по которой я никогда раньше не ходила, хотя к тому времени уже пять или шесть лет ежегодно приезжала в Синдон. Это была дорога, ведущая в никуда, и через сотню ярдов превращавшаяся в тропинку. Мы с Верой были вынуждены свернуть на нее, обнаружив, что улица, которую мы выбрали, перегорожена потоком воды. Тропинка вилась по краю унылого луга мимо заброшенных гравийных карьеров, но Вера так долго сторонилась совсем по другой причине. Увидев впереди коттедж, она негромко рассмеялась, пытаясь скрыть смущение или какие-то более сильные чувства.

— По возможности я никогда не хожу этой дорогой. Глупо, когда прошло столько лет, но я, похоже, не в силах изменить свои чувства.

Сегодня домик миссис Хислоп привели в порядок: балки фахверковой конструкции обнажены, а крыша, которая раньше была черепичной, покрыта соломой. В нем живет преподаватель Эссекского университета с женой и ребенком. Когда я увидела дом впервые, сразу после войны, он представлял собой бесформенную развалюху из дранки и штукатурки, с закрытыми ржавым железом окнами и садом, заросшим сорняками, среди которых гнила старая черно-зеленая машина марки «Моррис» десятой модели. Вера говорила, что миссис Хислоп собирала в поле и ела разные грибы, хотя ее предупреждали, что это смертельно опасно и однажды она убьет себя. Когда Вера нашла ее, войдя на цыпочках в безмолвный коттедж, окликнув хозяйку и понимая, что за дверью спальни ее ждет нечто ужасное, тело старухи уже раздулось от того, что в просторечье называют водянкой, хотя при жизни никаких признаков этой болезни у нее не наблюдалось.

У миссис Хислоп не было рвоты или других признаков отравления грибами. Полиция провела расследование, и вердикт гласил, что смерть наступила от естественных причин, хотя все в деревне не сомневались, что старуха отравилась, хотя и не знали, как и чем именно. Вера поспешно провела меня мимо коттеджа и ни разу не оглянулась. Думаю, это дает представление о ней как о чувствительном человеке, у которого конкретное

место или обстановка могут вызывать болезненные воспоминания, хотя непонятно, почему место, где было найдено тело маленькой девочки, похоже, оставляло ее равнодушной? Много лет она старалась держаться подальше от Лум-лейн и домика миссис Хислоп, но никогда не пыталась избегать луга за церковью или самого церковного двора, а когда посещала церковь, то шла туда через крытый вход на кладбище не реже, чем по тисовой аллее. В качестве объяснения можно предположить, что Вера чувствовала себя отчасти виноватой в смерти миссис Хислоп — например, потому, что не пришла накануне вечером, как обещала, или никому не рассказала о том, что — возможно, только она одна — хорошо знала: к тому времени глаза миссис Хислоп были поражены катарактой, так что старуха была почти слепа и уже не могла отличить один гриб от другого. Раскаяние могло отталкивать Веру от коттеджа, в то время как она, скорее всего, не чувствовала своей вины в истории с Кэтлин Марч. Но разве можно быть абсолютно невиновной, если ребенок находился на ее попечении?

Наверное, Стюарт захочет найти в юности Веры корни того, что случилось потом: попытки медленного отравления, к которому она прибегла, и — когда затея сорвалась — жестокой развязки. Думаю, он сформулирует свой постулат так: убийцы не убивают ни с того ни с сего. Должна быть какая-то причина — склонность к насилию, непонимание ценности жизни других людей. Однако у Веры и Иден остались потомки, которые имеют больше, чем я, прав решать, следует ли раскрывать тайну, или нет — больше прав, даже несмотря на то, что могут не знать этой истории. Вместо того чтобы называть имя Кэтлин Марч Стюарту (который, получив подсказку, может затеять собственное расследование), я должна выяснить, как к этому относится Джейми, а возможно, также Элизабет и Джайлз. Писать их отцу бесполезно, потому что, как известно, Фрэнсис никогда не отвечает на письма родственников.

«Битва за Англию», в которой меньшинство сражалось над головами большинства (в ней принимал участие Эндрю), вынудила меня в августе 1940 года вернуться в Синдон. Я очень хотела туда поехать, хотя поверить в это трудно — после рассказа о предыдущем визите. Причины моего желания не имели никакого отношения к Вере, а если точнее, то недостаток в виде присутствия Веры бледнел перед очевидными преимуществами: свиданием с Иден, возможностью спать в кровати в собственной комнате (у нас дома оборудовали бомбоубежище, и я ночевала в нем, а родители поставили кровать в гостиной), деревенской жизнью. Именно последнее

обстоятельство в прошлый раз примирило меня с необходимостью поехать к тетке. Сладкий восторг, испытываемый летом некоторыми детьми — как мне кажется, особенно девочками — от очаровательных сельских пейзажей, проходит или напрочь забывается, когда дети вырастают. Несомненно, именно об этом говорит Вордсворт в «Оде предчувствия бессмертия». Всему виной взросление. Луг, роща, ручей, обычные пейзажи — все это в подростковом возрасте теряет яркость и свежесть грез, и у нас остается лишь любовь к деревенской жизни. По крайней мере, так произошло со мной. В возрасте одиннадцати лет я получала огромное наслаждение от лесов и полей в Синдоне, от птиц и бабочек, от плодов на деревьях, где, как считалось, их быть не могло — на сикоморе, полевом клене, ольхе, — от появления листьев, от жизненного цикла мелких существ, от катящего огромное яйцо паука, от превращения куколки в бабочку, от ниточек жабьей икры, от мотылька цвета киновари, усаживающегося на цветок крестовника. Теперь все ушло. Я не вижу этих мелочей, а если вижу, то не радуюсь им; у меня нет времени просто стоять и смотреть. В отличие от тех дней. Я находила эти мелочи, по крайней мере часть, на просторах нашего наполовину застроенного пригорода, развитие которого остановила война. Уже тогда я в совершенстве владела искусством прикрывать глаза, чтобы не видеть того, чего не желала видеть, — в данном случае домов, а в других вызывавшие неловкость проявления чувств. Но в Грейт-Синдон не было нужды закрывать глаза. «Лорел Коттедж» стал одним из последних построенных тут домов. Его окружала нетронутая сельская красота.

И еще мне хотелось снова увидеться с Иден. Наверное, одиннадцатилетний ребенок должен иметь кумира. Мое обожание подпитывалось разлукой. Я даже стала считать то письмо справедливым. В конце концов, это был выговор моему отцу, а не мне. Возможно, ему следовало привить мне хорошие манеры, научить готовить и шить, быть женственной. Вера один или два раза говорила, что не понимает, какая мне польза от всех этих латинских склонений, и, хотя я почти не обратила внимания на эти слова, учитывая, от кого они исходили, Иден с улыбкой согласилась и с явного одобрения Веры заявила, что абсолютно безнадежна в латыни и что после двух семестров бросила этот предмет. Она была красивой, элегантной, уравновешенной и уверенной в себе. Юная восемнадцатилетняя девушка, Иден приходилась взрослым людям сестрой, а не племянницей, и они относились к ней с таким же уважением, как к сверстникам. Иден бросила школу и поступила на работу. Она станет для меня примером. В поезде до Колчестера я гадала, сохранили ли ее волосы

золотистый цвет, и если сохранили, то удастся ли мне втайне от всех осветлить собственные волосы перекисью.

Где-то над Эссексом шел воздушный бой. Истребитель, из которого валил дым, кувыркаясь, падал на землю, словно листок с дерева. Пассажиры сгрудились у окна, вглядываясь в небо. Из самолета никто не выбросился с парашютом. Летчик, кто бы он ни был, горел внутри. Это «Мессершмитт», сказали пассажиры, а не наш — не «Спитфайр» и не «Харрикейн». Небо очистилось, и солнце светило по-прежнему.

Вера встречала меня на вокзале: поцеловала воздух в дюйме от моей щеки, заявила, что я выросла, и снова пожаловалась на вес моего чемодана.

В этот раз я приехала на несколько месяцев. Воздушные налеты на Лондон начались в сентябре, и три месяца спустя в городе за одну ночь было зарегистрировано 1725 пожаров. Отец приехал в Синдон, встретился с директором и устроил меня в школу, где в свое время училась Иден. К тому времени в деревне у меня появилась подружка, девочка, тоже приехавшая сюда к родственникам; так что я с нетерпением ждала встречи с Энн, с которой можно вместе ходить в школу, и радовалась, как радуются все в этом возрасте, что я ничем не отличаюсь от других детей. Был выходной день, и Иден ждала нас в «Лорел Коттедж». Утром в честь моего приезда она испекла бисквит, который удавался только ей — взбивать яйца требовалось не меньше десяти минут.

В «Лорел Коттедж» был также Фрэнсис, о котором я совсем забыла.

До появления Джейми он оставался моим единственным кузеном; сестра и брат матери были бездетными. В детстве мы с ним иногда виделись, вне всякого сомнения, играли вместе и, наверное, ладили — я не помню. Он был примерно на год старше меня. О его присутствии в доме Вера, естественно, ничего не сказала, очевидно предполагая, что я обязана знать о его приезде. В конце концов, у Фрэнсиса тоже школьные каникулы, и где еще ему быть, если не дома? Где угодно, как я впоследствии узнала, но это было позже.

Вспоминать нетрудно — трудно заново переживать чувства, которые я испытала, когда вошла в гостиную и увидела Фрэнсиса, сидящего там вместе с Иден. Замирание сердца, что-то похожее на панику, мысль о том, что теперь все пропало. Почему? Почему я так волновалась? Почему первые несколько секунд я была абсолютно уверена, что мы с ним невзлюбим друг друга и, хуже того, что в его присутствии я всегда буду чувствовать себя неуклюжей, смешной и глупой? В эти первые секунды я испугалась его и, защищаясь, словно спряталась в раковину.

Вере, уделявшей столько внимания соблюдению приличий, и в голову не пришло еще раз представить нас друг другу. Иден тоже. Возможно, с моей стороны было смешно чего-то ждать. Какие могут быть церемонии между двоюродным братом и сестрой, родственниками? Наверное, я была маленьким педантом, настоящей занудой, если хотела, чтобы мне рассказывали о Фрэнсисе, а ему — обо мне, помогая найти друг в друге что-то общее; чтобы Вера или Иден просто из чувства симпатии к людям, которое у них напрочь отсутствовало, помогли нам общаться? Я молча стояла, размышляя — строила самые нелепые предположения, где мне теперь спать. И понимала, что не смогу заставить себя спросить.

Он был красивым парнем. Если вы хотите знать, как он выглядел, найдите несколько номеров журнала для мальчиков «Бойз оун пейпер» или юношеский роман с иллюстрациями, выпущенный в конце девятнадцатого века. Фрэнсис был похож на прообраз юного героя: стройный молодой англичанин, капитан регбийной команды, впоследствии лучший регбист университета, староста класса, великодушный к младшим, суровый гонитель несправедливости, голубая кровь или, как говорят американцы, настоящая «белая кость», но в то же время скромный, сэр Генри Куртис<sup>[28]</sup> в молодости. Сегодня мы бы сказали, что он просто копия актера Энтони Эндрюса. Светловолосый, с резкими чертами лица и подбородком, словно вырезанным острым ножом из тикового дерева, пронзительными синими глазами и полными, а не тонкими, как можно было ожидать, губами. Кроме того, бросалось в глаза его сходство с Иден. Внешне они больше походили на близнецов, чем мой отец и Вера, — в свои тринадцать Фрэнсис уже перерос Иден.

Мы сели за стол, накрытый для чая, и Вера тут же принялась расхваливать большой круглый пирог, посыпанный сверху чьей-то недельной нормой сахара. Иден хихикала. Она стала на год старше, но выглядела не такой взрослой, менее неприступной. Я также увидела, что других людей могут допускать внутрь магического круга, заключавшего только их двоих, ее и Веру. Хотя, нет — тут я ошибаюсь. Теперь образовались две пары — Иден и Фрэнсис, Иден и Вера, — но ни в коем случае не трио. Об обращении Фрэнсиса с матерью я расскажу позже, хотя с самого начала, в эти первые часы, оно шокировало и заинтриговало меня. Поведение Фрэнсиса и Иден казалось мне странным. Они ставили меня в тупик и в каком-то смысле пугали. Я не понимала причины — была слишком мала. Взгляды, которыми они обменивались, хихиканье Иден в ответ на его слова, перешептывание, вызывавшее упреки Веры, причем адресованные только сыну, а не сестре, и явное удовольствие, которое они

получали от общения друг с другом, пока Иден не взяла себя в руки и вновь не переметнулась на сторону Веры — все это было выше моего понимания. И угрожало мне (как скажут психотерапевты), той части меня, которая жаждала — желание это не исчезло до сих пор — стать для них своей. Казалось, передо мной образец взрослого поведения, до которого мне никогда не возвыситься, я была в этом уверена. Прошло много лет, прежде чем мне удалось проанализировать и разрешить эту загадку. Они вели себя, как тайные любовники.

Но в тот вечер я словно плыла в открытом море, дрейфовала в лодке, без всякой карты по глубоким водам семьи Лонгли. Темой разговора за чаем была новая работа Иден, но, поскольку все предполагали, что я знаю то, о чем понятия не имела — что это за работа, как Иден на нее устроилась, как зовут работодателя, когда она вышла на работу и так далее, — я не могла принять в нем участия. Поэтому я решила слушать и запоминать все, что смогу. Теперь, бросив школу, Иден красилась еще сильнее: жидкий тональный крем, один из тех, которые только появлялись в магазинах — или под прилавком, так что приходилось их выпрашивать или стоять за ними в очереди, — а также яркий коричневый карандаш на выщипанных бровях и вызывающие синие полосы теней на веках. Прическа представляла собой сложную конструкцию, в которой торчали металлические зажимы, что в 1940 году считалось шикарным.

Больше всего меня волновал вопрос, не придется ли идти спать в восемь часов. Присутствие Фрэнсиса, во многих отношениях неприятное, несколько успокаивало. Вряд ли меня отправят в постель, а ему позволят остаться, и тот факт, что нас обоих уложат спать одним и тем же унижительным способом, выглядел предпочтительнее моего индивидуального изгнания. Но вскоре после чаепития Фрэнсис исчез.

Я вытирала тарелки. Вера с Иден продолжали обсуждать работу последней; как я к тому времени уже поняла, она устроилась в адвокатскую контору, и в ее обязанности входило отвечать на звонки и объяснять клиентам, где они должны ждать. Найти место помог генерал Чаттерисс, который учился в школе со старшим партнером адвокатской конторы. Я почувствовала облегчение, узнав так много и при этом ничего не спрашивая. Значит, когда в разговоре снова возникнет эта тема, я уже не продемонстрирую свое невежество и не получу выговор.

Разумеется, никто не ждал от Фрэнсиса, что он будет мыть или вытирать посуду, заправлять постель или делать что-либо по дому. Мы вернулись в гостиную, и я думала, что увижу Фрэнсиса там же, где мы его оставили, — в кресле, с томиком «Унесенных ветром» в руках. Реакция

Веры на его отсутствие была очень бурной (сегодня мы назвали бы ее несоразмерной). Лицо у нее побагровело.

— Видишь — он опять за свое!

— Дорогая, еще только без десяти семь. — Я заметила, что Иден все чаще называла Веру «дорогая».

— Он пользуется нашим отсутствием.

Этот обмен репликами озадачил меня. Фрэнсис свободен, а время еще не позднее. Почему он не может прогуляться по деревне, если хочет?

Какое-то время о нем не вспоминали. Вера с Иден были похожи на викторианских дам за «работой». Свободное время они проводили за столом лицом друг к другу или в креслах по обе стороны камина, шили, вязали крючком или вышивали. Вид Иден с замысловатой прической и ярким макияжем никак не соответствовал занятию девочки-паиньки, украшающей мережкой края носового платка. Но для меня все, что она делала, казалось достойным восхищения и подражания, и когда Иден нашла мне вязальный крючок и моток шерсти и поручила «делать квадратики», из которых потом сошьют одеяло, я с радостью согласилась. Вера вышивала узор для каминного экрана: дама в шляпке и кринолине, с корзинкой в руке. В тридцатые годы дамы в кринолине были очень популярным сюжетом для рукоделия, и в «Лорел Коттедж» они встречались на каждом шагу — на подушках, стеганых чехольчиках для чайника, конвертах для ночных рубашек.

Я предпочла бы погулять в саду или в поле, но боялась выйти, помня о реакции Веры на исчезновение Фрэнсиса. Кроме того, мне доставляло удовольствие сидеть со взрослыми, занимаясь одним с ними делом и принимая помощь от великодушной Иден, которая направляла мои неловкие руки, следила за тем, чтобы петли ложились ровно, и наконец, когда квадрат был закончен, заметила:

— Совсем неплохо для начинающей!

Вера отложила вышивку и принялась за письмо. Взглянув на него украдкой, я увидела, что оно адресовано мужу, поскольку начиналось со слов: «Дорогой Джерри». Где находился Джеральд, Вера не знала — если не было возможности намеками, чтобы не придрался цензор, более точно указать место, Джеральд обычно сообщал, что «на территории Англии». Время приближалось к восьми, и я начала следующий квадрат, но, как выяснилось, недооценила Иден, которая услышала звон церковных колоколов за минуту до того, как стрелки на часах в гостиной показали восемь. Она воткнула иголку в платок, сложила его, бросила на ручку кресла, сверху прижала острыми ножницами, точно по центру, встала и

улыбнулась мне.

— Ну, маленькая племянница, ты будешь спать в моей комнате, и я должна показать тебе, где это.

Разочарованная, я пошла за ней к двери; некоторым утешением мне служил тот факт, что мы будем делить одну спальню. Однако Вера вдруг вскочила и бросилась наверх. Я слышала, как она перебегает из комнаты в комнату, хлопая дверьми. Иден замешкалась. Она не смотрела на меня. Затем открыла дверь, и мы вышли, остановившись у подножья лестницы. Вера сбежала по ступенькам; лицо ее было красным, глаза и рот выдавали едва сдерживаемый гнев.

— Его нет в доме! Я говорила тебе, он опять за свое.

Она распахнула парадную дверь и побежала к калитке, перегнулась через нее, и, повернувшись влево, позвала:

— Фрэнсис, Фрэнсис!

Потом повернулась направо и повторила:

— Фрэнсис, Фрэнсис...

Мы пошли в комнату Иден. Голос Веры, звавшей сына, доносился сначала спереди дома, затем сзади. Дверь спальни Фрэнсиса была закрыта, и Иден открыла ее и заглянула внутрь — естественно, там никого не было. Я ничего не спрашивала, а она не объясняла. Ее спальня была очень чистой и аккуратной: вышитые салфетки, на которых лежала щетка для волос и стояли разнообразные кувшины и вазочки, преобладание розовых тонов, картины на стенах, в том числе цветной снимок статуи Питера Пэна в Кенсингтонском саду. Кровати стояли не параллельно, а под углом друг к другу, настолько далеко, насколько позволяли размеры комнаты. К своему огромному облегчению, часов я не обнаружила.

Мой чемодан был уже здесь и ждал, пока его распакуют. Иден объяснила, что я должна повесить свои вещи в выделенную для меня секцию шкафа и могу занять второй ящик комода.

С лестницы слышались громкие шаги Веры. Она распахнула дверь. Детей смущают признаки сильных чувств у взрослых, а Вера в тот момент явно находилась под воздействием сильных чувств: лицо пунцовое и залито слезами, губы шевелятся, тело напряжено, словно пружина, пальцы сжаты в кулаки. Иден подошла к ней и взяла за локоть.

— Зачем ты доводишь себя до такого состояния, дорогая?

— Он делает это специально!

— Ну разумеется. Ты не должна обращать внимания.

Иден вспомнила обо мне; я смущенно ждала, недоумевая, что могло стать причиной подобных страданий, таких глубоких и бурных, на грани

истерики.

— Спокойной ночи, Фейт, дорогая. Я не стану тебя беспокоить, когда вернусь. Разденусь в темноте.

Она закрыла дверь; я осталась в спальне, а Вера с ее загадочными страданиями — в коридоре. Распаковывая чемодан, я размышляла, не думает ли она, что Фрэнсис сбежал или похищен. Может, нужно вызвать полицию? Может, передо мной разворачивается первый акт какой-то ужасной семейной трагедии? Выйдя из ванной, я увидела, что дверь в спальню Фрэнсиса открыта, постель разложена — Вера расстилала все постели после чая, снимая и складывая стеганные покрывала, — а комната пуста. На камине громко тикали часы. Внизу плакала Вера. Я легла в кровать, сбитая с толку этой загадкой и уверенная, что совсем скоро дом наводнят полицейские, соседи, эксперты. Кто-то осторожно поднимался по лестнице; я не сомневалась, что это Иден, и притворилась спящей. Но в ближайшие полчаса Иден не появилась, а когда появилась, вместе с Верой, то они так шумели, что все равно разбудили бы меня.

— Он здесь! Посмотри на него. И дверь распахнута. Должно быть, он незаметно прокрался у нас за спиной. Я готова его убить!

— Дорогая, ты не должна так расстраиваться.

Любопытство пересилило. Я открыла дверь и замерла на пороге. В первый момент Вера меня не заметила. Дверь в спальню Фрэнсиса по-прежнему была распахнута; часы тикали с громким металлическим лязгом, способным прервать самый глубокий сон, но Фрэнсис не просыпался. Он лежал на кровати, наполовину прикрытый одеялом; дыхание его было ровным и глубоким.

— Я готова его убить, — повторила Вера.

— Чем сильнее ты расстраиваешься, тем больше поощряешь его.

Вера заметила меня.

— Почему ты не в кровати?

Я объяснила, что мне нужен стакан воды.

— Ты ей принесешь, Иден?

— Я сама могу.

— Да, и забудешь закрыть кран. Не знаю, где ты научилась пить воду по ночам. Твой отец, я и Иден так себя не вели, когда были детьми. Не понимаю, почему тебе это позволяют.

Не имея возможности излить свой гнев на спящего Фрэнсиса, Вера обрушилась на меня, но я, конечно, этого не понимала. Не знала я — хотя совсем скоро выяснила — и того факта, что проделки Фрэнсиса повторялись каждый вечер и были частью жестокого и преднамеренного

издевательства над матерью, которое не прекращалось с самого начала каникул. Эта часть заключалась в том, что ежедневно в семь часов вечера он исчезал — вероятно, изначально для того, чтобы избежать унижения, когда его отправляли спать, — и прятался неподалеку, слушая громкие проявления ярости и страданий Веры, которые она была не в силах скрыть или подавить, а затем, когда Вера начинала всхлипывать в объятиях Иден, незаметно прокрадывался по лестнице, ложился в постель и оставлял дверь открытой, словно демонстрируя себя и заявляя: «Смотрите, вот я. К чему весь этот шум?» Вера никак не могла привыкнуть или последовать совету Иден и не обращать внимания на выходки Фрэнсиса. Каждый день разыгрывалась одна и та же истерическая сцена, заканчивавшаяся тем, что они обе стояли на пороге спальни Фрэнсиса, с удивлением глядя на него, словно придворные у опочивальни какого-то французского короля.

Зачем он это делал? Что заставляло его так радоваться, когда он видел и слышал бессильный гнев Веры? И ведь это была лишь одна из его многочисленных провокаций — например, Фрэнсис буквально исполнял ее требование, что левой рукой едят, а правой пьют, и держал и вилку, и нож в левой руке. Еще у него были «красные» и «желтые» дни, когда он во время всех трех трапез соглашался есть только продукты красного или желтого цвета; в последнем случае такие блюда, как ватрушки с лимонным кремом, шафрановый пирог или сваренное вкрутую яйцо, подвергались тщательному анализу, вслед за чем выносился вердикт, достаточно ли они желтые. Слишком утонченный и оригинальный, чтобы опускаться до таких распространенных розыгрышей, как соль в сахарнице или связанные простыня и пододеяльник, мешающие вытянуться во весь рост, Фрэнсис предпочитал что-нибудь эксцентричное, прекрасно сознавая, как это раздражает Веру. Однажды, жарким августовским днем он превратил в саду все синие цветы в зеленые, аккуратно наклоняя их головки и погружая в кувшин, на дно которого налил полдюйма нашатырного спирта. Утром «Дейли телеграф» могла прийти с вопросами к кроссворду, но без самого кроссворда. Вера несколько недель жаловалась владельцу газетного киоска, бранилась с мальчишкой-разносчиком, пока не обнаружила, что виноват Фрэнсис. Он был готов на все, чтобы привести в исполнение свои коварные замыслы, и ему ничего не стоило встать в шесть утра, подобрать газету, как только она проскальзывала за дверь, и вырезать кроссворд.

Иден спросила, зачем он это делает. Я сидела в комнате вместе с ними, и какое-то время мне казалось, что они забыли о моем присутствии. Вера только что с плачем убежала наверх. Это был один из «белых» дней Фрэнсиса. Нехватка продовольствия уже начинала чувствоваться, и

считалось непатриотичным не съесть всего, что было на тарелке. Фрэнсис согласился съесть цветную капусту и белое мясо курицы, однако на картофеле имелась коричневая подлива, и он настаивал, чтобы ее смыли под краном. Вера — что удивительно — соглашалась с его цветными причудами относительно еды, по-видимому считая его слишком худым, и довольно разумно дополнила эту безвкусную пищу рисовым пудингом. Но Фрэнсису была не нужна ее покорность. После первой ложки риса он хлопнул себя ладонью по лбу, как человек, слишком поздно вспомнивший что-то важное.

— Сегодня вторник?

— Конечно, вторник, — подтвердила Вера.

— Тогда это должен быть «зеленый» день. Ну и дурак же я! Наверное, еще не поздно исправить ошибку — возможно, ничего страшного еще не случилось. Быстро... у нас в доме есть банка крыжовника? Или яблоко? Только оно должно быть зеленым. Или огурец?

Вера отшвырнула салфетку и бросилась вверх. Фрэнсис засмеялся; искоса взглянув на него, Иден сказала — бесстрастно, не желая выдавать себя:

— Ты отвратителен. Почему ты такой противный?

Я еще никогда не видела, чтобы кто-то ел огурец, как банан. Фрэнсис очистил его, как чистят банан, хотя для этого ему пришлось воспользоваться ножом.

— Когда мы жили в Индии, — сказал он, — у меня была няня, из местных жителей, по имени Мумтаз.

— Ты уже говорил.

— Ладно, значит, я тебе о ней рассказывал. По-твоему, у нее смешное имя. Это всего лишь имя женщины, для которой построили Тадж-Махал. Полагаю, тебе это ни о чем не говорит.

— Не будь таким противным, Фрэнсис, — повторила Иден.

— Думаю, не стоит тебе рассказывать. Все равно она умерла. Заболела чем-то ужасным, вроде тифа, и умерла.

— У тебя была мать, — сказала Иден. — В отличие от меня. Моя мать умерла, когда мне исполнилось тринадцать.

— У тебя была *моя* мать. А у меня нет — в этом все дело. И мне было не тринадцать, а семь. Она спланировала меня в интернат при первой же возможности, избавилась, как только смогла. Мило, правда? Я должен был поехать в интернат, потому что они жили в Индии, только в Индии она была недолго, она была здесь. Вместе с тобой. То есть она выбрала тебя, а меня отправила в школу.

Иден вдруг стала очень взрослой и высокомерной. Ее улыбка предназначалась мне.

— Знаешь, от твоих слов у Фейт может сложиться ужасное впечатление. Разумеется, ты имел в виду совсем другое. Надеюсь, ты понимаешь, что он это несерьезно, Фейт.

Я была молчаливым ребенком и в то время плохо разбиралась в правилах хорошего тона, больше полагаясь на разнообразные движения головой. Поэтому я кивнула, постаравшись, чтобы этот жест выглядел как можно неопределеннее.

— Твоя мать давала тебе все самое лучшее, Фрэнсис. Или то, что считала лучшим. Может, я тоже хотела уехать в интернат, но у меня не было такой возможности, а?

— Ты настоящая зануда, Иден, черт бы тебя побрал.

В 1940 году представители среднего класса редко чертыхались. Я считала слово «черт» сильным выражением и была шокирована.

— Ты вгоняешь Фейт в краску. — Справедливо, но я предпочла бы, чтобы Иден не привлекала к этому внимания. — Знаешь, она обязана рассказать все отцу. Каждое произнесенное тобой слово Фейт передаст отцу, но тебе, конечно, ничего за это не будет. А Веру обвинят в том, что она тебя не так воспитала.

— Хорошо, — сказал Фрэнсис и достал с полки коробочку с канцелярскими кнопками. Сначала он скрепил концы огуречных очистков, затем соорудил узор из кнопок, как будто это заклепки, так что шкурка огурца стала похожа на ремешок, вытащил из кармана Вериного плаща пояс и заменил его конструкцией из огурца и канцелярских кнопок.

Я подумала, что он сошел с ума. И до сих пор считаю, что, возможно, была права. Все его поведение диктовалось мстью, а ни в коем случае не желанием привлечь внимание к себе или надеждой вновь завоевать любовь матери. Фрэнсис ненавидел мать, и это была именно ненависть, а не ее имитация — настоящая, порочная, приносящая наслаждение. Иден старалась сохранять нейтралитет: хихикала наедине с Фрэнсисом, причем иногда ее смех звучал как одобрение — она знала, что Фрэнсис никогда не передаст Вере ее слова, гордость ему не позволит, — а в присутствии Веры вздыхала, качала головой и убеждала ее не обращать внимания, поскольку с возрастом у него это пройдет. Она не могла быть уверена, что Вера не поспешит передать Фрэнсису слова, сорвавшиеся у нее с языка: «Иден говорит, что ты отвратителен и что она еще не встречала человека, который обращался бы с собственной матерью так, как ты обращаешься со мной!» Никто не ждал, что я приму чью-либо сторону. Мне и не предлагали.

К тому времени я познакомилась с Энн Кембас, и мы все дни проводили вместе, в основном у нее дома, что пошло мне на пользу, не только по части общения, что очевидно, но и как демонстрация контраста: не все такие, как Вера и Иден, или стремятся стать похожими на них. Оказывается, люди бывают веселыми, сердечными и легкомысленными, вроде моей матери, а исключение составляет именно Верин дом, а не мой. Поэтому большую часть светлого времени суток я проводила с Энн; мы бродили по полям и лесам, катались на старом велосипеде, который когда-то принадлежал Иден, играли в сложную и увлекательную игру, которую называли «Мария Стюарт» и которая заключалась в том, что мы снова и снова представляли в лицах события из жизни королевы, о которых нам рассказывали в школе, причем каждая из нас по очереди изображала Марию, а другая — всех остальных персонажей: Дарнли, Риццио, Ботвелла, Елизавету Первую. В дождливую погоду действие разыгрывалось в полуразрушенном домике в дальнем углу Верино сада, который все называли хибарой. В садах многих домов Синдона и окрестных деревень имелись маленькие домики или их развалины. Наверное, когда-то это были лачуги из прутьев, обмазанных глиной с примесью соломы, и фрагментов кирпичной кладки, построенные вплотную из соображений удобства и тепла, похожие на пчелиные соты, грязные и неудобные. То, что от них осталось, владельцы использовали в качестве сараев или прачечных. Не знаю, стирал ли кто-нибудь когда-нибудь в хибаре «Лорел Коттедж». Здесь стоял старый медный котел с белесой деревянной крышкой, а под ним имелась выемка, вроде пещеры, где разводили огонь. Пол был кирпичным. Иден однажды рассказала мне, что в детстве ей позволяли использовать хибару как игрушечный домик и что именно поэтому у нее не такой уж заброшенный вид. Рваные остатки полосатых хлопчатобумажных занавесок на окне, коврик на полу, старый раскладной стол, два парусиновых шезлонга. Педантичная Вера время от времени делала тут уборку. Тем летом и осенью в этой хибаре мы с Энн снова и снова короновали Марию Стюарт, выдавали замуж, предавали ее и обезглавливали. Однажды вечером, пять лет спустя, я увидела, как здесь разыгрывается странное действие, но ребенком, конечно, столь отдаленного события предвидеть не могла.

Ночи я проводила в спальне Иден. Верная своему слову, она раздевалась и ложилась, не включая света, но лунные ночи были не очень темными, а порой я еще не спала, когда она укладывалась в постель, хоть и притворялась, что сплю. Даже в темноте Иден раздевалась с исключительной скромностью: сначала снимала платье или блузку, потом

надевала через голову ночную рубашку и только потом торопливо освобождалась от нижнего белья. Все ночные рубашки Иден были из тонкого розового или белого батиста, с расшитыми ею самой или Верой воротником и манжетами, а иногда и подолом. Нейлон в то время уже изобрели, но до нас он дойдет не скоро.

В темноте, а если точнее, в полутьме Иден садилась за туалетный столик и «очищала» лицо, следуя советам тогдашних (и, насколько мне известно, современных) женских журналов, потом наносила питательный крем. Волосы зачесывались наверх и скреплялись заколками, наподобие колбасок, а сверху повязывался розовый шифоновый шарф. Иден, как и мать Хелен, о чем та рассказала Стюарту, спала в белых хлопковых перчатках, чтобы сохранить красоту рук. Притворяясь спящей, вплоть до имитации громкого равномерного дыхания, я с восхищением — и, боюсь, с завистью — наблюдала за ежевечерней процедурой.

Конечно, в иные дни, особенно с наступлением осени, было слишком темно — для нее и для меня, — и все это проделывалось в ванной. Потом меня переселили в комнату Фрэнсиса, который вернулся в школу, завершив летние каникулы особенно жестокой выходкой, направленной против матери.

Это произошло вечером того дня, когда он пытался раз и навсегда покончить с правилами для правой и левой руки. Успеха Фрэнсис не добился, но, похоже, его слова потрясли Веру, и хотя она продолжала тыкать пальцем в наши руки и ставить нам тарелки с левой стороны, но делала это, как мне кажется, без прежнего энтузиазма.

Фрэнсис спросил, известно ли ей, что мусульмане всегда едят правой рукой, потому что левую используют для личной гигиены после дефекации. Тут я использовала эвфемизм, поскольку Фрэнсис выразился совсем не так. Он сказал матери, что они используют левую руку для «подтирки задницы после того, как посрут» и что именно поэтому исламский обычай отрубать правую руку вора еще более жесток, чем кажется. Жертва, скорее всего, умрет от голода.

Вера была шокирована. Она кричала, что ей плохо от его слов и ее тошнит от отвращения. Потом прибавила, что тут, слава Богу, нет никаких мусульман, и почему он считает, что нам интересны их мерзкие обычаи?

— Хочу показать, что бывает, когда людей заставляют подчиняться таким строгим правилам, — сказал Фрэнсис, и тут он был прав, причем во многих отношениях.

По мере того как сгущались сумерки, Фрэнсисом, похоже, овладевало мрачное настроение. Он становился все более рассеянным и молчаливым,

и, хотя это был «желтый» день — следуя его указаниям, Вера с вызывающим видом подала ему на ленч гороховую кашу и омлет, — за чаем Фрэнсис забыл, что нужно есть только бисквит «мадера» и ватрушки с лимонным кремом, и потянулся за ломтиком финикового хлеба, но вовремя спохватился. Потом встал и, ни слова не говоря, вышел из-за стола.

Вечером Вера, как обычно потерявшая Фрэнсиса и расстилавшая ему постель, нашла под подушкой предсмертную записку. Она отвернула стеганое покрывало, несколько часов назад собственноручно заправленное под подушку, а затем разглаженное над подушкой и под изголовьем, — и обнаружила конверт, слегка нарушивший наведенный порядок, так что на грубой ткани покрывала образовалась складка, которую Вера сразу же заметила, когда вошла в комнату. «Маме» — так было написано на конверте розовато-лиловыми чернилами, к которым в то время питала пристрастие Иден. (Фрэнсис был очень *колоритным*, и в моих воспоминаниях он всегда ассоциируется с красками: лиловые чернила, «желтые» дни, превращение синих цветов в зеленые.) В записке Фрэнсис сообщал, что очень несчастен и решил со всем этим покончить.

Вера ему поверила. Я, естественно, тоже — была так ошеломлена и напугана, что у меня не возникло сомнений. И Иден, похоже, поверила; в любом случае, именно она посоветовала Вере обратиться в полицию. Приехал деревенский констебль на велосипеде, а потом полицейский на автомобиле. Вера поднялась наверх, чтобы показать им записку, но конверт исчез; разумеется, прятавшийся в доме Фрэнсис выкрал и уничтожил его. Когда суматоха достигла пика — в доме трое полицейских и жена приходского священника, которую вызвали потому, что она имела какое-то отношение к Союзу матерей, Вера плачет, Иден беспокойно расхаживает по комнате, — появился Фрэнсис и невозмутимо спросил, из-за чего весь этот шум. Он отрицал, что писал записку, отрицал само ее существование, и в результате все начали сомневаться в словах Веры. Никто этого не показывал, но Иден точно сомневалась, поскольку проявила удивительную осторожность, не подтверждая, что тоже читала записку, и открыто не принимая сторону Веры, а предпочитая изображать из себя сиделку, уверенную и вселяющую спокойствие, убеждавшую полицейских и миссис Моррелл, что позаботится о Вере, что с ней все будет в порядке, что она просто переволновалась и скоро ей станет лучше. Было очевидно: полицейские считают Веру истеричкой и думают, что приезжали напрасно. Но Фрэнсис получил то, что хотел, и отправился спать, довольный успехом своего последнего розыгрыша.

Однако той осенью в Грейт-Синдон кое-кто действительно покончил

жизнь самоубийством. Я часто задавала себе вопрос, насколько сильно повлияла эта смерть на то, что случилось потом. Другими словами, каков ее вклад в события, которые привели к убийству.

Приходским священником в Грейт-Синдон был Ричард Моррелл. Я назвала его викарием, за что получила суровый выговор от Веры и рекомендацию не говорить глупости, однако в своем невежестве считала всех священников англиканской церкви викариями, предполагая, что это обобщенное понятие, например как «мясник». Вера ходила в церковь почти каждое воскресенье, обычно к вечерне. По какой-то причине, так и оставшейся для меня загадкой, отец не захотел, чтобы я проходила обряд конфирмации. Думаю, он либо вообще утратил веру, либо перестал доверять официальной религии. В то время я жалела, что пропускаю такую важную часть в своем образовании. На пианино в гостиной «Лорел Коттедж» стояла фотография в рамке, вызывавшая мое восхищение, — Иден в белом конфирмационном платье, с волосами, скрытыми под вуалью. Лишенная возможности, и даже надежды, вступить в этот круг избранных, я иногда ходила в церковь вместе с Верой, особенно в те дни, когда к ней присоединялась Иден. Прогулка по деревенской улице с двумя тетками, каждая из которых держала в руках молитвенник — я не могла понять зачем, потому что перед всеми сиденьями церковной скамьи лежали свои экземпляры, — помогала мне почувствовать «принадлежность», к которой я так стремилась. После службы мы все пожимали руку мистеру Морреллу, крупному, грузному мужчине неопрятного вида, о котором говорили, что он держит просвиры в кармане своего стихаря, не заворачивая в бумагу. Священник приходился двоюродным братом важному человеку, который был ректором Баллиола.<sup>[29]</sup> Я назвала его директором Баллиола, поскольку думала, что ослышалась, и если он руководит колледжем, то его должность именуется «директор», — ошибка, за которую я опять получила выговор от Веры.

У Морреллов была служанка по имени Элси. В те времена люди еще держали прислугу, жившую в доме, хотя совсем скоро все ушли работать на фабрики по выпуску амуниции или завербовались в Женскую земледельческую армию.<sup>[30]</sup> Жилище приходского священника в Грейт-Синдон представляло собой громадный дом с восемью спальнями, очень старомодный. Элси, шестнадцатилетняя дочь сельскохозяйственного рабочего, жившего в деревне в трех милях от нас, выполняла всю домашнюю работу — миссис Моррелл лишь вытирала пыль, гладила белье и, разумеется, готовила. Я знала Элси в лицо. Мы с Энн, возвращаясь из

школы, иногда встречали ее, когда после обеда она шла навестить мать, но ни разу не разговаривали с ней. Противные маленькие снобы. Конечно, мы не претендовали на принадлежность к аристократии, как миссис Делисс из монастыря, но считали себя на несколько голов выше деревенских жителей. Более того, Элси не только происходила из семьи поденных рабочих, но и сама работала прислугой. Вера считала, что девушка должна называть меня «мисс», а ее саму — «мадам». Это была коренастая, румяная девушка, с розовой кожей, которая всегда выглядела обветренной, и яркими золотисторыжими волосами — я не сомневалась, что цвет естественный. Миссис Моррелл иногда заглядывала в «Лорел Коттедж» и в разговорах с Верой жаловалась на Элси, называя ее ленивой и неряшливой. Думаю, они с удовольствием обсуждали, как они сами выражались, «проблему слуг».

— Вам так повезло, что не приходится с ними мириться, — говорила миссис Моррелл. — Чего бы я только не отдала за дом такого размера, как ваш. — На самом деле она лукавила. Втайне миссис Моррелл — бывшей учительнице без педагогического образования в частной школе в Ипсвиче, как рассказала мне Энн, — очень нравилось жить в георгианском доме, превосходящем по размерам монастырь Грейт-Синдон.

Один или два раза я приходила в дом священника вместе с Верой и видела Элси — с метлой в руках или стоящей на четвереньках и отскребающей каменный пол. Вера всегда заговаривала с ней, так что бедной девушке приходилось вставать и напускать на себя почтительный вид.

— Надеюсь, с матерью и отцом все в порядке, Элси.

— Да, спасибо, мадам.

Насколько мне известно, Вера в глаза не видела родителей Элси. И конечно, никто из нас не знал ее фамилии, пока она не всплыла во время следствия.

Однажды после обеда Элси пропала. Когда девушка не вернулась вечером и не появилась утром, миссис Моррелл послала к ее родителям, чтобы выяснить, что случилось. Под словом «послала» я имею в виду, что она попросила мальчика, который приходил раз в неделю стричь траву и убирать листья, съездить туда на велосипеде. Дома Элси тоже не было, а к концу того же дня фермер нашел ее тело в колодце.

Насколько я знаю, настоящих колодцев, из которых люди набирают воду, больше не существует, но в те времена они еще попадались. В большинстве коттеджей и жилых домов на фермах не имели ни водопровода, ни электричества. Природного газа в Грейт-Синдон никогда не было — его нет и по сей день. Тот колодец питался от источника

ключевой воды, и в нем плавали водоросли, выглядевшие чистыми и похожие на пряди зеленых волос. Какое-то время спустя, когда колодец осушили и почистили, мы с Энн приходили взглянуть на него. Не больше трех футов в диаметре, но по слухам очень глубокий — вне всякого сомнения, слухи сильно преувеличивали его реальную глубину, — с бортиком по краю, сложенным из маленьких старых кирпичей. Каждый раз, возвращаясь домой этой дорогой, Элси проходила мимо фермы с колодцем, а в ноябре, когда опадали листья зеленой изгороди, его было видно с дороги. Именно Энн первой рассказала мне, что случилось.

— Просто ужас — Элси из дома приходского священника покончила с собой. Она утопилась. Мне мама сказала. Предупредила, чтобы я не болтала, но к тебе это не относится. Я имею в виду, она знает, что я тебе расскажу.

Я была шокирована и испытывала какой-то благоговейный ужас. Мы ждали школьный автобус. Утро выдалось холодным; дул ветер, и в воздухе кружились опавшие листья. Мне еще не приходилось бывать в таком месте, где листопад был настолько заметен — центр деревни утопал в зелени огромных каштанов, платанов, сикомор и буков. Все они дружно сбрасывали листву, и им помогал сильный ветер — с тех пор опадающие с деревьев осенние листья напоминают мне об Элси и ее смерти в воде.

Я спросила Энн почему. Почему она это сделала? Шестнадцатилетние не ровня двенадцатилетним, однако они все же не взрослые, как скажем, двадцатилетние, которые казались нам стариками. Неужели в шестнадцать лет кто-то хочет умереть?

— Мама сказала, что догадывается. Я слышала, как она говорила папе, что, наверное, знает причину, но, когда я спросила, она мне не ответила.

— Знаешь, мне ничего не приходит в голову. А тебе?

— Разве что ей очень не нравилось работать у старой миссис Моррелл, — сказала Энн. — Но в таком случае мне не понятно, почему она не уволилась и не поступила на фабрику.

О смерти Элси в «Лорел Коттедж» ничего не говорили. *Ни слова.* Даже с условием ни с кем не обсуждать эту тему, как поступила мать Энн. Скрытность была важной составляющей семейной культуры Лонгли, даже когда для этого не существовало реальных причин. Информацию не передавали, новостей не сообщали. Считалось, что ты или уже знаешь, или не желаешь знать. Мне часто казалось, что Вера и Иден заводят секреты просто ради самих секретов, чтобы получать удовольствие от приглушенного голоса, взгляда украдкой и перешептывания с прикрытым ладонью ртом. Наверное, после смерти Элси в доме шептались больше, чем

обычно, и чаще закрывали дверь у меня перед носом со словами: «Минутку, Фейт». Совершенно очевидно, что не зная они не могли — либо им рассказала миссис Моррелл, либо они прочли о происшествии в местной газете. Кроме того, вся деревня была взбудоражена. Смерть Элси стала самой обсуждаемой новостью, вытеснив случайную бомбу — последнюю из сброшенных подбитым «Дорнье»,<sup>[31]</sup> — которая упала в поле около Бьюреса и убила корову. Вера с Иден знали; также им были известны результаты следствия, выявившего причину самоубийства Элси. И снова мне об этом рассказала Энн — правда, она так и не выяснила, верной ли оказалась догадка ее матери. Зимой мы очень много обсуждали Элси, путаясь в бесконечных «почему» и «зачем», пытаюсь понять душевное состояние девушки.

Тем временем немецкая авиация разрушала Лондон. И не только Лондон — Ковентри, Бристоль, Бирмингем. В Сити бушевали сильнейшие пожары, а от ночных налетов почти не было защиты. Страх вторжения, очевидно, все еще не ослабевал. О романах Джейн Остин говорят, что в них дается удивительно точная картина общественной жизни того времени, но в то же время писательница предпочла полностью проигнорировать войну, которую Британия вела на протяжении почти всей ее жизни, ни разу не упомянув о Трафальгарском сражении или битве при Ватерлоо. Мы с Энн могли это понять. Война нас не коснулась. Мы ею не интересовались, и она никак не влияла на нашу жизнь, далекая и неслышная. При желании о войне можно было ничего не знать, если не заходить в комнату с радиоприемником. Торпедирование итальянских судов британской авиацией в заливе Таранто, ситуация в Восточной Африке, немецкое вторжение в Румынию — все это бледнело перед притягательностью истории о помолвке и печальном конце Элси.

Сегодня это может показаться странным, но тогда, в двенадцатилетнем возрасте, я *не знала* ни одной незамужней женщины с ребенком. Брак считался необходимым условием для появления малыша. Мы с Энн хоть и были озадачены чувствами, которые присутствовали в этой истории, но прекрасно понимали, какой это позор в Англии 1940 года, когда одинокая девушка рождает ребенка.

— Она не могла иметь ребенка, правда? — сказала Энн. — Ты же понимаешь.

Я понимала. Что бы она с ним делала? Невозможно было представить незамужнюю Элси, толкающую перед собой коляску по улице деревни. Вне всякого сомнения, мистер Моррелл отказался бы крестить младенца или был бы вынужден совершить обряд втайне.

— Зачем она это сделала? — спросила я.

Под «этим» я имела в виду половые отношения, которые привели к беременности. Энни не могла объяснить. Фактическую сторону секса мы представляли более или менее точно, но ничего не знали о чувствах и почти не догадывались, что они тут тоже присутствуют. Мы считали, что сексом начинают заниматься из любопытства, чтобы понять, что это такое. Личность партнера казалась нам неважной, и мы ничего не знали о существовании желаний. Поэтому поведение Элси ставило нас в тупик: мы понимали, что человек может желать «этого» — и даже признались друг другу, что хотели бы по крайней мере раз в жизни попробовать «это», — но для нас оставалось загадкой, как можно предпринимать такой ответственный шаг без должной подготовки и мер, предотвращающих зачатие.

Колодцем больше никогда не пользовались. Не знаю, откуда фермер брал питьевую воду, но в 1941 году подключиться к водопроводу было невозможно. Наверное, где-то поблизости имелся насос. Мы с Энн протискивались сквозь живую изгородь и забирались на территорию фермы, чтобы заглянуть в глубокую зеленую дыру. Стыдно признаться, но на некоторое время игра в Элси вытеснила игру в Марию Стюарт, и мы представляли, как Элси идет по дороге, видит колодец и прыгает в него. Эту сцену мы разыгрывали в саду Энн, и роль колодца исполняла яма, некогда служившая погребом.

Дождливым утром на собрании в школе, когда обычно поют «Летнее солнце сияет», этот гимн заменили более подходящим, изъяв из нашего репертуара куплет, который нам так нравился. Хотя в январе 1941 года строки:

Лондон в огне, Лондон в огне.  
Вызывайте пожарных, вызывайте пожарных.  
Пожар, пожар. Пожар, пожар.  
Лейте воду, лейте воду... —

выглядели бы дурным вкусом.

Я уезжала домой только на Рождество и вернулась в «Лорел Коттедж» к началу нового семестра. В нашем пригороде после отбоя воздушной тревоги дети выбегали на улицы и собирали осколки зенитных снарядов. У меня была превосходная коллекция, которую я продемонстрировала Энн. На Рождество в отпуск приехал мой дядя Джеральд, Фрэнсису исполнилось

четырнадцать, а Иден, к всеобщему изумлению, объявила о намерении записаться в женскую вспомогательную службу военно-морских сил. Вера более или менее примирилась с этим и к моему возвращению уже излучала оптимизм. Или делала вид.

— Разумеется, это лучшая из женских вспомогательных служб, — заявила она. — Всем известно, что хуже всего транспортная служба, затем идет женская вспомогательная служба ВВС, а лучше всего на флоте. Иден не будет заниматься физическим трудом, об этом не может быть и речи.

Но ей придется уехать из «Лорел Коттедж», подумала я.

— Форма у них очень милая. Похожа на элегантный темно-синий костюм. И такая очаровательная шляпка.

Слеза скатилась по щеке Веры и упала на журнал, который она держала в руках, прямо на фотографию девушки в форме вспомогательной службы военно-морских сил. Верины слезы смутили меня. А когда она схватила меня за руку, я была потрясена и немного испугана. Пробормотала, что все будет в порядке, что война скоро закончится. Как бы то ни было, я соприкоснулась с горем взрослого человека и на мгновение почувствовала, каким оно может быть глубоким и бесконечно разнообразным. Вера отпустила мою руку, вытерла глаза и энергично потребовала не рассказывать отцу о ее «срыве» — не говоря уже о самой Иден.

До моего отъезда в Лондон, летом, домой в отпуск приезжал дядя Джеральд — перед погрузкой на корабль. Почти никто не сомневался, что его полк направляют в Северную Африку. Возможно, страдания Веры были не менее глубокими, чем из-за Иден, или даже глубже, но если она и страдала, то к тому времени научилась полностью скрывать свое горе. Джеральд уехал ранним субботним утром в один из ясных июньских дней. После его отъезда Вера сняла все занавески в спальне и постирала в кухонной раковине.

*Канголен-Гарденс, 24а  
Ноттинг-Хилл-Гейт,  
Лондон W11  
12 марта*

*Дорогая Фейт!*

*Рада получить от вас письмо, хотя предпочла бы, чтобы оно было о чем-то другом. Не знаю, зачем вам это нужно, но я только в семнадцать лет узнала, кем*

была моя бабушка, причем от одноклассницы. Думаю, в моем сознании образовалось нечто вроде блока в отношении всего, что связано с бабушкой. Я избегала этой темы, не могла даже думать о ней, и, хотя мне известно, что это вредно, я ничего не могу с собой поделать, сколько ни пыталась.

Мне написал Дэниел Стюарт, и я ответила ему, подтвердив, что это абсолютная правда: о Вере Хильярд я знаю не больше, чем все остальные. Возможно, меньше, поскольку никогда не читала репортажи о судебных заседаниях и т. п. Кажется, он думает, что моя фамилия Хильярд — она указана на конверте. Вскрыть письмо меня побудило что-то вроде шестого чувства — от этой фамилии у меня всегда волосы встают дыбом, — и следующие несколько недель я представляла, как все соседи догадаются, что Элизабет Хиллз — внучка Веры Хильярд. Разумеется, это было глупо, поскольку они слишком молоды и не могли слышать о ней, но вы понимаете, как я себя чувствовала.

Я никогда не слышала об этой тайне. Имя Кэтлин Марч мне ни о чем не говорит, и Джайлзу тоже, я уверена. Что касается меня, то я не возражаю, чтобы вы рассказали все Стюарту, который охотится за всякой грязью, как и другие подобные люди. Я не собираюсь читать его книгу, и поэтому мне все равно. Меня интересует только одно — он не должен упоминать моего имени и намекать, кто я и где живу.

Мама передает вам привет и просит как-нибудь позвонить. Она говорит, что с удовольствием встретилась бы с вами. Прошу прощения, если это письмо получилось не очень приветливым, но вы должны понять, что я чувствую.

С уважением,

Элизабет

Блайт-плейс, 6  
Лондон W14

12 марта

*Дорогая Фейт Северн!*

*Боюсь, я не могу вспомнить, встречались ли мы. Дэниел Стюарт писал мне, но я не ответил. Что касается меня, то единственные мои родственники — моя мать и Элизабет, и я хочу, чтобы так оставалось и впредь. Я не желаю знать других родственников, живых и мертвых; это относится и к отцу. Простите, если это звучит грубо.*

*С уважением,*

*Джайлз Хиллз*

*Виа Орти Орчелари, 90*

*Флоренция*

*20 марта*

*Дорогая Фейт!*

*Как вы можете видеть из адреса, я переехал. Заглянул на старую квартиру, а они сохранили для меня ваше письмо. Если весной приедете во Флоренцию, не забудьте, что у нас свидание и я должен вам что-нибудь приготовить. Я доволен собой, поскольку недавно вышла моя первая книга. Для Фрэнсиса это ерунда, поскольку он теперь умудренный опытом автор, за поясом у которого полдюжины книг. Моя тоже имеет отношение к тому, что за поясом; другими словами, это поваренная книга, «Cucina Ven Riuscita» (Mondadori, L20,000).*

*Нет, я никогда не слышал о семейной тайне. Не забывайте, что мне было шесть лет, когда это случилось. Пирмейн со мной не откровенничал; он вообще со мной почти не разговаривал. Теперь я задаю себе вопрос, желаю ли знать обо всем этом или нет. Пожалуй, нет. Хотелось бы думать, что ничего более ужасного я уже не узнаю, но это слишком смелое заявление, чреватое неприятностями. Полагаю, речь идет о чем-то связанном с моей матерью, когда она*

*была молода, и поэтому склонен думать, что не стоит ничего рассказывать Стюарту. Я знаю журналистов, и в его изложении все будет еще хуже, чем на самом деле.*

*Вы можете рассказать все (и тайну тоже, если должны), когда приедете сюда. До встречи.*

*Всего наилучшего,*

*Джейми*

*Куинз-Гейт-Мьюз, 16*

*Лондон, SW7*

*31 марта*

*Дорогая миссис Северн!*

*Боюсь, я был толстокожим. Мне потребовалось много времени, чтобы понять, как невыносима для вас мысль рассказать мне историю о вашей тете и Кэтлин Марч. Но сам факт упоминания этого имени должен был вам показать, что я нашел его — причем не только нашел, а сделал кое-что еще.*

*Большинство фактов я почерпнул из подшивок газеты, где когда-то работал Чед Хемнер. Я специально не искал «тайну»; просто меня интересовали события, которые происходили в Мейленде, а впоследствии и в Грейт-Синдон, когда в тех местах жили ваши бабушка с дедушкой и их дети. Кроме того, еще жива миссис Адель Бэкон, хотя ей уже под девяносто. Живы также трое младших братьев и сестер Кэтлин. Я беседовал со всеми этими людьми и видел документы в полицейском архиве Эссекса как за 1922 год, когда это случилось, так и за 1979 год, когда был найден скелет ребенка.*

*Прилагаю рассказ о том, что произошло. Альберт Марч прочел его и назвал точным, насколько он может судить. Могу ли я побеспокоить вас и попросить ознакомиться с ним? В любом случае, вы будете довольны, что эту информацию я получил не от вас, но в то же время сможете исправить мои ошибки или неверную интерпретацию. Этот рассказ будет включен в третью главу книги, в которой я попытаюсь*

*проанализировать личность Веры Хильярд.  
Искренне ваш,*

*Дэниел Стюарт*

Весной 1916 года молодой солдат по имени Альберт Марч обручился с девушкой, в которую влюбился еще в школе. Ее звали Адель Джефсон, и им обоим было по восемнадцать. Через неделю после помолвки Альберт ушел на фронт и в июле 1917 года, во время наступления союзников, был тяжело ранен.

Альберту сказали, что он вряд ли сможет вести нормальную жизнь. В частности, с его стороны было бы неблагоразумно жениться. В гражданской жизни он работал сигнальщиком на Большой Восточной железной дороге в Колчестере и, по мнению врачей госпиталя, где его лечили от ранений в голову и грудь, никак не мог вернуться к прежней профессии. Однако Альберт был умным и целеустремленным человеком. Возможно, ему суждено до конца жизни страдать от одышки и головных болей, но это не помешает ему жениться на Адель и продолжить карьеру, решил он. Венчание состоялось в августе 1918 года в приходской церкви Грейт-Синдон, в число прихожан которой входила семья Джефсон.

Тогда же было построено ответвление от железнодорожной магистрали, соединяющей Лондон, Маркс-Тей и Садбери, и в миле от деревни Грейт-Синдон появилась станция под названием Синдон-Роуд. Альберт смог добиться, чтобы его назначили туда на сигнальный пост, и вместе с Адель поселился в домике на Белл-лейн, рядом с главной улицей Грейт-Синдон. Ряд домов, в котором их коттедж был последним, назывался Инкерманской террасой, в честь давней битвы в давней войне. Сегодня четыре коттеджа террасы превращены в галерею «Рингдоув» — магазин, где продают предметы декоративно-прикладного искусства, и дом его владельцев, Филиппа и Джой Ли.

Миссис Адель Бэкон, бывшая Марч, рассказывает:

*Вглядываясь в жизнь того времени, люди ожидают чего-то большего. У нас были две комнаты наверху и две внизу; освещался коттедж масляными лампами, а воду мы носили от насоса на деревянном лугу, как и другие обитатели коттеджей на нашей улице. Большого мы не желали и считали себя счастливыми. Конечно, в соседнем «Лорел Коттедж» были и свет, и водопровод,*

но его вряд ли можно назвать коттеджем — по моим понятиям, это большой дом. Когда мы с мужем поселились рядом, в «Лорел Коттедж» жили мистер и миссис Прайс. Потом мистер Прайс умер, и вдова продала дом семье Лонгли.

Мистер Лонгли был уже в летах. В то время я была очень молода, и мне он казался стариком. Жена у него была моложе, и у них были близнецы лет двенадцати, Джон и Вера. Вера была очень миловидной девочкой, светловолосой, с голубыми глазами. Позже с ней что-то случилось, и она сделалась очень худой, но когда Лонгли только переехали сюда, она была хорошенькой. Подарила мне свою фотографию — она подружка невесты на свадьбе своей единокровной сестры.

Вскоре после того, как они тут поселились, у меня родился первый ребенок. Девочку мы назвали Кэтлин Мэри. Мэри — в честь матери Альберта, а Кэтлин — потому, что мне нравилось это имя. Вера Лонгли была просто без ума от ребенка. Я почти не знала ее мать — она была немного высокомерной, осмелюсь сказать, считала себя лучше нас, — но Вера все время приходила к нам в дом, просила подержать малышку, искупать ее и все такое. Откровенно говоря, мне это немного льстило. Времена сильно изменились, и мир стал другим, но в те дни человек, который работал в страховой компании и жил в отдельном доме с электричеством, был на голову выше нас, даже сравнивать нечего. Мой отец был батраком на ферме — или сельскохозяйственным рабочим, как теперь говорят, а муж — сигнальщиком на железной дороге. И я действительно считала честью, что Вера приходит в мой дом, и старалась изо всех сил, чтобы привлечь ее и угодить ей.

Тем временем, меньше чем через год после появления на свет Кэтлин, миссис Марч родила второго ребенка, мальчика; сына крестили Альбертом, в честь отца, но все называли его Бerti. Роды были трудными, и после них Адель несколько месяцев болела. Поэтому помощь Веры стала еще более желанной, и выработался определенный распорядок. Во время долгих

летних каникул она каждый день возила Кэтлин гулять в старомодной детской коляске, в которой катали саму Адель, когда та была ребенком.

Мистер Альберт — Берти — Марч, который теперь живет в Клактоне и недавно ушел на пенсию из Английской водопроводной компании, рассказывает:

*Я был слишком мал, чтобы что-то помнить о том вечере. Кэтлин было чуть больше двух, а мне — всего пятнадцать месяцев. Моя мать никогда об этом не говорила. Ни слова, как будто у меня и не было старшей сестры — и, разумеется, я не помню Кэтлин. Только после того, как умер отчим и мать переехала к нам, она разоткровенничалась и один или два раза вспоминала о Кэтлин. О том, что девочка уже начинала говорить и какие у нее были кудрявые волосы — всякое такое.*

*Обо всем мне рассказал отец. Мне было четырнадцать, и я уже работал. Это случилось года за два до его смерти. Ему исполнилось всего тридцать пять, но в Первую мировую он был ранен, и это его подкосило. Отец страдал от жутких головных болей — последствия ранения в голову, полученного под Ипром. В тот день, когда мы потеряли Кэтлин, он рано вернулся домой, полуслепший от головной боли. Тогда, в 1921 году, не жаловали людей, которых заставляет уйти с работы головная боль. Смею вас заверить, что времена были другие. Во-первых, можно было лишиться зарплаты, а во-вторых, тебя не отвозили домой на машине и не говорили: «Можешь не приходить, Альберт, пока тебе не полегчает». Ничего такого. Но папа был вынужден бросить работу, потому что в таком состоянии представлял опасность для компании — он отвечал за жизни сотен людей. И конечно, ему пришлось идти домой пешком, хотя там было чуть больше мили, что в те времена не считалось.*

*Он возвращался домой переулками, а не по главной дороге. Перейти через речку можно было по броду, который мы называли «перекат», но для тех, кто передвигался пешком, там имелся деревянный мост. Проходя по мосту, отец увидел Веру Лонгли и еще одну*

*девочку, которые сидели на берегу реки, а в нескольких ярдах от них, под деревьями, стояла коляска. Они сидели спиной к коляске, которая располагалась на высокой, плоской площадке, тогда как девочки спустились к самой воде. Отец не связал коляску с собственным ребенком — ему не пришло в голову, что там может лежать его дочь. Вероятно, он был не в состоянии думать ни о чем, кроме головной боли.*

*Отец пробыл дома около часа; он лежал в кресле с мокрым полотенцем на голове, а мать занималась мной, когда появилась миссис Лонгли. Тогда она сама ждала ребенка, будущую Иден. Миссис Лонгли сообщила матери, что Кэтлин пропала, исчезла из коляски. Мама всегда возмущалась, что Вера не пришла сама, а прислала свою мать...*

Кэтлин Марч больше никто не видел. Поисками занялась полиция и жители деревни. На помощь призвали местного фермера с его знаменитой ищейкой. В составе поисковой партии были Артур Лонгли с сыном. Ночь выдалась ясной и лунной, и пятьдесят мужчин не прекращали поисков до самого рассвета.

Что Вера Лонгли сказала полиции? Протоколов допроса или беседы с ней — если таковые были проведены — не сохранилось. Тут нам опять приходится полагаться на семью Марч, вернее, на миссис Бэкон, учитывая, что в то время Альберту Марчу еще не исполнилось двух лет.

*Вера не хотела меня видеть, и ее мать тоже была против. Она сказала, что пользы от этого не будет. Но я настаивала. Разве не мой ребенок пропал, не моя дочь? Если она не придет, я сама пойду к ней, сказала я. И пошла. Я отправилась в «Лорел Коттедж» и увидела Веру. Миссис Лонгли говорила, что она в ужасном состоянии, плачет и рыдает; но когда я ее увидела, Вера не плакала. Однако была очень бледной и выглядела испуганной.*

*Мой муж сказал, что видел Веру с подругой, сидевших на берегу реки. Вера подтвердила: да, действительно, она встретила школьную подругу, Мейвис Воган, и они вместе пошли к броду. Кэтлин*

заснула. Девочки оставили коляску на высоком берегу, а сами спустились к воде. Вера клялась, что не отрывала взгляда от коляски больше чем на пять минут, но я знала, что это неправда. Она сказала, что Мейвис сидела с ней примерно полчаса, а потом пошла домой по берегу реки. Вера утверждала, что следила за коляской, чтобы не пропустить, когда та пошевелится — вы понимаете. Если коляска начнет раскачиваться, значит, Кэтлин проснулась. Разумеется, коляска оставалась неподвижной, потому что в ней уже никого не было. Кто-то незаметно подошел к ней и унес Кэтлин. Так она сказала. Я не знала, можно ли ей верить, но что мне было делать?

Мейвис Воган, впоследствии миссис Броутон, умерла в 1978 году в возрасте семидесяти одного года, но та история хорошо известна ее дочери, миссис Джудит Джонс, которая живет в соседнем Сиссингтоне.

*Все события, связанные с исчезновением малышки Марч, очень расстраивали маму. Даже в свете того, что случилось потом — я имею в виду убийство, — она не сомневалась, что Вера Хильярд была ни при чем. Вера любила детей. Я бы сказала, что обстоятельства убийства это подтверждают. Она любила Кэтлин Марч точно так же, как потом любила свою маленькую сестру. Моя мама говорила, что появление на свет Эдит Лонгли сохранило разум Веры, она в этом нисколько не сомневалась. Как бы то ни было, после ее рождения Вера несколько месяцев болела.*

*Ходили разные слухи, чем занимались моя мать и Вера, когда украли Кэтлин. Предполагали, что они пришли на речку, чтобы встретиться с мальчиками, — вы можете себе представить подобные инсинуации? Все это глупости. Они сидели и болтали, и больше ничего, в пределах слышимости от коляски, в десяти ярдах от нее. Мама шла за покупками в магазин Грейт-Синдон — они жили на отшибе, в Коул-Фен, — когда встретила Веру. Она говорила, что тысячу раз пожалела, что не прошла мимо коляски по дороге, —*

*тогда бы она точно знала, лежит ли Кэтлин в коляске или нет. Мама этого не сделала. Вскрабкалась на берег и направилась к пешеходному мосту. Причем намеренно, чтобы не беспокоить Кэтлин. Какая ирония, правда?*

*Разумеется, позже, после убийства, люди, помнившие историю с Кэтлин Марч, начали утверждать, что ее убила Вера. Они говорили, что Кэтлин плакала, и Вера вышла из себя. Известно, что у Веры был вспыльчивый характер, о чем говорила даже моя мама. Но мама никогда в это не верила, даже после того, как Веру повесили...*

Осенью 1979 года мистер Джордж Тревис, которому принадлежали 600 акров сельскохозяйственных земель между Эссингтоном и Коул-Фен, нанял рабочего по имени Питер Сомерс, чтобы выкопать живую изгородь. На третий день выкорчевывания живой изгороди при помощи экскаватора мистер Сомерс обнаружил на глубине шести или восьми футов бочку для нефтепродуктов восемнадцати дюймов высотой и девяти дюймов в диаметре; ее горлышко было грубо залеплено пробкой из желтой глины, прожилки которой встречаются в светлой сыпучей почве этих мест.

Сначала мистер Сомерс и мистер Тревис подумали, что в бочке могут находиться ценные артефакты, к которым в последнее время проявляют интерес археологи, или даже драгоценности, украденные из Коул-Холл при ограблении, которое случилось десять лет назад и стало местной легендой. Среди похищенного — его так и не нашли — была нить жемчуга стоимостью 10 тысяч фунтов. Однако внутри бочки обнаружилась кучка порыжевших костей и обрывки ткани. находку отнесли в полицию.

Кости были человеческими. Проведенная экспертиза показала, что они принадлежали двухлетней девочке, умершей не меньше пятидесяти лет назад. Судебно-медицинская наука совершила настоящее чудо, но на этом дело и закончилось. Происхождение бочки выяснить не удалось. Если на теле девочки и были следы насилия, то полувековое разложение их уничтожило. Клочки ткани, найденные среди костей, оказались шерстью — а у пропавшей Кэтлин Марч под хлопковым платьем был надет шерстяной жилет, а поверх платья шерстяная курточка.

Была ли это Кэтлин? Действительно, живая изгородь в Коул-Фен находится на расстоянии не более полумили от брода, где последний раз видели Кэтлин, лежавшую в коляске. Мы помним также, что именно там жила Мейвис Броутон, в девичестве Воган, не слишком далеко от Грейт-

Синдон, так что мать отправляла ее с поручениями в деревню. С другой стороны, полицейские архивы свидетельствуют, что за двадцатилетний период с 1920 по 1940 год в Эссексе, в районе Грейт-Синдон, Коул-Фен и Сиссингтона пропали как минимум пять девочек младше трех лет. Удалось найти лишь тело самой старшей, трехлетней малышки из Сиссингтона.

Маловероятно, что когда-нибудь мы узнаем правду. Но если преступление совершила Вера Лонгли, то для этого не было никаких видимых мотивов или причин. Тут вряд ли имела место ревность из-за внимания, которое уделялось ребенку, поскольку Вере достаточно было придумать какой-нибудь предлог для Адель Марч, чтобы больше никогда не видеть Кэтлин. Скорее она убила бы собственную маленькую сестру, а не двухлетнюю дочь соседки — по крайней мере, в этом случае *действительно* имелись бы основания думать о ревности. Причина и мотив играли такую важную роль в следующем преступлении, что попытки представить Веру Хильярд безрассудной психопаткой, чему в любом случае нет никаких свидетельств, никак не приблизят нас к поставленной цели — понять, какой была Вера.

В следующем году, в год рождения Эдит Лонгли, семейство Марч переехало из Грейт-Синдон в освободившийся домик сигнальщика в Синдон-Роуд.

Я ответила Джейми, сообщив, что буду во Флоренции в мае. Упоминание о написанной им книге заставило меня кое о чем вспомнить. Когда мне было двенадцать, умерла тетка моей матери, оставив мне в наследство поваренную книгу. Разумеется, тетка не состояла в родстве с Джейми, а относилась к другой ветви моей семьи — это была сестра английской матери моей мамы. Много лет тому назад она работала поваром в Вудфорт-Грин,<sup>[32]</sup> в большом доме под названием «Литтон Лодж» — то есть *настоящим* поваром, важной персоной, которая командовала судомойками и художником, придумывавшим банкеты. Я помню ее как красивую старую даму, очень религиозную, почти полностью глухую, самым главным событием в жизни которой был ужин, где присутствовал принц Уэльский, будущий король Эдуард VIII.

Она умерла в маленькой комнатке, которую снимала в Севен-Кингс,<sup>[33]</sup> и все вещи из этой каморки — другого имущества у нее не было — достались маме, ее единственной родственнице. Среди них был Новый Завет с отмеченными красным карандашом абзацами, пара складных ножниц, которые обычно висели у нее на поясе вместе с ключами, множество фотографий в рамках, где были запечатлены незнакомые маме люди, несколько уродливых старомодных украшений, бомбазиновые<sup>[34]</sup> платья и белые батистовые фартуки, которые сегодня стоили бы целое состояние, сохрани мы их, а также поваренная книга. Подозреваю, что строго говоря, книгу тетка завещала матери, но та отдала ее мне.

Она называлась «Поваренная книга миссис Маршалл» и вышла в 1884 году. В отличие от «Cucina Ven Riuscita», которую, как мне кажется, Джейми написал для честолюбивых домохозяек, труд миссис Маршалл, руководившей кулинарными курсами, предназначался для поваров, которым предстояло приготовить ужин из дюжины блюд на две дюжины персон. Я часто читала ее во время войны, когда нехватка продуктов ощущалась острее всего. Обычно это занятие сопровождалось поглощением сэндвичей с серым хлебом, маргарином и восстановленным яйцом. В Синдоне я иногда читала ее на берегу реки напротив брода; в то время я еще не знала, что именно тут сидела Вера, когда пропала Кэтлин Марч.

Миссис Маршалл приводила меню торжественного ужина на 400–500 персон, включавшего три горячих блюда, консоме, бараньи котлеты,

перепелов и не менее тридцати холодных блюд, в том числе еще перепела и десерт под названием «Сиамские близнецы» — двойное заварное пирожное с зеленой глазурью и кремом, который подкрашивался кармином и ароматизировался ромом. В книге также было меню для *dejeuner maigre*, что, вероятно, означает легкий завтрак, но я перевела это название как «скудный обед»; за названием следовало то, что миссис Маршалл и моя двоюродная бабка, вне всякого сомнения, считали нормальным обедом — шесть блюд, не считая ванильного суфле с ананасом, торта «Меттерних» и фондю с пармезаном.

Вера обиделась. Она воспринимала чтение труда миссис Маршалл как отражение ее собственных стараний на ниве кулинарии, что соответствовало действительности, хотя я с жаром заявляла, что ее вины тут не было. Разумеется, в таких обстоятельствах штудирование поваренной книги выглядело странно, я это понимала, а Вера не любила людей, и особенно родственников, которые совершали странные поступки. От вас ждали соответствия норме, однако в пределах установленных границ следовало достигать совершенства или, по меньшей мере, превосходить стандарт. Вера была снобом и заявляла, что понятия не имела о том, что «предки» моей матери состояли в услужении.

— Надеюсь, ты не будешь рассказывать, откуда она взялась, — сказала Вера, когда я впервые объяснила ей происхождение книги. — Я имею в виду, в присутствии людей, которые к нам приходят. Например, Морреллов.

Я уже знала почему. Кузен Ричарда Моррелла был ректором Баллиола. А на его генеалогическом древе присутствовала дочь графа, связанная с ним запутанными узами родства — через двоюродных братьев и сестер, несколько поколений и многочисленные браки.

— Что я должна ответить, если они спросят?

— Разве нельзя сказать, что не знаешь? Можешь ответить, что нашла дома на книжной полке.

— То есть она должна солгать? — спросил Фрэнсис.

— Конечно, нет. Ты всегда искажаешь мои слова. В любом случае это правда. Книга стояла на полке у нее дома, прежде чем Фейт привезла ее сюда.

— Эти старые законники были очень хорошими психологами, — заметил Фрэнсис. — Они имели в виду таких людей, как ты, когда формулировали клятву. Клянись говорить правду, только правду и ничего, кроме правды. Они все знали о недомолвках и передергиваниях.

Интересно, вспоминала ли Вера этот разговор, когда стояла в Центральном уголовном суде и произносила клятву? Вероятно, нет — ей и

без того было о чем подумать. Я ни разу не солгала насчет поваренной книги. Если кто-то из посторонних заставлял меня за чтением, я поспешно уносила книгу к себе в комнату. Теперь, когда Иден уехала — мы все догадались, что в Портсмут, хотя официально не должны были знать, — комната принадлежала только мне.

Я провела в Синдоне долгие летние каникулы; на Пасху родители, привыкнув к воздушным налетам, забрали меня домой, и я осталась в Лондоне, вернувшись в прежнюю школу, к прежним друзьям. Я больше никогда не «жила» в «Лорел Коттедж», а только приезжала на каникулы, с нетерпением ожидая встречи с Энн. Вера в письмах тоже просила меня приехать. Я была удивлена и безмерно благодарна. Интересно, почему мы все равно жаждем любви тех, кто никогда не был с нами добр или мил, и каждая крошка внимания, которой они позволяют упасть, воспринимается нами как щедрость? Я не любила Веру, не восхищалась ею, была уверена, что она, в свою очередь, никогда не любила меня, но тем не менее бурно радовалась ее приглашению. Значит, скоро она разрешит мне ложиться в десять и откроет правду, скрывавшуюся за многочисленными недомолвками!

— Иден уехала, — сказала моя мать, — и Вере нужна маленькая девочка, чтобы превратить ее в настоящую женщину Лонгли. Не столько *Kinder, Kuche, Kirche*<sup>[35]</sup>, сколько *Kauf, Klatsch, Kettelnadel*.

В те дни у нас всех появилась привычка цитировать самые избитые выражения Гитлера. Но только мать, будучи швейцаркой и зная немецкий — что в военные годы она скрывала от посторонних, — могла шутить по их поводу. Мать смеялась, а у отца был озадаченный вид. Я посмотрела значение этих слов в немецком словаре и обнаружила, что они означают «покупки, сплетни и иголка для вышивания».

Зачем я была нужна Вере? Конечно, меня ждали связанные крючком квадраты, неровные и уже не очень чистые. И комната Иден, как всегда невинная, с висевшим на стене изображением Питера Пэна в Кенсингтонском саду — он стоял на каком-то странном муравейнике и все так же разговаривал с дикими животными. Белые кружевные салфетки по-прежнему лежали на туалетном столике, но щетка для волос исчезла — вместе с очищающей жидкостью, тональным и питательным кремом. Кровать Иден не была застелена, даже для видимости, что весьма необычно для «Лорел Коттедж», но на матрасе лежала стопка из покрывала, одеяла и подушек в простых белых наволочках — вероятно, специально на тот случай, если у меня вдруг возникнет мысль лечь сюда, а не на свою кровать. В первый вечер, пока Фрэнсис отсутствовал,

проделывая свой обычный трюк, а Вера, неспособная учиться на собственном опыте, бегала по саду и звала его, я поддавалась искушению и обследовала все ящики туалетного столика Иден. Конечно, это неприлично, это подглядывание и злоупотребление гостеприимством — я была достаточно взрослой и все понимала. Но дело в том, что мне до смерти надоело вязание крючком, спать в восемь часов еще не хотелось, а на улице было совсем светло.

Ящики оказались доверху наполненными косметикой. Эти предметы свидетельствовали не только об огромных деньгах, но также о времени, проведенном Иден в очередях, и об усилиях, потраченных на уговоры, лесть и подкуп владельцев магазинов, чтобы они придержали для нее товар «под прилавком». Тут было очень мало средств, которыми пользуются современные девушки. Ничего для волос и глаз, почти ничего для тела. Запах из открытых ящиков, которые я жадно рассматривала и нюхала, представлял собой смесь ароматов талька, розовой воды, лимона и ацетона. Там лежали десятки тюбиков губной помады — в буквальном смысле десятки, потому что я однажды вечером их пересчитала, насчитав сто двадцать одну штуку. Все мыслимые оттенки красного цвета и одна оранжевая помада, которая становилась красной, когда ее наносишь на губы. Я знала это, потому что попробовала. В течение следующих недель я перепробовала все — тональные и питательные кремы, вещество с потрясающим запахом и загадочным названием «мерколизированный воск»,<sup>[36]</sup> крем «Симон», румяна «Вечер в Париже». Представления сороковых годов о роли женщины и о том, чем должна быть наполнена ее жизнь, отражались в количестве средств для рук и ногтей. Сегодня набор девичьей косметики состоит в основном из шампуней и кондиционеров, лосьонов для тела и дезодорантов. Отважно опередив свое время, Иден приобрела один дезодорант, красную жидкость в маленькой бутылочке, после нанесения которой следовало держать руки поднятыми в течение десяти минут, до полного высыхания средства.

Тогда я не поняла — вероятно, взрослые тоже не догадались бы — того, что сегодняшнему наблюдателю, знакомому с психологией, ясно с первого взгляда: Иден была невероятно тщеславна и весьма неуверенна в себе. А я лишь подумала — если она все это оставила, то что взяла с собой? Вне всякого сомнения, еще больше. *Crème de la crème*, в прямом и переносном смысле. Когда угрызания совести из-за использования губной помады «Танги» или питательного крема «Арденнский апельсин» становились слишком сильными, меня почему-то успокаивала мысль о том, что оставленная в «Лорел Коттедж» косметика лишняя или как минимум

запасная.

Иден уехала, но перед отъездом привела домой бойфренда. Конечно, Вера не использовала это слово (тогда оно еще не служило общим термином для обозначения любовника, в том числе гражданского мужа, с которым вместе прожито шестьдесят лет) и даже не намекала на возможность сексуального аспекта в интересе Чеда Хемнера к Иден или ее к нему. По всей видимости, Вера называла его «другом», если вообще упоминала о нем или представляла его. Впрочем, это был не ее стиль. Послушно вернувшись от Кембасов в половине восьмого, я обнаружила дома незнакомого мужчину, который сидел в гостиной вместе с Верой и — чудо из чудес, в этот час! — Фрэнсисом. Они пили херес — такого в «Лорел Коттедж» еще не видели и больше никогда не увидят.

Я была потрясена. Остановилась в дверях в состоянии, которое некоторые романисты тридцатых годов описывали как «испуганная лань». Об этом мне стало известно со слов Фрэнсиса.

— Испуганная лань, — сказал он.

Он пил херес вместе с остальными, и его щеки порозовели. Я тоже залилась румянцем — чувствовала, что лицо горит. Вера имела привычку заполнять неловкие паузы суетой, за что иногда мы даже испытывали к ней благодарность.

— Смею надеяться, ты уже пила чай. Ты никогда не говорила, что садишься за стол с этими людьми. Мне нечего тебе предложить, разве что бутерброд с колбасой. Больше ничего нет.

— Налейте ей выпить.

Это был незнакомый мужчина. Вера напустилась на него, но не так, как на меня или Фрэнсиса. Когда она выговаривала Чеду, в ее тоне проскальзывало что-то жеманное и игривое.

— Как вам не стыдно! Могу себе представить, что сказал бы мой брат. Ей только тринадцать, и она младше Фрэнсиса. Бог свидетель, она даже не смотрит на эти вещи.

— Я не хочу. — Мое замечание, естественно, было кислым и недовольным.

Чед встал и протянул мне руку со словами:

— Как дела? Меня зовут Чед Хемнер, и я друг Иден.

— Надеюсь, наш общий друг, Чед, — вставила Вера.

— Общий, разумеется.

Мы пожали друг другу руки. Я помню, во что была одета во время этой первой встречи: в прозрачное платье — то самое, с групповой

фотографии, отданное мне дочерью соседки, которая из него выросла, — с немного потертой тканью и нитками, торчащими из выцветших оранжевых настурций. Мои волосы были заплетены в две толстые, растрепанные косы. Вера пробовала заставить меня носить короткие носочки, но вскоре они исчезли из продажи, и я отвоевала право надевать сандалии «Старт-райт» на босу ногу.

С самого начала Чед обращался со мной как со взрослой. Тогда еще не существовало ни культа юности, ни испуганной реакции на подростков. Все отчаянно хотели стать старше — или, по крайней мере, чтобы тебя считали старше. Чед всегда говорил со мной как с ровесницей, то есть словно мне было уже далеко за двадцать. И, похоже, он не видел во мне женщину — как, впрочем, и в Вере, — что впоследствии меня очень огорчало. Но в любом случае для него я была достойной уважения личностью, и мне это нравилось.

Несмотря на негодующее восклицание Веры, слагавшей с себя ответственность за последствия и за мою дальнейшую судьбу, Чед настоял, чтобы мне дали вино в маленьком изящном бокале. Бутылку хереса ему подарил человек, у которого он брал интервью и о котором написал статью в газету, — новый президент клуба «Ротари», садоводческого общества или чего-то в этом роде. Чед работал корреспондентом сети местных газет, которая называлась «Норт-Эссекс энд Стор-Вэлли публикешнз лимитед». Внешность у него была ничем не примечательная: не высокий и не низкий, не толстый и не худой, не блондин и не брюнет. Не из тех, на кого на улице обращают внимание женщины. Но его преображала улыбка — не широкая и ослепительная, а загадочная и ироничная, излучавшая неотразимое очарование. Такое бывает со многими неприметными людьми. И еще у него был красивый голос, который я — позже, в своих грезах о нем — сравнивала с голосом радиокомментатора Альвара Лиделла.

В те времена не носили джинсов. И курток на молнии. Никакой синтетики. Молодые мужчины, старики, мальчики — все одевались одинаково. В тот вечер на мне было выцветшее оранжевое платье из прозрачной ткани, а на Вере — платье, выкроенное из двух старых, с коричневыми рукавами и лифом в оранжевый и коричневый горошек, явно по моде 1941 года. Фрэнсис был одет в серые фланелевые брюки, серый пуловер, серую школьную рубашку, а Чед — в серые фланелевые брюки, кремовую рубашку «Аэртекс» и твидовую куртку серо-синего цвета. Он спросил, специально ли меня называли так же, как Веру.

— У нас разные имена, — сказала Вера. — Ее зовут Фейт. — Разумеется, Чед не мог этого знать, потому что никто ему не сказал, даже я.

Похоже, Вера вспомнила об этом. — Разве я не говорила? Разве я не представляла тебе мою племянницу Фейт?

Меня охватило необычайное волнение, какое-то теплое чувство, когда я услышала слова «моя племянница», произнесенные спокойным, безразличным голосом Веры — словно *признание*.

— Именно это я имел в виду. Ваши имена означают одно и то же. [\[37\]](#)

— Вера означает истину, — возразила Вера. Она выглядела недовольной.

— Вера означает доверие, — сказал Чед. — У русских.

Похоже, Вера собралась спорить. На ее лице появилось упрямое выражение. С ужасной, оскорбительной грубостью, приберегаемой специально для матери — он был дерзок со всеми, кроме Иден и Хелен, но груб только с Верой, — Фрэнсис сказал:

— Он ведь знает, что говорит? Маловероятно, что ты разбираешься в этом лучше его, да? Правда? Ты же не собираешься вступать с ним в *филологический* спор? Он учился в Оксфорде, и у него ученая степень. Так вот. Просто смешно, когда такие, как ты, начинают с ним спорить.

Тогда я этого не знала, но Вера была права, поскольку *vera* — это женская форма латинского слова «истина». Не исключено, что русский перевод тоже точен, и они оба правы, а может, Чед в этом вопросе, как и во многих других, не был непререкаемым авторитетом, каким в то время его считал Фрэнсис.

Вера посмотрела на Фрэнсиса.

— И это мой сын! — воскликнула она. Почти с гордостью. Как будто восхищалась тем, как далеко он может зайти. — Если бы я разговаривала с матерью в таком тоне, отец убил бы меня.

— К счастью, мой отец в Северной Африке.

— Тебе этого знать не положено. И рассказывать — тоже.

— Болтун — находка для шпиона, — сказал Фрэнсис. — Конечно, эта комната полна людей, которым не терпится уйти отсюда и сообщить немцам, что майор Джеральд Хильярд, надежда британской разведки, в настоящее время находится у ворот Тобрука, вписывая свое имя в историю. — Он повернулся в Чеду. — Мои родители пользуются кодом, который вводит в заблуждение даже цензоров. Восклицательный знак означает Египет, перевернутая запятая — Триполи, двоеточие — Дальний Восток, и тому подобное...

— Фрэнсис, — дрожащим голосом прервала его Вера.

— Последнее письмо было полно диалогов. *Quod erat*

*demonstrandum*<sup>[38]</sup>. Бог знает, что они будут делать, если наши войска когда-нибудь высадутся в Европе. Насчет этого они не договорились. Не слишком...

Вера вскочила, закрыла лицо руками и выбежала из комнаты.

— ...оптимистично, правда? Не скажешь, что в них много веры.

Я знала, что большинство взрослых выругали бы Фрэнсиса за такое обращение с матерью. Чед промолчал. Просто пожал плечами. Он часто так делал — это скорее галльская привычка, чем английская, хотя Чед был англичанином до мозга костей, как и его имя.

— Меня зачали в Чедвелл-Хит, — так он в тот вечер по настоянию Фрэнсиса объяснял мне происхождение своего имени.

На самом деле его имя передавалось из поколения в поколение с тех пор, как его получил дед, когда в Викторианскую эпоху снова ввели в употребление старинные христианские имена. Как я узнала впоследствии, Вера питала глубокое уважение к семье Чеда, принадлежавшей к мелкопоместному дворянству. «Хозяева гончих», памятные таблички на стенах церкви в Сиссингтоне в честь сыновей, павших на Первой мировой войне. Другой вопрос, как он получил работу в «Сиссингтон энд Аппер стоур спикер». Переболев в детстве ревматической лихорадкой, Чед был негоден к военной службе. Иден познакомилась с ним в мировом суде Колчестера, куда она пришла с бумагами для шефа, а Чед сидел в ложе для прессы. Разумеется (по словам Веры), впоследствии они были должным образом представлены друг другу каким-то достойным человеком, вероятно Чаттериссом.

Вернувшись в гостиную — с красными глазами и поджатыми губами, — Вера обнаружила, что Чед разглядывает книгу миссис Маршалл, которую я забыла убрать, и приговаривает, что в данный момент мечтает именно о маленьких сальпиконах из лосося «а ля шевалье». Фрэнсис, приберегавший свое замечание к возвращению матери, объявил, что книга досталась мне от бабушки, которая была поваром.

— Двоюродной бабушки, — поправила Вера, как будто не прямое родство могло спасти положение.

Чед заинтересовался, но о презрении не было и речи.

— Вы мне не рассказывали, что ваша тетя работала в здешних местах. У кого?

Вера так разволновалась, что почти кричала.

— Это не моя тетя. Она не имеет к нам никакого отношения! Она сестра матери Фейт или что-то в этом роде, родственница Фейт.

В меня словно вселился дьявол, и я объявила, что моя двоюродная

бабка готовила ужин для Эдуарда Восьмого.

— И миссис Симпсон?

Я ответила, что не знаю.

— Зачем нам обсуждать кухарок? В нынешние времена просто смешно читать поваренную книгу, от нее становится плохо. Лично мне кажется, что этой жалкой книге пора последовать за твоей двоюродной бабушкой или кем она тебе там приходилась, Фейт.

Фрэнсис, читавший Саки,<sup>[39]</sup> процитировал:

— Кухарка была хорошая, но все же ей пришлось уйти.

Наградой ему стали одобрителный смех Чеда и возмущенный взгляд матери. Секунду или две он, как обычно, загадочно молчал и не то чтобы улыбался, но выглядел чрезвычайно довольным собой, а затем встал и объявил, что идет спать. Введенная в заблуждение, Вера выплеснула свое раздражение на меня, поинтересовавшись, знаю ли я, который час; она вела себя так, словно двадцать пять минут девятого — это глубокая ночь. Я отправилась наверх и утешилась жидким кремом «Майнерз» и губной помадой «Танги». Чед вскоре ушел домой. Я слышала, как Вера в кухне моет бокалы, прежде чем устроиться в гостиной с кроссвордом из «Дейли телеграф».

Вера гордилась семейными узами с Чаттериссами, которые обладали всем необходимым, чтобы считаться родственниками. Она всегда называла Хелен «сестрой», а не «единокровной сестрой», а мужа Хелен — «зятем» или «генералом». Чаттериссы жили в Уолбруксе, в доме, в котором воспитывалась Хелен и который она унаследовала после смерти бабушки и дедушки. Именно там, еще при жизни стариков Ричардсонов, Вера совершила свой подвиг, спасая Иден, лежавшую в коляске под деревом во время грозы.

Вера сказала мне, что я должна называть их дядей Виктором и тетушкой Хелен, точно так же, как я называю ее саму тетушкой Верой, — хотя Иден всегда оставалась для меня просто Иден. В преддверии нашего первого визита Вера очень волновалась по поводу моих манер. На следующий год меня строго-настрого предупредили — угрожая «больше никогда никуда не брать», — чтобы я не смела рассказывать Хелен о поваренной книге. В первый раз я следила за своими манерами и следовала указаниям Веры, хотя Хелен не понравилось обращение «тетушка». Она назвала его вульгарным, и ее слова заставили Веру вздрогнуть.

— Только не называй меня тетушкой, дорогая, я тебя умоляю, — говорила и до сих пор продолжает говорить Хелен, так и не расставшаяся с

цветистым сленгом двадцатых годов, а также словечками и выражениями девушек из книг Митфорд. — Я чувствую себя старой поденщицей с мозолями, вставными зубами и корсетами на китовом усе.

Это описание настолько не соответствовало ее внешности, что я удивленно выпучила глаза.

— Называй меня Хелен, а его Виктором, а если стесняешься, то генералом. Я так всегда делаю: это звучит величественно и по-викториански.

И действительно, она его так называла. Фраза «генерал, дорогой» довольно часто звучала в доме. Подобно существу с прозрачными крыльями, плененному в янтаре, Хелен осталась в двадцатых годах; более того, на самом пике двадцатых, с прозрачными платьями без талии и пробковым шлемом, которым она прикрывала свои золотистые волосы в солнечную погоду. Хелен курила крепкие русские сигареты — одному Богу известно, где она брала их в 1941 году, — извлекая их из резного портсигара слоновой кости. Ее дочь записалась в женскую вспомогательную службу ВВС, а сын был пилотом истребителя, и они с генералом остались одни в большом доме, где Ричардсоны устроили библиотеку и музыкальный салон, а снаружи соорудили низкую изгородь вдоль канавы, беседку и посадили экзотический кустарник, с трудом приспособившийся к зимам Восточной Англии. Две пожилые женщины — одна из Сток-Тай, а другая с Торингтон-стрит — ежедневно приезжали на велосипедах, чтобы прислуживать в доме. Я убеждена, что генерал готовил еду, пока Хелен в наряде мемсаиб<sup>[40]</sup> грациозно плыла по саду, срезая цветы, а потом расставляла по всему дому потрясающие букеты из маргариток, астильбы и серебристо-сиреневой хосты.

Мне Хелен очень нравилась. Прошло уже много времени с тех пор, как это чувство переросло в любовь. Она была совсем не похожа на Веру — веселая, беззаботная, смешливая, щедрая — и осталась такой. Долгое время, вплоть до «примирения» Фрэнсиса с Джейми, она была единственным членом семьи, с которым Фрэнсис поддерживал связь. Казалось, его тянуло к ней — нетрудно видеть почему. Конечно, Хелен была мила, и в ней напрочь отсутствовала фальшь, но у них имелось еще кое-что общее, и это Фрэнсис особенно ценил. В детском возрасте они оба были брошены — «сплавлены», как выразался Фрэнсис — одним из родителей. Мать Фрэнсиса отправила его в пансион, чтобы полностью посвятить себя своей сестре, а отец Хелен отдал ее бабушке и дедушке и не забрал назад даже после того, как у него появилась новая жена и новый дом... Я не очень понимаю, что имеет в виду Дэниел Стюарт, когда пишет,

что «разлучение... все еще не дает покоя» Хелен. История о том, как Артур Лонгли привел свою невесту к воротам школы, чтобы показать Хелен, хорошо известна в нашей семье, и сама Хелен обычно рассказывала ее, не испытывая обиды.

— Дедушка и бабушка были настоящими ангелами, — говорила она, — и жизнь с ними казалась истинным блаженством. Иногда я лишь пугалась мысли, что меня заберет отец или что я вообще могла не родиться. Знаешь, что сделала бабушка сразу после моего приезда, в первый же вечер? Купила двух сиамских котят в корзинке и сказала, что их мама тоже умерла и что они очень расстроятся, если я не разрешу им спать в моей постели.

Когда в следующий раз я назвала Веру тетусшкой, она смущенно заметила, что «тетя» звучит лучше. Не попробую ли я теперь называть ее тетей Верой, поскольку «тетусшка» — это несколько вульгарно. Моя первая успешная попытка была услышана Фрэнсисом и чрезвычайно обрадовала его. Он начал опускать окончания во всех словах, доводя Веру до истерики.

За завтраком:

— Большое спасибо. Я больше не хочу коф. Сегодня не приносили почту? Полное безум, — и так далее.

Вера заламывала руки.

— Зачем ты это делаешь? Зачем ты меня мучаешь?

— Избегаю вульгарность люб ценной.

В результате я вообще перестала как-либо называть Веру.

Во время визита в Сток я подслушала, как она признавалась Хелен, что хотела бы иметь еще детей. Слово «подслушала» не означает, что я пряталась за дверью или занавеской, хотя, осмелюсь признаться, была вполне способна на такой поступок, — просто они знали о моем присутствии, но Вера, по всей видимости, считала меня слишком глупой, чтобы понять, а Хелен было все равно. Или, перейдя на шепот, они считали, что мне ничего не слышно. Наверное, именно так вели себя влюбленные в Викторианскую эпоху, находясь в большой комнате вместе с дуэньей.

Это случилось до того, как мама рассказала мне историю о пропавшем ребенке, Кэтлин Марч, до того, как я узнала, что Вера просто обожала маленькую сестру, когда была подростком. Я очень удивилась, услышав, что Вера любит детей и особенно маленьких. Может, именно поэтому она меня пригласила — потому что я еще ребенок? Может, она действительно меня любит, но не умеет это показать?

— Ты же знаешь, как я люблю детей, — сказала она Хелен.

Если та и сомневалась, то не подала виду.

— Что тебя останавливает, дорогая? Ты еще молода, ты сама еще ребенок. На целую вечность младше меня — в дочери годишься.

Мне это казалось невыносимым. Вере исполнилось тридцать четыре — поблекшие волосы, жилистая шея. Женщина средних лет.

— Есть небольшое препятствие — одному Богу известно, где находится Джерри.

— Война не будет длиться вечно, моя дорогая.

— Неужели? — горько усмехнулась Вера.

— Ты скучаешь и по Иден, да?

Вера умолкла. У нее появилась странная привычка, похоже, неосознанная. Я не видела, чтобы кто-то другой так делал. Сидя или стоя, она крепко прижимала ладони друг к другу и наклонялась вперед, опираясь на сомкнутые руки, словно преодолевала острую боль или пыталась на что-то с силой надавить. Мне ее поза больше всего напоминала попытку затолкать разбухшую пробку в бутылку с узким горлышком. Это продолжалось не больше одной или двух секунд, после чего Вера расслаблялась. Хелен наблюдала за ней с сочувственным любопытством. Потом Вера сказала:

— Иден уже не вернется.

— Конечно, вернется, дорогая! Что ты имеешь в виду?

— Не *это*. На должности радиотелеграфиста в Портсмуте ее жизнь вряд ли подвергается опасности. Я хочу сказать, что она больше не вернется в родной дом и не будет жить вместе со мной. Она отделилась, ведь так? Когда война закончится, Иден не захочет возвращаться в Синдон, а будет жить самостоятельно.

— К тому времени, как закончится война, — сказала Хелен, — Иден выйдет замуж.

— Вот именно. Результат один.

Но Вера ошиблась — Иден вернулась, и дядя Джеральд тоже, причем еще до окончания казавшейся бесконечной войны.

Тем временем жизнь в «Лорел Коттедж» почти не менялась. Нас с Фрэнсисом бранили за то, что мы едим правой рукой, за нами охотились, когда наступало время ложиться спать, — мне удавалось ускользнуть в половине случаев, ему почти всегда, — нам выговаривали за пренебрежение нормами, принятыми у благородных людей; ежедневно разгадывался кроссворд, еженедельно отправлялось письмо дяде Джеральду, а Иден — гораздо чаще. Волновалась ли Вера из-за того, что от мужа не было вестей уже несколько недель и даже месяцев? Письмо от

него пришло за неделю до того, как я должна была вернуться домой и пойти в школу.

Вера явно испытала облегчение, однако, по всей видимости, совсем не торопилась читать письмо. После завтрака она поднялась к себе и заперлась в спальне. Фрэнсису нравилось меня шокировать, и в те дни ему это обычно удавалось. Он сказал:

— Я читал в книге, что в первые два года брака супруги трахаются больше, чем всю оставшуюся жизнь. А ты как думаешь?

— Не знаю, — ответила я, вспыхнув.

— Ты опять краснеешь. Жаль, что я не могу. Это так очаровательно и невинно. Научи меня как-нибудь.

В последние несколько дней моего пребывания в Синдоне Фрэнсис уехал в гости к друзьям. Он всегда добивался своего, делал то, что хотел, и когда Вера спросила, кто эти люди и где они живут, Фрэнсис отказался ей что-либо сообщать. Вера угрожала не дать ему денег на билет, но его это не волновало. У Фрэнсиса всегда водились деньги. Не знаю, откуда он их брал. В те времена подростки не нанимались на низкооплачиваемую работу, чтобы заработать, — по крайней мере, подростки из семей среднего класса; в любом случае невозможно было представить, что Фрэнсис разносит газеты. Тем не менее он, загадочно улыбаясь, говорил, что заработал деньги, а на вопрос чем, отвечал: «Всякой всячиной».

За день до отъезда ему удался самый грандиозный розыгрыш из всех, которые он пытался устроить.

В одном из писем Иден упоминала морского офицера, капитана третьего ранга Майкла Франклина. Он был ее боссом или командиром — в общем, каким-то начальником — и хвалил ее. По всей видимости, этим дело и ограничивалось. Но Иден, верная себе и традициям семьи Лонгли, также написала, что он благородных кровей, сын какого-то лорда. Как бы то ни было, на Веру это произвело впечатление, и она рассказывала о Франклине Морреллам, Чаттериссам и всем, кто соглашался слушать, умудрившись создать впечатление, что отношения Иден и капитана выходят за рамки отношений начальника и подчиненной и носят романтический характер. Думаю, она сама себя в этом убедила. Чеда Хемнера тоже не пощадили, даже несмотря на то, что все — и особенно Фрэнсис — считали его официальным бойфрендом Иден.

Однажды вечером зазвонил телефон. Это было само по себе необычно. Наверное, Хелен, сказала мне Вера, выходя из комнаты. Мы сидели вдвоем, совместными усилиями одолевая кроссворд — единственное, что у нас было общего, — а стрелки на часах приближались к «часу колдовства»,

восьми. Разговора я не слышала. Когда я, торжествуя, что нашла ответ раньше тетки, вписывала слово «комплектование» в ответ на вопрос «набор рабочей силы», в комнату вернулась необычайно взволнованная Вера.

— Как ты думаешь, кто это был?

Она всегда задавала этот вопрос и отпускала язвительное замечание, если ответ оказывался неверным.

Разумеется, я сказала, что не знаю.

— Капитан Майкл Франклин, военно-морской флот Великобритании.

— Правда? — переспросила я. — Тот, у кого работает Иден?

Вера предпочла бы выразиться по-другому.

— Не думаю, что нужно использовать подобные термины. «У кого»? Более подходящим было бы «с кем» — или даже «друг». — В ее голосе проступил сарказм. — Да, Фейт, мне не кажется, что мы зайдем слишком далеко, если скажем «друг». Возможно, наша половина семьи не слишком гордится родственниками, которые *стряпали* для герцога Виндзорского, но мы знакомы с милыми людьми, которых можем назвать своими *друзьями*, хорошо воспитанными людьми благородного происхождения. Думаю, мы можем так утверждать.

Вера была очень взволнована, что всегда сопровождалось агрессией. Она стиснула левую ладонь правой и напряглась, скривившись, как от боли. Я спросила, что хотел капитан.

— Приехать и познакомиться с нами. А если точнее, то познакомиться со мной. Не думаю, что он жаждет увидеть тебя или моего сына. Ему нужна именно я, сестра Иден. Это его собственные слова. Ему нужно в Ипсвич по какому-то конфиденциальному, не подлежащему разглашению делу, и он спрашивает, можно ли нанести визит сестре Иден в следующую среду, днем. Капитан не рассчитывает на ленч — это было бы неуместно в такое тяжелое время, — а перекусит где-нибудь сэндвичем, но тем не менее придет в обеденное время. Да, Фрэнсис был очень умен, очень тонок — он прекрасно знал свою мать. Вера пригласила Чаттериссов, Морреллов и, как ни странно, Чеда Хемнера. Чед считался бойфрендом Иден, однако Вера все равно позвала его на встречу с мужчиной, который, как она надеялась, сменит его — не имея для надежды никаких оснований, за исключением того, что Франклин был сыном и наследником виконта. (Вера откопала эту информацию в публичной библиотеке.) А Чед принадлежал к не особенно знатному и богатому роду. Веру не назовешь приятной женщиной, и кое-кто может сказать, что она получила по заслугам, однако она была трогательна — да, чрезвычайно трогательна как в своих стремлениях, так и в своем падении.

Все явились. О мясе не могло быть и речи, и всех наших карточек все равно не хватило бы на девять человек. Вера держала двух кроликов, не диких, а таких, которые живут в сарае. Староанглийской породы, белых с коричневыми пятнами; мы с Энн рвали осот и песчанку, чтобы кормить их. В ответ на мои протесты Вера назвала меня сентиментальной дурочкой. Она зажарила кроликов, подала к ним жареную картошку, отваренную в сидре морковь и красную фасоль, а на закуску — черничный пирог и летний пудинг. Чернику собирала я. Овощи Вера сама вырастила на грядках, которые когда-то были розарием бабушки Лонгли.

Разумеется, Франклин не пришел. Как мы потом выяснили, в это время он находился в открытом море, защищая русский конвой; его кораблю было суждено стать одним из многих британских судов, потерянных в следующем году — вместе с Франклином. Генерал Чаттерисс потягивал херес, который вновь где-то достал Чед, посматривал на часы и — в промежутки времени от одной до десяти минут после условленного часа — приговаривал:

— Парень опаздывает.

А потом, от десяти минут до получаса:

— Парень не придет.

Чед догадался, что это проделка Фрэнсиса. Думаю, не сразу, а только по мере того, как напивался с горя, в результате чего «Драй флай» вскоре закончился, и Вера расстроилась, не зная, чем угощать Франклина, когда он придет.

А может, он все знал с самого начала. Должно быть, Фрэнсис позвонил не из телефонной будки, а из чьего-то дома, изменив голос — или даже не меняя. Сердечного или любезного тона было достаточно, чтобы обмануть Веру. Но я не думаю, что Чед в этом участвовал — ни тогда не думала, ни теперь. В общем-то, он был добрым малым. И даже если он был отчаянно влюблен, буквально болен от любви, так что допускал любые хитрости, способные содействовать его чувству, тем не менее на жестокость он был не способен. Полагаю, Чед по-своему любил и Веру. Все, что имело отношение к объекту его любви, вовлекалось в орбиту этого объекта и озарялось им.

В конце концов мы съели жареного кролика. К тому времени мясо стало сухим и волокнистым, а вкус у моркови был такой, словно из нее собирались делать вино. Не раз и не два нам пришлось наблюдать сомкнутые ладони и искаженное мукой лицо Веры, прежде чем эта злосчастная трапеза подошла к концу. Потом все довольно быстро разошлись.

Фрэнсис открыл Вере правду в классической манере подобных откровений, произнеся фразу голосом человека, которого изображал:

— Я не рассчитываю на ленч — это было бы неуместно в такое тяжелое время, миссис Хильярд, а лучше...

Остров Мадагаскар способен доставить детям массу удовольствий. Например, его название прекрасно подходит для шарад, если вы не против превратить игру в пятиактную пьесу. Сомневаюсь, что Вера и Джеральд предусмотрели для него код как для возможного театра военных действий, и поэтому в 1942 году Вера несколько месяцев не имела представления, где находится ее муж.

Британские войска высадились там в мае, пытаясь отобрать остров у вишистской Франции. Высказывалось предположение, что в противном случае их опередят японцы, причем при попустительстве правительства Виши. Все это мы узнали после того, как следующей весной на побывку приехал дядя Джеральд, но тогда думали, что он в Северной Африке. Этим летом Иден полагался отпуск, и она заглянула к нам в Лондон на одну ночь — только на одну, объясняла она, чтобы не обидеть Веру.

Иден была очень хороша в форме. Военнослужащие женской вспомогательной службы военно-морских сил носили шляпки, а не кепи, и шляпка особенно шла ее лицу кинозвезды тридцатых годов. Иден похудела, или «стала изящнее», как выражалась моя мать. Ее лицо по современным меркам было слишком красивым, почти безупречным, с идеально правильными чертами, большими выразительными глазами и мечтательным взглядом. Я впервые видела Иден за пределами ее родного «Лорел Коттедж», и впервые она держалась с нами слегка напряженно, казалась немного замкнутой и осторожной, когда сидела на нашем диване, плотно сжав колени и лодыжки. Предстояло разрешить серьезную проблему: где она будет спать. Положить ли ее в одной из неиспользуемых спален или вместе со мной в бомбоубежище, которое мы устроили в холле? В последнем случае наше соседство было бы почти неприличным, не то что в спальне «Лорел Коттедж», поскольку размеры убежища, сооруженного из мешков с песком и гофрированного железа, не превышали семь на четыре фута. Иден служила в армии и, хотя не принимала участия в боевых действиях, но, как заметила моя мать, должна была привыкнуть к бомбежкам и обстрелам. Естественно, мой отец все еще относится к ней как к маленькой сестренке. В конце концов родители решили, что Иден будет спать наверху, но ей было строго-настроено приказано встать и спуститься в убежище при первых же звуках сирены.

Мы с матерью проводили Иден в ее комнату, как только она приехала.

Моя мать не имела обыкновения «украшать» комнаты ради гостей — не знала, как это делается, или просто не видела необходимости. Постельное белье свежее, ковер вычищен, пыль вытерта. Что еще нужно? Поэтому я сама поставила цветы в вазу, положила на прикроватный столик журнал «Вумен» и проверила лампочку в ночнике.

— О, дорогая, как странно, что вы отправляете меня сюда, а сами спите внизу, в уюте и безопасности, — сказала Иден. — Посмотрите на это большое окно. Я прямо вижу, как от него летят осколки.

— Налетов не было уже несколько недель, — ответила моя мать.

— Не стоит искушать судьбу.

Иден повторила фразу о том, что мои родители будут спать в безопасности, внизу, когда они с отцом принялись за кроссворд. Отец тут же ответил, что в таком случае они с матерью тоже пойдут наверх, чтобы Иден было спокойнее. Нужно проветрить их старую спальню и застелить постель.

— Вот иди, стели и проветривай, — сказала мать.

Конечно, она сделала это сама, хотя и неохотно. Думаю, мать искренне хотела сделать короткий визит Иден приятным, однако преклонение отца перед Иден и уважение, которое он оказывал сестре, раздражали ее. Кроме того, в отношении Иден к любым мелочам мать усматривала невысказанное осуждение, причем иногда ее возмущение было справедливым. Сосиска, оставленная на тарелке Иден, и то, как перебиралась клубника, за которой мать стояла в очереди, и из нее вырезались мельчайшие неспелые кусочки, раскрошенный и оставленный хлеб. Если мы выбрасывали продукты, отец советовал нам вспомнить о голодающих румынах (или греках, или югославах), но упреки никогда не адресовались сестре.

Иден не упоминала о бедном Майкле ФранкLINE, который к тому времени, скорее всего, был уже мертв, но много говорила о людях, с которыми познакомилась в Портсмуте. Разумеется, там было много морских офицеров, и любая девушка, если только она не «страшна, как смерть», могла приятно провести время. В войну уже вступили американцы — нападение на Перл-Харбор случилось в минувшем декабре, — и Иден с удивлением обнаружила, что американские военные, которых она встречала, очень милы и цивилизованны.

— Разумеется, офицеры, — говорила она. — О других разрядах и званиях ничего не могу сказать. Я знакома с двумя девушками, помолвленными с американскими офицерами, и не стала бы их осуждать — учитывая, какое будущее их ждет.

Это была новая для меня мысль — выходящая за пределы викторианской сказки. Как выяснилось, женщина может выйти замуж ради денег, благополучия и положения в обществе; мне же казалось, что замуж выходят только по любви. Иден много рассуждала о деньгах и благополучии, рассказывала, что одна ее подруга, обрученная с майором Уэйном Д. Лански, описывала, что ждет ее после окончания войны в Норфолке, штат Вирджиния: собственная машина, наемная прислуга и дом на берегу океана. Моя мать отсутствовала, когда все это обсуждалось, и поэтому в ее вопросе о Чедде и о том, когда Иден с ним увидится, не было ни капли язвительности, только искренний интерес. Конечно, я рассказала родителям о Чедде, не предполагая никаких причин для секретности, даже с точки зрения Лонгли. В 1942 году результатом любви становился брак. Приглашение в дом бойфренда означало, что свадьба не за горами. Брак мог заключаться и по другим причинам (таким, как автомобили, наемная прислуга и дом на берегу океана), однако в целом мне еще казалось немислимым, что любовь может завершиться чем-то иным.

Иден, похоже, очень смутилась. Она поспешно сменила тему, сказав:

— О да, конечно, я с ним увижусь. Должно быть, Чед заглянет к нам, когда узнает, что я дома.

Позже она высказала мне свое недовольство. Это произошло в очень неподходящем месте — нашем бомбоубежище, поскольку в дополнение к прочим неприятностям немцы решили бомбить Лондон именно этой ночью, или, по меньшей мере, ввели нас в заблуждение, заставив думать, что будут бомбить. Я не помню, что слышала артиллерийский огонь или далекие разрывы бомб, но в час ночи прозвучал сигнал тревоги, и все спустились в бомбоубежище, естественно, разбудив меня.

Вскоре отец пошел спать. Мать была на кухне — заваривала для нас чай. Мы с Иден сидели лицом друг к другу — я на своей койке, а она на перевернутом ящике из-под апельсинов, на который положили подушку. Ее красивое лицо, похожее на лица ныне забытых кинозвезд — Вероники Лейк, Аннабеллы, Элис Фей, — блестело от питательного крема, не оставленного в неизвестности «Лорел Коттедж». На Иден была хлопковая ночная рубашка, голубая в цветочек, а на голове тюрбан из голубого шифонового шарфа. Отчитывала меня она довольно странно.

— Я была очень разочарована, Фейт, узнав, что ты рассказываешь отцу небылицы.

В тот момент я действительно не понимала, о чем речь, и честно призналась ей в этом.

— Не притворяйся. Думаю, ты немного посплетничала, а теперь

хочешь увильнуть от ответственности. Что заставило тебя думать, что Чед Хемнер мой жених?

— Я этого не говорила.

— Почему именно Чед? Бедняжка, я думала, что смогу чуть лучше устроить свою жизнь. Не сомневаюсь, Вера не могла тебе сказать, что мы с ним помолвлены. У меня ведь нет обручального кольца, правда? Так вот. Чед просто друг, друг семьи, а не лично мой. Ты поняла?

— Извини, — пробормотала я. — Чед сказал мне, что он *твой* друг.

— А-а. Фейт, дорогая, однажды ты поймешь: слова мужчины в подобных обстоятельствах и истинное положение дел — две очень разные вещи. Думаю, Чед хотел бы со мной обручиться. Тебе так не кажется?

Я с готовностью согласилась. Подумала, что никто — от Гэри Купера до лорда Луиса Маунтбеттена и генерала Монтгомери — не отказался бы с ней обручиться. Иден снова стала уверенной в себе и любезной.

— Честно говоря, я всегда знала, что в этом отношении у меня будут неприятности с Чедом. Как ты знаешь, мы познакомились у Треджера, — Джордж Треджер был адвокатом, у которого работала Иден, — на вечеринке с коктейлем, и он с самого начала бросал на меня влюбленные взгляды с другого конца зала. Чед *преследовал* меня телефонными звонками — мы с Верой ужасно злились, — и на самом деле я стала с ним встречаться только для того, чтобы положить конец этим бесконечным звонкам.

Она еще долго рассуждала в том же духе, пока не вошла моя мать с чаем — вернее, не вошла, а протиснулась в щель между мешками с песком. Меня с самого начала поразило несовпадение рассказов Веры и Иден о знакомстве с Чедом. Вера утверждала, что это произошло в суде, а по словам Иден, они встретились на вечеринке. Вероятно, это было неважно. Расстроившись из-за упреков Иден, я теперь радовалась, что вновь вернула ее расположение.

Следующим утром Иден уехала, но не в Грейт-Синдон — возвращение домой откладывалось до позднего вечера. Сначала она пообедала в Вест-Энде с каким-то американским офицером. За завтраком Иден рассказывала об этом так, словно собиралась на важную деловую встречу, в целях поддержания контактов между представителями британских и американских вооруженных сил, и мой отец, забыв, что она всего лишь радиотелеграфист, похоже, поверил ей. Однако, к моему удивлению, Иден, сохраняя серьезное выражение лица, толкнула меня ногой под столом, когда второй раз называла имя американца.

После ухода Иден мама поднялась в ее комнату, чтобы убрать

постельное белье. Зная свою мать и ее привычки, я могу предположить: она размышляла, отправить ли белье в стирку или на нем еще могут спать они с отцом. Увиденное в спальне ее рассердило. В комнате было убрано. Многие считают, что женщина, не поддерживающая в доме идеальную чистоту, просто не замечает грязь, но это не всегда справедливо. Бывает, что ей просто лень. Вполне достаточно относительной чистоты. Пятна пыли не обязательно тут же стираются, даже если они видны невооруженным глазом. Вокруг ножек кровати, на которой спала Иден, в местах соприкосновения с полом, оставались маленькие комочки пыли; их убрали, вероятно, мокрой тряпкой. Пергаментный абажур на лампе, свисавшей с потолка в центре комнаты, — мать сказала, что уже несколько недель собиралась протереть его, — был тщательно вымыт водой с мылом. В ванне дела обстояли еще хуже. В отличие от большинства гостей, которые оставляли на ванне ободок грязи, Иден не только смыла ободок и насухо вытерла после себя ванну и раковину, но и сняла копившуюся годами серую паутину с наполовину скрытого переплетения труб за ванной и унитазом и аккуратно сложила горкой на одном из газетных квадратиков, которые отец использовал для бритья.

Именно это, а не какой-то поступок Веры — теперь я точно вспомнила, — разозлило мою мать, заставив рассказать о Кэтлин Марч. Разумеется, Иден не имела к той истории никакого отношения, она тогда еще не родилась, но мне кажется, мать хотела уязвить всех женщин семьи Лонгли, продемонстрировать их несовершенство и, если можно так выразиться, представить их «колоссом на глиняных ногах».

— Никто не утверждает, что она что-то сделала с ребенком, — говорила мать. — Просто оставила его без присмотра. Ей нельзя было доверять ребенка — из-за равнодушия. Они все такие: сплошной эгоизм и желание произвести впечатление. Все поверхностное, напоказ. Полагаю, она сидела у речки или чего-то там еще, а мимо проходила подруга, которая стала говорить ей комплименты, восхищаться, льстить, и Вера забыла о ребенке, которого ей доверили. Так увлеклась собой, что не видела безумца, который проходил мимо и украл малютку.

Я училась быть тактичной. Начинала понимать, что «подливание масла в огонь» принесет больше неприятностей, чем удовлетворения. Поэтому я не стала передавать матери, что Вера говорила Хелен по поводу маленьких детей. Но мать — то ли это было шестое чувство, то ли нечто вроде телепатии, часто устанавливавшейся между нами, — заявила, что не удивится, если после окончания войны у Веры появятся еще дети.

— А она будет не слишком старой?

Мать возмутилась:

— Она моложе меня!

Постельное белье было снято и отправлено в стирку на том основании, что «часть той дряни, которой она мажет лицо», могла попасть на наволочку. Утренней почтой мать с отцом получили вежливую записку с благодарностью — должно быть, Иден написала ее в поезде. В следующий раз мы встретились в саду Хелен, где Иден рассказала мне, как Вера спасла ей жизнь.

Вчера Хелен приходила ко мне на чай. Чашка чая с пирожным, потом десятиминутная пауза, потом напитки. Хелен любит именно так. Она называет это «остаться на коктейль» и пьет херес или просит меня приготовить ей две порции мартини, перемешанного, а не взболтанного в шейкере, с зелеными оливками вместо лимона, и всегда повторяет милую шутку, что достаточно показать налитому в стакан джину бутылку вермута.

[41] После окончания школы, до отъезда в Болонью, Джейми работал барменом на Хаф-Мун-стрит — в тех обстоятельствах об Оксфорде не стоило и думать, — и в первый же день в бар пришел американец и заказал сухой мартини. Джейми понятия не имел, как приготовить коктейль, но знал, что «Мартини» — это вермут, и сделал все, что мог. Немного погодя американец вернул ему напиток и спросил, есть ли там джин.

— Конечно, нет, — возмущенно ответил Джейми.

Американец рассмеялся, научил его готовить сухой мартини и оставил десять шиллингов — огромные чаевые по меркам 1962 года.

После смерти генерала Хелен отдала Уолбрукс сыну, который к тому времени женился во второй раз, и у которого была маленькая дочь. Это красивый дом с великолепным участком, и я иногда развлекаюсь мыслями о том, что он едва не стал моим. Но я не жалею об этом. Хелен поселилась в Лондоне, в квартире в Байна-Гарденс, рядом с Олд-Бромптон-роуд. Думаю, она ожидала увидеть Лондон точно таким же, как в 1918 году, когда провела там один сезон под опекой кухни старой миссис Ричардсон. Лондон, конечно, изменился, но не Хелен: она одевалась по моде тех времен, всюду ездила на такси, обставила квартиру в смеси стиля модерн с англо-индийским, с массивной белой мебелью, медными украшениями из Варанасси и штрихами от Сайри Моэм. [42] Каждый день в пять часов Хелен пила чай, а в шесть делала себе коктейль; по вечерам она звонила детям — через день, раз сыну, раз дочери. Они часто приезжали в Байна-Гарденс навестить ее и привозили с собой внуков. Хелен водила их в ресторанчик

«Клариж Брасери» на ленч — «шведский стол» со скидкой. И еще у нее была я, жившая поблизости, на Викаридж-роуд.

Хелен приходится мне теткой — правда, лишь наполовину. Однако это неполное родство, о котором Вера с готовностью забывала, называя Хелен сестрой, почему-то всегда мешало мне считать Хелен теткой. Я не называла ее «тетей» (на чем она сама настояла), а когда знакомила с людьми, сообщала только ее имя, лишь изредка прибавляя «мой друг». Я никогда не считала ее теткой, не говоря уже о другом эпитете, которым когда-то получила право ее называть.

Ей восемьдесят девять, и она все такая же худая и даже гибкая — вроде ревматической ивы с потрескивающими суставами. Хелен по-прежнему любит шифон и другие прозрачные, струящиеся ткани и всегда носит шляпку. Тем не менее она в конце концов отказалась от моды двадцатых годов и теперь одевается как королева-мать — бледно-голубые тона и большие шляпы. Золотистые волосы стали белыми как снег, но по-прежнему пострижены как у Гертруды Лоуренс, когда она снималась в «Частной жизни».

Я размышляла, не пригласить ли Дэниела Стюарта. Хелен положила конец моим сомнениям, ответив твердым «нет» на вопрос, как она к этому отнесется. Хелен называет его букмекером, хотя прекрасно знает, кто такие букмекеры, а также что Дэниел не имеет к ним никакого отношения.

— Я не против побеседовать с букмекером наедине, — сказала она, садясь и, как всегда, не снимая шляпы. — Нет, конечно, я против и предпочла бы уклониться — это не шутка, обсуждать в таком ключе бедняжку Веру, — но я хочу сказать, что смогу выдержать, если мы с букмекером будем только вдвоем. Но присутствие третьего человека, даже тебя, дорогая, сделает разговор чудовищно *публичным*.

Я не стала спорить; может, как-нибудь потом. Ей нужно подготовиться к подобной встрече — например, вооружиться валиумом. А когда книга Стюарта выйдет, читать ее не обязательно. Хелен хитро посмотрела на меня, как всегда смотрела на подруг, когда они заговаривали о будущем, даже о том, что произойдет в следующем году. Это означало, что следующего года у нее может не быть.

Я заварила чай, и мы обе попробовали то, что на упаковке было обозначено как печенье из мюсли. Хелен грызла свое печенье, укрывшись в тени синих шелковых полей шляпы, украшенных нейлоновыми дельфиниями. Мы редко говорим о семейных делах, когда встречаемся — она приходит ко мне на чай или мы вместе навещаем Джеральда. Так или иначе, семья для нас обеих большое место, и нам кажется, что мы дружим

не благодаря родственным связям, а вопреки им. Но, похоже, больше говорить было не о чем. Кроме того, это был день рождения Веры. Будь она жива, ей исполнилось бы семьдесят восемь.

Старая, люди обычно становятся некрасивыми. Это общее место, клише. Но утрата красоты — лишь первое звено цепочки. Следующим становится утрата пола. В определенном возрасте — наверное, годам к восьмидесяти — старуху можно отличить от старика только по одежде и прическе. А потом наступает момент, когда Господь покидает нас, и мы утрачиваем человеческий облик, после чего остается старая обезьяна в людской одежде.

Не подлежит сомнению, что Хелен с ее плоской грудью и узловатыми пальцами можно было принять за старика, однако в ней осталось много человеческого. Надтреснутый голос был полон жизни. Пытливые голубые глаза сверкали. И потрясающий запах, аромат духов под названием «Мажи нуар» — так не может пахнуть старик. Мне хотелось вместе со Стюартом перейти к 1943 году, и я начала спрашивать Хелен о возвращении Джеральда.

— Дорогая, той весной он приехал в отпуск, но потом ему пришлось еще немного повоевать.

Я хотела знать, как Джеральд вернулся домой и почему. Когда мне было четырнадцать или пятнадцать, никто мне об этом не рассказывал. Я знала только, что он воевал в Северной Африке, потом на Мадагаскаре (пропустив сражение при Эль-Аламейне) и в начале 1943 года вернулся домой. Пытаясь заполнить пробел, я прочла о событиях на Мадагаскаре и выяснила, что британские войска высадились там в мае 1942 года и захватили морскую базу под названием Диего-Суарес. Они надеялись, что губернатор, назначенный правительством Виши, испугается и сдаст остальной остров, но, как оказалось, он просто ждал, когда в октябре пойдут дожди. Поэтому британцы атаковали Антананариву, столицу острова, и вишистские войска отступили на юг. Затем последовали другие наступления и другие победы; в ноябре боевые действия прекратились, а губернатора интернировали.

— Думаю, Джерри должен был вернуться оттуда в январе или феврале, — сказала Хелен. — Мы поставили губернатором француза, человека де Голля. Нашими войсками командовал Билл Платт — очень мил, ужинал с нами. — Разумеется, так Хелен сообщала, что сэр Уильям Платт часто приходил к ним домой на ужин. — Знаешь, он отправил Джерри домой на бомбардировщике, доложить о ситуации какой-то важной шишке. Возможно, даже Черчиллю, точно не знаю. Или министру обороны. Если

бы мой дорогой генерал был жив, он рассказал бы тебе подробнее, дорогая. Генерал не пережил эту историю с бедняжкой Верой. Она буквально убила его.

Возможно, так и было. После смерти Веры Хелен и генерал мужественно держались у себя в Стоке, но им приходилось нелегко. Они стали изгоями. Непрямое родство не принималось в расчет. Добросердечная Хелен всегда называла Веру сестрой, и теперь, когда та совершила ужаснейшее из преступлений и ее жизнь закончилась ужаснейшим образом, не собиралась отказываться от родства. Впрочем, пытаться не имело смысла. В деревнях ничего не скроешь. Остракизм объяснялся не только тем, что их сторонились и с ними не хотели общаться. В значительной степени он был обусловлен робостью и смущением — люди просто не знали, как себя вести при встрече с Хелен и Виктором. В последующие годы я много времени провела с ними и была у них в доме, когда с генералом случился первый удар, от которого он так до конца и не оправился. Через пять лет после смерти Веры он тоже умер. На руках у Хелен, как она любила повторять, хотя я сомневаюсь, что можно умереть на руках у другого человека.

— Джерри был довольно умен, — сказала Хелен. — Генерал всегда его хвалил. Но понимаешь, он был таким странным, немногословным. Представь, что ты замужем за человеком, который ни разу тебя не смешил. — Я бы не назвала Виктора Чаттерисса выдающимся юмористом, но, разумеется, даже намеком не выдала своих мыслей.

— Честно говоря, ужасный зануда, но генерал всегда говорил, что внешность Джерри обманчива. Что касается внешности, дорогая, то я имею в виду этот ужасный бессмысленный взгляд и выпученные глаза — кажется, это называют брайтовой болезнью. Он был похож на одного из тех, что встречаются в Вест-Индии. Ну, из фильмов. Бонго, зобо — что-то в этом роде.

— Зомби, — сказала я.

— Именно, зомби. Зобо — это помесь яка и коровы, мы видели таких в Индии, но Джерри на них не похож. В любом случае, как я сказала, он по-своему был довольно умен, и, наверное, именно поэтому Билл поручил ему доставить важную депешу. Наверное, это было в январе сорок третьего, потому что Вера, Иден и Фрэнсис встречали Рождество вместе с нами, и тогда Вера не знала о приезде Джерри. Во время войны Иден провела с нами только одно Рождество, и это не могло быть в следующем году, правда? А в сорок первом нас не было дома, мы поехали к сестре генерала в этот ужасный Глениглз... Забавно, — сказала Хелен, — я отчетливо

помню, что случилось сорок лет назад, но если ты меня спросишь, чем я занималась вчера, я не отвечу. Говорят, все из-за того, что миллионы клеток у нас в мозгу разрушаются или как-то выпадают — вроде волос — и открывают клетки памяти, которые долгие годы находились в глубине. Хотя это не так уж важно, правда? Старые воспоминания ничем не хуже новых, а может, и лучше. Я уверена, что тогда проводила время гораздо веселее, чем вчера. По крайней мере, — поправила себе она, вспоминая, — до сама знаешь чего.

Хелен всегда называла казнь Веры «сама знаешь что». Боль выражалась только при помощи эвфемизма. Однажды Хелен призналась мне, что не проходит и дня, чтобы она не думала об этом, не представляла, что значит быть повешенным и что происходит с разумом и телом перед смертью.

— Они приезжали к нам в Лондон, — сказала я. — Но не жили у нас. Остановились в одном из отелей, названия которых заставляют людей смеяться и понимающе переглядываться, — «Стрэнд Палас», «Риджент Палас». Джерри говорил моей матери, что у них был второй медовый месяц.

— Они *спаривались*, моя дорогая. Вот чем они занимались — по крайней мере, бедняжка Вера. Боюсь, она использовала беднягу, чтобы заполнить еще одного ребенка.

Я встала и принялась смешивать сухой мартини. Хелен с опаской смотрела на бутылку сухого «Чинзано».

— Умоляю, только показать бутылку джину. Тем летом его отправили на Сицилию вместе с Восьмой армией. Понимаешь, до Мадагаскара он служил в Восьмой армии. Американцы тоже участвовали в деле — их Седьмая и наша Восьмая. Боюсь, число не смогу вспомнить, дорогая. Знаю только, что это было до того, как сбросили Муссолини.

— Девятого июля, — подсказала я. — Девятого июля 1943 года. Я проверяла. До окончания войны Джеральд больше не приезжал домой.

Вошел мой муж. Он поцеловал Хелен и спросил, не осталось ли для него немного сухого мартини. Я радовалась, что они не просто ладят, но даже подружились, хотя с учетом ситуации этого могло и не случиться.

— Мы говорим о Джеральде, — сообщила я.

— Но ведь сегодня не твоя очередь его навещать?

Я покачала головой. Джеральд уже много лет живет в пансионе для отставных офицеров на Бэрос-корт, и мы с Хелен иногда его навещаем. Он глух как пень и выглядит старше Хелен, хотя лет ему меньше.

— Мы обсуждали то, что он назвал бы «своей» войной, — пояснила я.

— Генерал, — сказала Хелен, — обычно говорил, что в конечном счете Джерри повезло с войной; очень повезло, должна я вам сказать, поскольку ему никогда не везло с мирной жизнью. Кстати, моя дорогая, я совсем забыла: как ты думаешь, кого я встретила на днях у Люси?

Люси — это ее внучка. Она вышла замуж за дипломата и устраивает пышные приемы в одной из квартир в Гайд-Парк-Гарденс, с крытыми террасами. Я сказала, что не знаю. Мой муж протянул Хелен вторую из двух порций мартини, которыми она себя ограничивала.

— Леди Гленнон! Что ты об этом думаешь?

Ничего. Это имя мне ничего не говорило.

— Мы не возвращаемся в высшем свете, Хелен, — сказал мой муж.

— Ну, я надеюсь, ты помнишь Майкла Франклина? Она его невестка. Его брат унаследовал титул после того, как Майкл утонул вместе со своим кораблем. Ты должна помнить тот ужасный день, жареных кроликов бедняжки Веры и крепнущее убеждение, что почтенный Майкл не придет. Если бы не немецкая торпеда, он стал бы виконтом Гленноном, и тогда все могло бы сложиться иначе, и в качестве леди Гленнон я встретила бы у Люси дорогую Иден.

— Она не была с ним знакома, — сказала я. — Если не считать слов: «У меня для вас сообщение в трех экземплярах, сэр».

— Не уверена, что ты права. Вера выглядела такой уверенной в себе. Иногда мне кажется, что я путаю его с другим морским офицером, который был у Иден после. Ты же не хочешь сказать, что его никогда не существовало, дорогая?

Я ответила, что понятия не имею. Откуда мне знать?

— Кажется, это было в сентябре сорок четвертого, где-то в Ирландии.

— Ну и память у вас, Хелен, — сказал мой муж. — Просто позавидуешь.

— Да, но зато ты можешь сказать, что ел сегодня за завтраком, мой дорогой, а мне это не под силу. Кстати, миссис Энструтер из квартиры внизу пригласили на радио, на «Женский час», обсудить недавно опубликованный дневник ее бабушки. Она такая же старая, как я — то есть миссис Энструтер, а не ее бабушка, которая давно умерла и была бы *значительно* старше, будь она жива. Прежде чем начать запись, или как там это называется, они сказали, что нужно проверить звук и произнести что-нибудь в микрофон. Естественно, миссис Энструтер не знала, что говорить — вы бы тоже не знали, правда? — и ведущий посоветовал: «Просто скажите, что вы ели на завтрак сегодня утром». Но миссис Энструтер не могла. Не помнила. Она сказала в микрофон: «Я не могу вспомнить, что ела

на завтрак сегодня утром», — и все засмеялись, хотя, конечно, она вовсе не шутила.

— Тогда Иден была в Лондондерри, — продолжала Хелен. — Весной ее перевели в Лондондерри. Корабль зашел туда на ремонт или зачем-то еще, а потом должен был направиться в Гуз, Гандер<sup>[43]</sup> или какое-то другое место с птичьим названием, но Иден так туда и не попала. Тем летом Лондондерри был наводнен американцами. У меня где-то сохранилось письмо от Иден, в котором она рассказывает о милых американцах, таких богатых и щедрых на подарки. Как выразился генерал: «Бойтесь американцев, дары приносящих». Он сказал это Патриции, которая приехала в отпуск в Уолбрукс и привезла с собой подругу. По словам генерала, это из Вергилия, которого он изучал в Итоне, но я всегда сомневалась, что во времена Рима Америку уже открыли — как ты думаешь, дорогая?

Мой муж посадил Хелен в такси, и машина довезла ее до угла. Дэниелу Стюарту захочется взглянуть на это письмо, мелькнуло у меня в голове. Я сидела, пила очень сухой мартини — остатки — и вспоминала то лето, единственное лето, когда не приезжала в Синдон на каникулы. Я должна была поехать и уже собралась, но матери пришлось экстренно делать гистерэктомию — в те времена очень серьезная операция, — и несколько недель она была очень слаба и быстро уставала. Я осталась дома, чтобы ухаживать за ней. Должно быть, все эти длинные каникулы между весенним и осенним семестрами в школе Вера и Фрэнсис провели в «Лорел Коттедж» одни. Последние летние каникулы, проведенные ими вдвоем, без посторонних.

Письмо, которое Вера прислала моему отцу осенью 1943 года, не сохранилось. Наверное, оно пришло еще до холодов, когда мы не разжигали камин. Я его прекрасно помню. Каждую строчку, прочитанную за завтраком. Видимо, это было в октябре. Увидев на конверте почерк Веры, я приготовилась к упрекам в свой адрес, уверенная, что письмо содержит именно их. В августе я не приезжала в Синдон, и хотя причиной была болезнь матери и Вера это прекрасно знала, я подумала, что она обвинит меня в предательстве, спрашивая, к примеру, почему я не могла приехать, пока мать лежала в больнице. «Фейт не дала себе труда приехать к нам» и «Не думаю, что Фейт беспокоит отсутствие Иден» — вот что я боялась услышать; отец начал приставать бы ко мне, уговаривая написать Вере «любезное письмо». Однако упреки отсутствовали, а мое имя упоминалось лишь однажды, вместе с именем моей матери, как адресат Вериной любви. Отец сказал:

— Вера ждет ребенка.

Это объявление вогнало меня в краску. Наверное, я смутилась. К счастью, тут не было Фрэнсиса, который не преминул бы на это указать.

— Бог мой, — воскликнула моя мать. — Она так долго тянула. Фрэнсису должно быть... сколько?

— В январе исполнилось шестнадцать, — сказала я.

— Ах да, она об этом пишет. «В январе Фрэнсису будет семнадцать, и я боюсь большой разницы в возрасте, когда в апреле родится ребенок. На этот раз я бы очень хотела маленькую девочку, но все равно буду счастлива, кто бы ни появился на свет...»

Отец волновался за Веру. Ее муж был далеко, в Италии, судя по их шифру, и принимал участие в боевых действиях, а его жизнь подвергалась опасности. Сын Веры жил в пансионе, и мне кажется, отец не хуже меня знал, что в любом случае Фрэнсис ей не помощник и не утешитель. Иден служила в Лондондерри, из порта которого отправлялись конвои в Северную Атлантику. Вера была одна, беременная, и, скорее всего, останется одна — если только война чудесным образом не закончится — до рождения ребенка и после того. Поэтому мой отец переживал за нее, не находил себе места и в конце концов решил ее навестить. Он поедет и пригласит Веру пожить у нас. Раньше об этом не могло быть и речи, но 1943 год оказался самым спокойным из всех военных лет. Мы все опять спали наверху. Высказывались предположения, что люди, по-прежнему ночующие в лондонском метро, приходят туда скорее ради общения, «света и веселья», чем в поисках безопасности. До «маленького блицкрига» весны 1944 года оставалось еще несколько месяцев. Казалось, что Вере у нас угрожает ничуть не большая опасность, чем в Грейт-Синдон, но зато она не будет чувствовать себя такой одинокой.

Разумеется, эта идея не понравилась матери. По-видимому, сказала она, ребенок не случайный, а запланированный. Вера понимала, на что себя обрекает. Не знаю, что отец говорил ей наедине. В моем присутствии он в основном молчал. Отец не принадлежал к числу мужчин, которые могут обсуждать возможность случайной беременности в присутствии пятнадцатилетней дочери. Мать в конечном итоге согласилась — правда, нехотя — предложить Вере пожить у нас, но категорически отказалась ехать с отцом в Синдон. Мы с ним немного поговорили в поезде.

— По тону письма, — произнес отец, — я бы не сказал, что она... как бы это выразиться?... безумно счастлива.

— Однажды я слышала, как она говорила Хелен, что хочет еще одного ребенка.

— Правда? — Казалось, это его приободрило. — Тогда я спокоен. Перед твоим рождением мы с матерью так переживали, так волновались. — Он покачал головой. — Конечно, мы были очень молоды. — Так ты думаешь, Вера счастлива?

Что за странный вопрос! Разве я когда-нибудь видела Веру счастливой? Интересно, в какой форме найдет выражение ее счастье? Я наблюдала Веру занятой, суетливой, истеричной, паникующей, торжествующей, отчаявшейся, раздраженной, сердитой, но ни разу не видела ее счастливой.

— Она любит детей, — твердо заявила я. — Вера хотела ребенка. Конечно, она счастлива. По письмам видно.

Это успокоило отца. Он вздохнул. Поезд опоздал, автобус уже ушел, и мы долго ждали следующего — нам показалось, что несколько часов. Вера стояла, перегнувшись через калитку, и пристально вглядывалась в улицу, в обоих направлениях — точно так же она высматривала Фрэнсиса, когда он не возвращался к положенному времени.

— Я уже отчаялась, думала вы не приедете. Что вас задержало? У меня два фазана, их подстрелил Ричард Моррелл, но боюсь, они уже испорчены, стали совсем жесткими.

Беременность не изменила ее — то есть не изменила характер. Но вид у Веры был больной. Зеленоватый цвет лица и волосы цвета ячменя за месяц перед жатвой. Бледная, с желтым оттенком кожа. Беременность — даже я в том возрасте знала, что до пяти месяцев она не заметна — уже округлила талию Веры. При существовавшем тогда нормировании предметов одежды пальто обошлось бы в восемнадцать из шестидесяти пяти пунктов, положенных каждому на пятнадцать месяцев, а платье — в одиннадцать, и поэтому никто бы не стал тратить купоны на одежду для беременных. Тем не менее я подумала, что Вера, всегда следившая за собой, могла бы придумать что-то получше. На ней было старое платье из жоржета с мелким красно-белым рисунком, естественно, без пояса, но с петельками, через которые он продевался, и неровным подолом, а также зеленый кардиган и шлепанцы; чулки она не надела, несмотря на ноябрьский холод.

Мы поспешили к столу. Фазаны — я впервые их тогда попробовала — были великолепными, совсем не передержанными. Вера по-прежнему прекрасно готовила, не хуже миссис Маршалл. За едой она все время говорила об Иден: о повышении по службе — ее назначили старшим радиотелеграфистом, — о подругах, о вышестоящих офицерах и о чудесной фотографии, которую она прислала. У нас такой нет? Иден обещала

отправить точно такую же моему отцу. К счастью, у нее, Веры, есть две штуки. Именно так в моем «сейфе» появился сделанный фотографом из Лондондерри портрет Иден с прической как у Вероники Лейк.

— Мы хотим тебе предложить, чтобы ты пожила у нас, по крайней мере до рождения ребенка, — сказал отец.

— Даже думать об этом не хочу. Абсолютно исключено. Невозможно. Ни в коем случае. — Вера возражала с такой решительностью, что ее пожелтевшее лицо покраснело. Потом она вспомнила о правилах хорошего тона. — Так любезно с твоей стороны, Джон, я очень ценю, — и прибавила: — Не думаю, что Вранни в восторге от *этой* идеи.

— О нет. Вранни полностью со мной согласна. Тебе не следует оставаться здесь одной. В твоём положении.

— У меня есть друзья. Иден возьмет отпуск. И Хелен тут недалеко.

Мы пытались ее убедить — то есть отец пытался. Я без особого энтузиазма вторила ему. Теперь, когда настал критический — как тогда выражались — момент, мне не очень хотелось, чтобы Вера постоянно жила у нас. После ленча она занялась вполне предсказуемым делом — одеждой для будущего ребенка. С этой целью она кропотливо распускала старый белый джемпер Иден, расчесывая шерсть перед стиркой, чтобы избавиться от узелков. Нитки, выстиранные вчера, нужно было смотать в клубок. Я держала моток, пока Вера сматывала шерсть. Завтра на короткие каникулы в середине семестра приезжает Фрэнсис. Может, я останусь, чтобы повидаться с ним?

Это предложение мне удалось вежливо отклонить. Я прогулялась по деревенской улице до дома Кембасов. Мне кажется, такая дружба, как у нас с Энн, часто встречается среди подростков. Дома подруги были моими постоянными компаньонами, а с Энн мы встречались эпизодически, но я тем не менее нуждалась в ней, и среди моих привязанностей она занимала — и занимает по прошествии сорока лет — особое место. Подобная дружба чаще встречалась в те времена, когда дети постоянно переезжали из одного безопасного места в другое, а потом обратно. Казалось, мы с ней всегда продолжали разговор с того, на чем остановились шесть месяцев или год назад. После разлуки нужно было столько всего обсудить. Энн рассказала мне любопытную вещь.

Однажды утром, в сентябре, она шла в школу, дорога в которую проходила мимо «Лорел Коттедж», и увидела, как из дома выскочила Вера — лицо несчастное, по щекам бегут слезы — и побежала через дорогу к дому приходского священника. Энн знала, что Морреллов нет. У Ричарда Моррелла умерла мать, и он вместе с женой поехал в Норвич на похороны.

Естественно, Вера проковыляла назад — Энн ждала автобуса на остановке — и вернулась домой, не переставая плакать и закрывая лицо руками.

— Фрэнсис, — сказала я. — Наверное, это проделки Фрэнсиса.

— Наверное. Его почти не было дома на летних каникулах. Вечно куда-то уезжал.

В спальне Иден я обнаружила следы ее недавнего присутствия. Она приезжала домой в отпуск. Содержимое ящиков туалетного столика изменилось. Один из них был освобожден от косметики и заполнен тонким шелковым бельем, комбинациями и французскими панталонами, по большей части абрикосового, серовато-белого и зеленовато-голубого цвета, а также шелковыми чулками в конвертах из тонкой бумаги. В другом рядом с питательным кремом «Токалон Биосел» и мерколизированным воском стоял флакончик духов «Шанель № 5». Мне еще не приходилось видеть эти духи, только фотографии. Я внимательно рассмотрела бутылочку, попробовала на запястье, понюхала — наверное, как несчастный дикарь, впервые ставший обладателем ихора<sup>[44]</sup> цивилизации.

В последний раз я рылась в личных вещах Иден. Мне исполнилось пятнадцать, и уколы совести стали слишком сильны, чтобы их можно было игнорировать. Я закрыла ящики, легла в кровать в ледяной комнате — в 1943 году никто не топил в спальнях — и стала размышлять о фотографии похожей на мадонну Иден, которую дала нам Вера, мучаясь вопросом, стану ли я когда-нибудь такой же красивой, и страстно желая этого.

На следующий день после ленча нам нужно было возвращаться домой. Но где же Фрэнсис? Вера сказала, что не ждет его раньше чая. Я подумала, что довольно странно приезжать домой на короткие каникулы в воскресенье вечером. Почему не в пятницу? Исчезновения Фрэнсиса всегда были загадочными.

Похоже, мой отец обрадовался, когда в воскресенье утром к нам заглянул Чед Хемнер. Он был еще молод, мой отец, — ему не исполнилось и тридцати восьми, — слишком молод для отца, но старомоден в своих представлениях и идеалах, словно шестидесятилетний старик. Его жизнь была размеренной и ограниченной, воспитание строгим и взыскательным, а женился он в двадцать один год. Слова Иден, сказанные во время ее визита, не поколебали его убеждения — семена которого заронила я, — что Чед официальный поклонник Иден. В иллюзорном мире отца женщины, особенно сестры и дочь, должны иметь только одного возлюбленного, обожателя, с которым они в конце концов обручатся, потом выйдут замуж и будут жить вместе, счастливо или не очень, что тоже случается, хотя по его представлениям в таких обстоятельствах счастье само собой разумеется. В

его глазах Чед был именно таким поклонником, и надменное отрицание этого факта со стороны Иден отец принял за скромность и застенчивость, которые высоко ценил. Поэтому он с радостью встретил Чеду и, казалось, не находил ничего странного в визите мужчины, которого считал возлюбленным сестры, когда сама Иден находилась в сотнях миль от дома, в Северной Ирландии, о чем отец не замедлил напомнить. Затем Вера сказала Чеду, что он должен быть рад наконец познакомиться с ее братом.

— Боюсь, мы не сможем заменить Иден.

— О, Чед виделся с Иден, когда она приезжала домой, две недели назад, — сказала Вера. — Полагаю, ему более чем достаточно. — Я никогда не слышала от нее даже намек на критику Иден и теперь была потрясена. Если мир и не перевернулся, то уж точно на мгновение накренился. — Разумеется, я шучу. Мы очень радовались ее приезду, только наша жизнь осталась такой же скучной, несмотря на все эти волнующие события в мире.

Фраза, достойная Веры, — она всегда выражалась туманно. Я с тревогой вспомнила слова миссис Кембас, сказанные мне вчера. Вероятно, ей не стоило говорить это пятнадцатилетней девочке, но она была известной в деревне сплетницей.

— Никогда ничего не рассказывай моей матери, — предупреждала меня Энн. — *Абсолютно ничего.*

Вот что сообщила мне миссис Кембас:

— Этот молодой корреспондент все время крутится возле «Лорел Коттедж». Люди не могут этого не замечать. Разумеется, тебе вряд ли уместно делать замечание тете, но твой отец мог бы намекнуть.

Я никому ничего не сказала. Для меня это было в высшей степени неприятно, и когда я думала о словах миссис Кембас, мурашки бежали у меня по коже. Такое же ощущение возникло при взгляде на Чеду, сидевшего в непринужденной позе, как у себя дома; похоже, он считал само собой разумеющимся, что его оставят на ленч — холодный фазан и тушенка, поступавшая по ленд-лизу, — и знал, где лежат ножи, помогал накрывать на стол, наливал нам в бокалы домашнее вино, которое Вера делала из бузины. Взгляд Веры почти не отрывался от него, она следила за каждым его движением, будто завороченная. Чед проводил нас до остановки, и я думала, что он уедет вместе с нами, однако, когда на горизонте показался автобус, Чед пожал нам обоим руки и произнес:

— Возвращаюсь к тихим семейным радостям.

Отец выглядел несколько озадаченным. Я знала, что Чед имеет в виду: он останется с Верой, будет держать для нее моток шерсти, читать вслух

«Санди экспресс», пока она превращает остатки старых платьев в блузу для беременных, разжигать огонь в камине и сплетничать за закрытыми дверьми. А потом придет Фрэнсис и испортит им вечер. Или эти двое найдут себе совсем другое занятие?

У моих родителей телефон стоял с 1937 года, однако они так и не привыкли к нему. Это был священный инструмент, к микрофону которого подносились губы, так что пар от дыхания конденсировался на бакелите, а каждый слог выговаривался отчетливо и громко, гораздо громче, чем при обычном разговоре. Телефон предназначался для местных звонков и экстренных вызовов, и с ним нельзя было обращаться небрежно или легкомысленно, а междугородные звонки, даже на такое небольшое расстояние, как шестьдесят пять миль, отделявшие нас от Грейт-Синдон, считались немислимыми. Отец с Верой общались посредством писем — как обычно. Иден практически не писала, за исключением поздравлений на Рождество и ко дню рождения, но именно от нее — что выглядит довольно странно — мы узнали о рождении ребенка Веры; сама же она молчала.

Поначалу Вера хотела рожать дома, что для тех времен было не таким уж редким явлением. Первые роды в домашних условиях не одобрялись, но не вызывали резкого неприятия и тем более не запрещались, как в наши дни. Кроме того, у Веры это был не первый ребенок. Однако потом она передумала и отправилась в частную лечебницу в Колчестере. Все это нам рассказала Иден, изредка звонившая из Северной Ирландии, — поступок, вызывавший у отца благоговение и не в последнюю очередь потому, что она звонила за государственный счет. Письма Веры, ни одно из которых не сохранилось, приходили нечасто — причина заключалась в трудностях передвижения пешком в плохую погоду, зимних болезнях соседей и ее, предположительно, хорошем самочувствии. Иногда в них упоминался дядя Джеральд, но без уточнения, где он находится — или, по ее мнению, находится, — и лишь как объект для предположений, вроде «интересно, что подумает Джерри», или «Джерри не поверит». Постепенно скрытность, к которой была склонна Вера и которая в значительной мере определяла ее характер, взяла верх. Письма прекратились, и все новости мы узнавали от Иден.

Отец забеспокоился. Когда закончился апрель и начался май, он стал повторять по вечерам:

— Думаю, мне нужно позвонить в Синдон. — Так сегодня человек, простой и наивный, сказал бы, что ему нужно позвонить в Австралию.

Моя мать, разумеется, никогда не поддерживала его стремление

баловать сестер. Она напоминала о стоимости телефонного разговора или говорила что-то несправедливое, но неоспоримое, например:

— Делай как знаешь, все равно благодарности не дождешься.

Мы знали, что Иден собиралась в отпуск, и отец успокоился, услышав в трубке ее голос, когда наконец решил позвонить, к чему долго готовился и обеспечил в доме полную тишину — выключил радио и закрыл окна, — прежде чем попросил телефонистку соединить его с номером «Лорел Коттедж». С Верой все в порядке, в полном порядке, но ребенок еще не родился. Да, сроки уже прошли, но дети часто появляются на свет позже, чем их ждут, правда?

— А как поживает твой молодой человек?

Должно быть, Иден раздраженно ответила: «Я не знаю, кого ты имеешь в виду, Джон», — поскольку отец рассмеялся и сказал, что не сомневается, что совсем скоро услышит свадебные колокольчики. Потом стал серьезным, вспомнив о тяжелых временах. Естественно, они ждут, когда окончится война, да?

Закончил он довольно трогательно. Иден будет держать их в курсе, правда? Отправит телеграмму, когда родится ребенок?

Брак моих родителей не назовешь счастливым. Они поженились в юном возрасте и происходили из разных слоев общества. Современные молодые люди, мои собственные дети, торжествующе заявляют:

— Но ведь брак не распался, правда? Они остались вместе. Разве это не доказательство?

Нет, не доказательство. В те времена люди не расставались — средний класс, не очень богатые. Просто не имели такой возможности. Они не изменяли супругам, не опускались до жестокости, не бросали друг друга. У них был дом, ребенок, они привыкали. А если оказывались совсем разными — не были едины душой и телом, счастливы вместе и несчастны в разлуке, — разве это основание расторгнуть брак, ценой скандала, удивления окружающих, обмана и больших расходов? Сомневаюсь, что родители даже задумывались об этом. Отец все так же раздражал мать своим глупым, наивным обожанием сестер, старомодной, рыцарской, пустой и бессмысленной идеализацией женщин, а мать в своей придиричливой ревности никогда не упускала возможности унижить его семью и высмеять родственников, в конечном итоге переходя к обвинениям в адрес всей английской буржуазии.

Я слышала, как она говорила отцу:

— Джеральд участвовал в высадке на Сицилии. Девятого июля прошлого года. Девятого июля. Отрицать бессмысленно — это история.

Он вышел из комнаты с бледным, напряженным лицом. Я тоже занялась подсчетами. Кто бы устоял перед искушением? Должно быть, подумала я, это самая длинная из известных беременностей.

10 мая пришла телеграмма от Иден. У ВЕРЫ СЫН. ОБА ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ ХОРОШО. С ЛЮБОВЬЮ. ИДЕН.

Бытует мнение, что запоминать мы начинаем только после того, как научились говорить. Люди мыслят словами, и поэтому память тоже оперирует словами — следовательно, мы не помним ничего из первых двух или трех лет жизни, когда еще полностью не овладели речью. С другой стороны, существует гипотеза, что память формируется еще в утробе матери. Джейми говорил мне, что не помнит ничего, что происходило с ним до шестилетнего возраста (за исключением фантазий), и причина, по его мнению, заключается в том, что он был очень несчастен. Психика, защищая саму себя от страданий, блокирует воспоминания. Я же очень хорошо помню его детские годы, по крайней мере отдельные эпизоды. Что еще нужно маленькому ребенку, младенцу, кроме неустанной и преданной материнской любви, которой Вера окружила Джейми?

Может быть, знание о том, что случилось и как его использовали, словно пешку в игре, заставляет Джейми считать раннее детство несчастным? Думаю, именно это и произошло, потому что я не могла ничего перепутать — настолько глубокое впечатление произвела на меня перемена, произошедшая с Верой тем летом. На мою память не повлияла травма, а предвзятость или страх не исказили увиденное или услышанное. Разумеется, сама я тогда не испытывала сильных чувств — если не считать размышлений о материнстве и попыток представить, какой матерью буду я сама, когда придет время.

Джейми крестили в августе. Я собиралась к Вере на две недели, а отец должен был присоединиться ко мне на один день и одну ночь, чтобы присутствовать на крестинах. Хорошо, что мы приехали, поскольку больше никого из родственников не было — ни Иден, ни Фрэнсиса, ни Хелен. У меня в голове уже сформировалось представление о том, как Вера будет вести себя с ребенком. Все будет подчинено строгим правилам. Железный распорядок плюс фанатичное соблюдение правил гигиены — меня не удивила бы гладка простыней, а также выстиранных пеленок. Конечно, малыш не мог сбежать, когда нужно укладываться в постель, и его не приходилось искать в доме или на улице, но в его маленькие ушки можно было вложить правило, что шесть часов — это критическая точка, время, после которого любой благовоспитанный младенец должен находиться в кроватке.

Все оказалось совсем не так. Джейми был красивым ребенком —

прямо-таки белокурый ангел. Вера писала, что у него глубокие темно-синие глаза, и это была единственная черточка, не соответствовавшая ее восторженному описанию. Его глаза, ясные, большие и внимательные, выглядели необычно и походили на переменчивый агат, словно их первоначальная синева вымывалась водой янтарного цвета. Лицо, щеки, ладони, ступни, запястья, лодыжки — все было округлым и шелковистым. Джейми исполнилось три месяца, и он уже начинал улыбаться, причем все его улыбки предназначались Вере.

На этот раз она не встречала нас у калитки, окидывая взглядом улицу и собираясь пожаловаться, что мы опоздали, что она уже отчаялась ждать и думала, что мы уже не приедем. Вера открыла дверь, держа на руках Джейми, а когда мы вошли вслед за ней в гостиную, положила ребенка прямо на пол, на одеяло, позволив ему переворачиваться, дрыгать ручками и ножками. Не стану говорить, что я не узнала бы Веру, встретив на улице. Конечно, лицо осталось прежним, и быстрые жесты — тоже, но это была скорее Вера со старых фотографий — хорошенькая, стройная, светловолосая девушка, а не суровая мегера с поджатыми губами и морщинистыми веками. Ее преобразила безмятежность, льнувшая к ней, как самое красивое платье, розовый цвет которого отражается на щеках, а осознание, что это платье тебе к лицу, заставляет сиять глаза.

— Ты очень хорошо выглядишь, — сказал мой отец, не в силах оторвать от нее взгляда; он смотрел на Веру с таким восхищением, что я, невольно возмущившись, подумала, что он никогда так не смотрел на мою мать, а также о том, как благодарна была бы она ему даже за толику подобного внимания и восхищения.

— Мне много лет не было так хорошо, — ответила Вера. — Но речь не обо мне. Как тебе Джейми? Правда, красавец? Разве он не восхитителен? Подумать только, я хотела девочку! Я не променяю его на самую красивую и благовоспитанную девочку в мире. Нет, я не говорю, что Джейми невоспитанный — он само совершенство, с ним никаких хлопот, правда, мой ангел, мой ягненок?

Не могу согласиться, что с ним не было хлопот. Мне он казался сущим наказанием, источником бесконечных забот, большая часть которых усугублялась самой Верой и ее желанием постоянно держать его на руках: она по часу кормила его и укачивала, пока Джейми не засыпал у нее на руках или на плече. Она забросила шитье и вышивание, перестала распарывать старую одежду и расчесывать шерсть, не вспоминала без конца об Иден и не хвасталась ее успехами; обвинительные речи в адрес отсутствующего Фрэнсиса также смолкли. Нам даже пришлось спрашивать

о них.

— О, Фрэнсис не приедет домой. Он так ревнует к Джейми, хотя и не признается в этом. А что касается крестин, то он говорит, что не верит в Бога с семилетнего возраста. Тогда я спросила его, во что он верит, и Фрэнсис ответил: «В себя». Очаровательно, правда?

— Жаль, что Иден не сможет присутствовать, — сказал отец.

— Ты же не думаешь, что ради крестин она проделает весь этот путь из самого Гурока, <sup>[45]</sup> правда?

— Гурока? — удивился отец. — Я думал, она в Северной Ирландии.

Очевидно, еще один секрет, еще одна тайна... Вера отвела взгляд, и на ее щеках появился румянец. Она не расстроилась и не разозлилась, хотя ее поймали на лжи или, по меньшей мере, на увиливании.

— Какая разница, где она? «На территории Англии», как официально сообщают. Нам все равно не положено знать, правда?

Она прибегла к помощи популярной фразы, которая была у всех на устах, от владельцев магазинов, получавших заказы на недоступные товары, до матерей, которых критиковали за невкусную еду: «Разве вы не знаете, что идет война?»

Джейми никогда не плакал. Ему просто не давали. Младенцы, которых носят на руках и обнимают по первому требованию, не плачут. Вера нарядила его в рубашку из белой полупрозрачной ткани, украшенную вышивкой; ее сшила моя двоюродная бабка Присцилла Нотон, и в ней крестили саму Веру, Иден, моего отца и, вне всякого сомнения, Фрэнсиса. День выдался теплый и душный, без ветра, с затянутым облаками небом. Впервые за все время, что я сюда приезжала, сад был заброшен, и на клумбах росли сорняки: кипрей, гигантский борщевик и шестифутовый коровяк, серые листья и желтые цветы которого были до дыр изъедены гусеницами. Мы пошли в церковь — Джейми на руках у Веры, а не в высокой, блестящей, черной коляске, в которой когда-то возили Фрэнсиса. Получилась небольшая процессия — к нам присоединился Чед, — которая шла по главной улице деревни, а потом свернула к церкви Святой Марии. Коровы и овцы, наводнявшие луга, когда я впервые приехала в Синдон, почти исчезли, а поля были распаханы под пшеницу и сахарную свеклу, чтобы удовлетворить потребности военного времени. Длинная, роскошная рубашка Джейми наполовину скрывала потертое, выцветшее платье из маклсфилдского шелка, которое надела Вера. Сама Вера махала рукой людям в палисадниках, мимо которых мы проходили, — такого я и представить себе не могла.

Мой отец стал крестным отцом Джейми. Других претендентов все

равно не было. Меня очень привлекала роль крестной матери, но мне никто не предложил, а спросить я стеснялась. В любом случае это не родственные отношения, а бессмысленная функция — крестными, как правило, выбирают тех, кто способен преподнести щедрые подарки на день рождения и на Рождество. Будучи крестным Джейми, мой отец не имел никаких прав на опеку над ним, когда пришло время, и не стал его приемным отцом. И, как мне кажется, даже не вспомнил, что в четырнадцать лет Джейми — он в это время учился в пансионе и проводил каникулы с графиней — положено привести к епископу на обряд конфирмации. Джейми захныкал, когда мой отец взял его на руки, а потом еще раз, когда мокрые пальцы мистера Моррелла прикоснулись к его лбу.

Когда мы вышли из церкви, я подумала, что Чед пойдет домой, но ошиблась. Он вернулся вместе с нами в «Лорел Коттедж», — нервный и озабоченный, словно ждал какого-то события или чьего-то прихода. Мой отец поговорил с ним об Иден; он не решился спросить о дате официального обручения, но этот невысказанный вопрос незримо присутствовал почти во всех его фразах, обращенных к Чеду. Нет, он не был похож на подозрительного брата, выведывающего намерения поклонника. Я вовсе не это имела в виду. В его словах чувствовались сердечность и воодушевление, словно он считал, что именно об этом больше всего хотел поговорить Чед. Я видела, что отец оценил приятеля Иден как будущего зятя и нашел его вполне подходящим. Наконец Чед не выдержал:

— Джон, мне кажется, вам следует знать, что у нашего с Иден брака нет никаких перспектив. Я не хочу, чтобы у вас сложились неправильные представления. Видимо, они уже сложились, и тут, наверное, есть и моя вина. Разумеется, я чрезвычайно польщен, но это невозможно.

Вера положила спящего Джейми на диван в гнездо из одеял и расшитых подушек и отвела взгляд. Потом соединила ладони и с силой прижала друг к другу. Я впервые видела этот жест со времени нашего приезда. У отца был смущенный и расстроенный вид. Он заметно побледнел, но попытался обратить все в шутку.

— Иден вас отвергла, да?

— Можно и так выразиться.

— Знаете, робкое сердце никогда не завоеует прекрасную даму.

— Храбрые сердца тоже не всегда побеждают. — Мне показалось, что Чед произнес это с неизбывной грустью. — Распространено убеждение, — продолжал он, — что если чего-то очень хочешь, то можешь этого добиться. Достаточно проявить упорство, чтобы получить желаемое.

Неправда. — Чед был одним из тех немногих знакомых мне людей, первым, кто мог свободно, не смущаясь, говорить о чувствах.

На воображаемой шкале открытости моя семья располагалась на противоположном конце. Я буквально видела, как отец прячется в раковину, услышав эти слова Чеда, а на лице Веры появилось сердитое, возмущенное выражение — привычное для меня. А потом Чед улыбнулся, и улыбка преобразила его, сделав молодым и красивым.

— Как бы мне не опоздать на поезд, — сказал отец.

Чед остался, и мы насладились великолепным Вериним чаепитием, измененным, но нисколько не испорченным аскетизмом военного времени: пироги с картофельным пюре и яичным порошком были не менее вкусны. Чед достал одну из своих бутылок хереса, и мы смочили вином голову Джейми. Больше никто не заикался, что мне пора спать. Однако я не могла забыть намеков миссис Кембас и обнаружила, что наблюдаю за Верой и Чедом, выискивая признаки чувств, которые, по-видимому, подозревала мать Энн. Все свои знания о любовных отношениях, тайных и открытых, я почерпнула из фильмов. Кино и театр были моей страстью. В сороковые годы адюльтер считался популярной и чрезвычайно привлекательной темой. Этот мотив присутствовал и в исторической пьесе, и в комедии, и в военной трагедии. Мне казалось, что если между Верой и Чедом действительно «что-то есть» (по выражению самой Веры), то я это непременно обнаружу. Например, войду в комнату и застаю их в объятиях друг друга, а они виновато отпрянут при моем появлении. В одном я была твердо уверена. Я считала себя слишком хитрой, чтобы меня можно было обмануть, как отца, который думал, что Чеда влекла Иден. Она просто служила ширмой, предлогом для его постоянных визитов.

Замечание миссис Кембас оставило у меня очень неприятное чувство. Со временем оно притупилось, но я все равно ощущала вину и стыд из-за своих подозрений, хотя и не настолько сильные, чтобы стать помехой для наблюдений и размышлений. Вера, казавшаяся мне уродливой, старой и измученной, когда я впервые задумалась о такой возможности и отвергла ее, теперь стала другой, помолодевшей на много лет. Мне — с моими высокими стандартами, сформировавшимися под влиянием кинофильмов и Иден, — она даже казалась вполне привлекательной, или, по крайней мере, *достаточно* привлекательной. Как бы то ни было, если объятия, поцелуи и перешептывания и имели место, я их не видела. Не наблюдалось также попыток избавиться от меня и остаться наедине.

Хелен пришла на следующий день. Они с генералом явились к ленчу. Исполненная радости, она все время смеялась — истерически, от

облегчения и счастья. Их сын Эндрю, самолет которого сбили где-то над Рейном и о котором несколько недель ничего не было известно, нашелся в плену у немцев. Им сообщили только этим утром. Именно по этой причине Чаттериссы не пришли на крестины. Хелен обняла Веру.

— Ты молодец, дорогая, что не стала обижаться. Это чудесно, когда люди так близки и все *понимают*. Я просто не могла прийти на крестины другого мальчика, когда мой собственный... — Она разрыдалась. Вера налила ей немного хереса Чеда. Генерал погладил худые, вздрагивающие плечи жены. — Какое облегчение! Знать, что он в безопасности! — Хелен тоже могла без стеснения говорить о чувствах, но только об определенных чувствах и определенным образом, считавшимся вполне допустимым.

— Твой гунн, — сказал генерал, — слывет джентльменом. — Он понизил голос, произнося эту фразу. Вероятно, считал, что она относится к категории «болтун — находка для шпиона». Но опасности никакой не было — его окружали одни женщины.

По какой-то причине Хелен принесла фотографии детей, альбомы и разрозненные снимки, словно она за пять минут до выхода из дома схватила все, что смогла найти. Патрицию, которая, как говорили, всегда была любимым ребенком Чаттериссов, теперь проигнорировали. Со всех снимков на нас смотрел Эндрю: в детской коляске, на коленях матери, на пляже, в школьной форме, в форме военного летчика, улыбающийся, молодой, казавшийся слишком молодым, чтобы принадлежать к кругу избранных. Жаль, конечно, но я не могу сказать, что при взгляде на эти фотографии что-то пробудилось в моей душе — ожидание, волнение или даже предчувствие грядущих событий; нет, ничего такого. Если подобные мысли и посещали меня, то связаны они были с Чедом. В качестве объекта моей увлеченности он начал вытеснять Иден, образ которой постепенно превращался в черно-белую фотографию — нерезкую, немую и застывшую — девушки с водопадом белокурых волос.

Тем не менее они говорили о ней, Вера и Хелен — после обеда, когда генерал дремал в кресле, а Джейми лежал на ковре, размахивая ручками и дрыгая ножками. Представления Веры о будущем Иден изменились с тех пор, как я последний раз слышала ее рассуждения на этот счет. Тогда она с грустью заявляла о своей уверенности, что Иден не вернется в Синдон, не останется тут жить.

Теперь все представлялось иначе. Иден написала Вере, что сможет вернуться на прежнюю работу, если захочет. В таком случае где же ей еще жить, как не в «Лорел Коттедж»? В настоящее время Иден служит где-то в Шотландии. Ей, Вере, это известно благодаря шифру, который они

используют в письмах, вроде того, что изобрели они с Джерри.

Ее рассуждения прервал Фрэнсис. Он появился без предупреждения, почти без звука и, к моему удивлению, подошел прямо к Хелен и поцеловал ее. Я никогда не видела, чтобы он кого-то целовал. Хелен протянула ему свою длинную, изящную руку с ярко-красными ногтями и многочисленными кольцами и, наверное, хотела сразу рассказать об Эндрю, но Вера продолжала говорить об Иден, о ее местонахождении и работе, словно не заметила прихода Фрэнсиса. Он зацепился за слова о шифре, хотя и не стал высмеивать эту идею, как в прошлый раз.

— Позвольте рассказать вам историю, которую я слышал от школьного приятеля. Его брат попал в плен к японцам. Этот человек, заключенный, написал родственникам, чтобы для него сохранили почтовые марки с письма, отклеив их над паром. Они так и поступили, и обнаружили под маркой надпись: «Японцы отрезали мне язык».

Хелен в ужасе вскрикнула и обхватила ладонями горло. Мне тоже стало страшно. Как вы можете видеть, я не забыла эту историю, несмотря на всю ее нелепость. Готова поклясться, что Вера сглотнула слюну, прежде чем обратиться у Фрэнсису.

— Наверное, тебе будет интересно узнать, что твой кузен Эндрю теперь военнопленный. Возможно, это научит тебя сначала думать о других, а потом говорить. Немедленно извинись перед тетей Хелен.

Как ни странно, Фрэнсис послушался мать — единственный случай на моей памяти. Хелен воскликнула:

— Дорогая, он не хотел. Он не мог знать!

— Хелен, мне очень жаль, — сказал Фрэнсис. Так же, как и я, он не называл ее тетей. И, что совсем неожиданно, прибавил: — Это мне нужно отрезать язык. Боже, прости меня.

— Он в немецком концлагере, — сообщила Хелен.

Тогда мы ничего не знали ни о лагерях, ни о последствиях нашей бомбардировки Дрездена. Хиросима тоже еще была впереди. Фрэнсис, отождествлявший себя с Хелен, видевший в своей судьбе отражение ее судьбы, такое же звено в цепочке безразличия или жестокости по отношению к детям в семье Лонгли, побледнел; вид у него был расстроенный. Его отличала необычная внешность, еще более эффектная, чем у Хелен: тонкая, молочно-белая кожа, светло-желтые волосы и темно-синие, почти фиолетовые глаза. Вздернутая верхняя губа покрылась капельками пота. Он напоминал микеланджеловского Давида, только раскрашенного.

Фрэнсис посмотрел на младенца на ковре таким взглядом, словно

собирался пнуть его. Я испугалась. Фрэнсис был таким странным, таким непохожим на других людей. Я легко могла представить ситуацию, когда он хладнокровно убивает Джейми и сообщает Вере о том, что сделал. Генерал спал, умудрившись во сне закрыть лицо номером «Санди экспресс». Джейми захныкал, и Вера тут же взяла его на руки; круглая щека малыша прижималась к ее худой щеке. Хелен сменила тему, но тоже не очень удачно.

— Знаешь, дорогая, мне кажется, что у него будут карие глаза. В таком случае он будет первым кареглазым Лонгли.

Фрэнсис смотрел на нее, не шевелясь.

— Я не помню, чтобы у Джерри были карие глаза, — сказала Хелен. — Наверное, мне должно быть стыдно? Не знать цвета глаз зятя... Вот что с нами делает война. Я убеждена, что они цвета ореха. Правильно?

— У моего отца голубые глаза, — бесстрастным голосом сообщил Фрэнсис. Странно, но эти слова прозвучали как первая фраза какой-то пьесы — возможно, забытой, никогда не исполнявшейся пьесы Чехова.

Джейми закрыл глаза и уснул на руках у матери.

Вера кормила его грудью. Интересно, какой вывод сделает из этого факта Дэниел Стюарт? Сам Джейми придавал ему огромное значение и с его помощью, если можно так выразиться, обезопасил себя. Это позволило ему уклоняться («отвернуться», по его собственному выражению) от правды о матери. Разумеется, Фрэнсис все отрицал. Он помнил детские бутылочки, кипятившиеся на плите в больших кастрюлях с двумя ручками, в которых Вера обычно варила джем. Я тоже их помню. Хотя никто никогда не утверждал, что у Веры хватало молока для Джейми, чтобы обойтись без прикармливания. Приходилось использовать порошковое молоко в бутылочках. Иден в кормящую сестру не верила. Я вспоминаю ее слова:

— Вера кормит Джейми? Ты имеешь в виду, вот так? — С откровенной вульгарностью человека, стесняющегося высказаться прямо, Иден подняла руки и поднесла к собственной груди, повернув ладонями внутрь. — Нет, невозможно. Она даже Фрэнсиса не кормила!

Я никогда не видела кормящую женщину. Только представительницы богемы отваживались обнажить грудь в присутствии других людей, за исключением мужа или своей матери. В 1940 году никто не задирал футболки в вагонах метро. Я об этом серьезно не задумывалась, хотя грудное вскармливание вновь входило в моду. И когда я открыла дверь спальни Веры после ее ответа: «Входи» — хотела предупредить, что иду купаться с Энн, — то была крайне смущена открывшейся картиной. Земной и грубой, никак не ассоциировавшейся с семейством Лонгли. По приезде я

обратила внимание на пышный бюст прежде плоскогрудой Веры. Округлая белая грудь, которую сосал Джейми, не помещалась в лифе платья — и другая тоже, не прикрытая, как можно было предположить, зная скромность Веры, а тоже обнаженная, с каплей молока на соске.

Вера сидела на стуле, который я прежде не видела: деревянная конструкция с высокой спинкой, короткими ножками и круглым сиденьем, старинный стул для кормления грудью, которым пользовались еще мои бабка и прабабка. Вера сидела, выпрямив спину, расставив ноги и склонив голову, словно разглядывала не перестававшего сосать ребенка. Джейми лежал на ее согнутой в локте руке. Второй рукой Вера поддерживала его светлую, покрытую легким пушком головку. Такого лица я у нее никогда не видела — юное, нежное, необыкновенно ласковое, любящее.

Теперь я жалею, что мы не решились заговорить. Возможно, это кое-что прояснило бы, помогло понять. Однако Вера не произнесла ни слова, лишь позволяя мне наблюдать эту глубоко земную, необыкновенно трогательную картину.

— Можно мне пойти купаться? — спросила я. — К дамбе?

Вера подняла голову и улыбнулась. Кивнула. Я взяла купальные принадлежности и сбежала вниз по лестнице. И, похоже, не останавливалась всю дорогу до дома Энн. Нельзя сказать, что я была очень смущена, и уж точно не шокирована. Мое тело переполнилось волнением и энергией, которая требовала выхода. Я впервые пошла на речку после того, как мама рассказала мне о Кэтрин Марч. Мне эта история представлялась абстрактной, потому что я не могла представить Веру, которая возится с ребенком. Моя мать не заходила так далеко, чтобы обвинять Веру, и считала, что та просто забыла о девочке. Я спросила Энн, слышала ли она о том происшествии, но не упомянула имени Веры, сказав только, что однажды на берегу реки оставили ребенка, который пропал из коляски и которого больше никогда не видели.

Энн ответила, что слышала о пропавшем ребенке, но подробностей не знает. Мы пошли вдоль берега реки к тому месту, где по какой-то причине — вероятно, имевшей отношение к насосной станции, — берега укрепили и забетонировали, в результате чего образовалось глубокое озерцо. В те времена животный и растительный мир был гораздо разнообразнее, чем теперь, — буйство полевых цветов, бабочки, стрекозы. Очистка и стерилизация сельской местности Англии еще не начались. На месте оставались живые изгороди и глубокие, влажные, нераспаханные заливные луга. Мы любовались зимородками, пикировавшими над прудом и демонстрировавшими свое яркое оперенье.

— Вера сама кормит Джейми, — вдруг объявила я, неожиданно для самой себя. — Своим молоком. — Я стеснялась произнести «грудью» в присутствии Энн.

— Да, знаю, — ответила Энн. — Она говорила маме. Вера всем рассказывает.

Я очень удивилась. Вера никогда не скрывала, что недолгоблывает миссис Кембас.

Мы разделись. Под платьем у нас были купальные костюмы. Энн умела нырять, хотя ей запрещали нырять в озерцо. Показавшись на поверхности, она сказала:

— Это все дети, правда? Неродившийся ребенок Элси, теперь ребенок твоей тети, а еще был тот, который исчез. Вы в школе проходили «Макбета»?

Книга входила в список обязательного чтения для получения школьного аттестата — для Энн и, вероятно, для меня.

— В «Макбете» полно маленьких детей и молока, — сказала Энн. — Ты должна прочесть. Очень странно, что в пьесе, где столько ужасов, говорится о младенцах и молоке, правда?

Я спросила, сама ли она до этого додумалась или услышала от учительницы английской литературы. От учительницы, призналась Энн. Но я все равно обещала прочесть, потому что история Веры тоже была связана с маленькими детьми и молоком.

Через день после возвращения домой я пошла в театр. В тот год я посещала театр почти каждое воскресенье. Звучит громко, однако на самом деле я покупала места на балконе, с раннего утра выстаивая очередь за билетом, стоившим по нынешним меркам сущие гроши, полкроны или три шиллинга, причем иногда на дневной спектакль, а иногда на вечерний. Мы ходили в театр вдвоем или втроем — школьные подруги.

Жаль, что я точно не помню, что смотрела в тот субботний вечер. Думаю, это было в Кембридже, и, кажется, там шел мюзикл под названием «Песня Норвегии». Дэниел Стюарт может проверить, если посчитает важными сведения, которые я должна ему сообщить. За тот год, а также за предыдущий и два последующих, я пересмотрела массу спектаклей: видела Ричардсона и Оливье в исторических пьесах Шекспира в Новом театре, «Царя Эдипа», «Критика» и «Веселое привидение» на Пиккадили, а также и «Частную жизнь» в театре «Форчун». Но я точно помню, что в тот вечер шел мюзикл — в большом театре, где балкон возносился к небесам, и от взгляда вниз начинала кружиться голова, даже если ты не боишься высоты. Нам повезло. Мы сидели в центре первого ряда.

Кто-то процитировал «Короля Лира», которого мы недавно смотрели:

Какая жуть — заглядывать с обрыва  
В такую глубь!<sup>[46]</sup>

Разумеется, мы смотрели через перила на макушки зрителей, сидящих в партере, в самом низу. Нас так и подмывало что-нибудь сбросить на эти головы — например, апельсиновые корки. Апельсинов мы не видели уже несколько лет. Я обратила внимание на золотистые волосы женщины, и в это мгновение она вскинула голову, хотя взгляд ее не поднялся выше бельэтажа. Голова принадлежала Иден.

Отреагировала я довольно странно. Мгновенно — думаю, резко дернувшись — отвела взгляд и откинулась на спинку сиденья. Тут смотреть было не на что, за исключением потолка с обычной барочной росписью из херувимов и цветов. Я снова заставила себя взглянуть вниз: голова никуда не исчезла, все так же повернутая, с поднятым подбородком. Сомневаться не приходилось — это Иден. В моду начинали входить шиньоны, и ее волосы были уложены в сложное сооружение, с локонами и завитками, переходящими в волну, и словно специально предназначенное для того, чтобы смотреть на него сверху. Вероника Лейк уступила место Алексис Смит. Мне не удавалось рассмотреть наряд Иден — что-то белое из мягкой, тонкой ткани. Но определенно не форма вспомогательной службы военно-морских сил Великобритании. Иден пришла с мужчиной, который сидел рядом с ней. Я поняла это, потому что видела, как он прикасался к ней. Голова Иден повернулась к мужчине. Должно быть, ей что-то попало в глаз. Их лица сблизилась, и рука мужчины с ослепительно-белым платком, выделявшимся среди преобладавших внизу темных и золотистых тонов, поднялась к глазу Иден и — вне всякого сомнения, очень ловко — извлекла ресницу или пылинку. Я сразу же вбила себе в голову — исключительно по этой причине, — что мужчина врач. На нем был черный костюм. На самой макушке среди каштановых локонов виднелась маленькая лысина.

Свет померк, потом совсем погас, и занавес поднялся. Я никак не могла выбросить их из головы. Спектакль не помогал. Самое странное, что я очень боялась, что Иден меня заметит. Понимаете, я чувствовала, что она не желает афишировать свое пребывание в Лондоне, и ей было бы неприятно узнать, что я ее видела. Официально она была в Лондондерри или в Шотландии. Разве меньше двух недель назад Вера не говорила мне, что Иден в Шотландии, что отпуск она брала недавно и поэтому не может

рассчитывать на следующий?

В спектакле было два антракта. Из-за сегрегации между партером, бельэтажем, первым ярусом и нами, бедными обитателями балкона, которые даже пользовались отдельным входом, вероятность встречи была невелика. Тем не менее я боялась столкнуться с ней и ее приятелем-врачом. Почему-то у меня не возникало сомнений, что при встрече Иден отзовет меня в сторону и начнет лгать. Не знаю почему, но я была в этом уверена. Попросит не говорить отцу и Вере о нашей встрече и приведет явно выдуманную причину необходимости сохранять тайну, например, что она была в Лондоне с некоей секретной миссией, имеющей отношение к войне. Наверное, я этого боялась потому, что во мне еще теплились остатки «пылкого увлечения», а полное избавление от иллюзий никому не доставляет удовольствия, даже если к нему стремишься. Во время второго антракта я осталась в зале, хотя все остальные вышли.

Почему мне не пришло в голову, что самая большая опасность поджидает меня после спектакля, на улице? Просто не пришло. Когда опустился занавес и под звуки национального гимна, который всегда исполнялся в те дни, зрители встали, я подумала, что все обошлось.

Это могла быть улица Странд у театра, или Шафтлсберри-авеню, или Хеймаркет. Но мне кажется, это была Чаринг-Кросс-роуд в том месте, где Шафтлсберри-авеню упирается в Кембриджскую площадь. Долгая тирания светомаскировки к тому времени почти закончилась, и здесь было разрешено частичное затемнение, хотя в конце августа — и в последующие несколько недель, из-за нехватки рабочей силы и ламп — Вест-Энд все еще оставался погруженным во тьму. Сияла полная луна, которую не заслонял смог или дым. Мы шли по тротуару среди толпы. Вдруг люди расступились, словно подчиняясь ремарке в тексте пьесы или команде режиссера, и я оказалась прямо перед Иден — она стояла у края тротуара, ожидая, когда можно будет перейти дорогу, и спутник держал ее за руку. Сегодня они, наверное, ловили бы такси, а тогда шли к станции метро, вероятно, «Лестер-сквер».

Нас разделяло не больше трех ярдов. Мои губы уже складывались в слабую улыбку, а с языка было готово соскочить: «Привет, Иден», когда ее взгляд — внимательный, немигающий — встретился с моим взглядом, задержался на секунду, а затем скользнул в сторону. В этот момент все чувства к ней, которые еще теплились в моей душе, исчезли окончательно. Я была потрясена, потому что считала ее взрослой, а себя еще наполовину ребенком; меня охватили смутение и стыд — за нее. Несомненно, Иден меня видела. Я не сомневалась, что она меня заметила и узнала. Ничто не

убивает быстрее, чем презрение, и презрение затопило меня жаркой волной, так что я закрыла руками пылающее лицо, пытаюсь охладить его пальцами. Иден и ее приятель перешли через дорогу и затерялись в толпе, но когда я закрыла глаза, ее изображение снова появилось на моей темной сетчатке: красивое, утонченное лицо, похожее на лицо Фрэнсиса, красная, как у клоуна, помада, цвета почтовых ящиков, выделявшаяся на фоне белой кожи, синие глаза, похожие на стеклянные шарики, и золотистые волосы, как у херувима на потолке театра. На ней было белое платье, струящееся, в многочисленных складках; ноги без чулок обуты в белые туфли, как у Бетти Грейбл,<sup>[47]</sup> с каблуками, заставлявшими высоко поднимать ноги, словно лошадь.

Расскажи я об этой встрече отцу, он предположил бы, что я ошиблась. Я много об этом думала. Представляла, как опишу Иден, если отец спросит, и как он, услышав о греческом платье и золотистом сооружении из волос, скажет:

— Не похоже на мою сестру. Ты приняла за нее кого-то другого.

Разумеется, нет. Это была Иден, и она была в Лондоне, когда все считали, что она в Шотландии. Загадки и тайны, обожаемые Лонгли, пополнились новой загадкой и новой тайной. Я задавала себе вопросы: служит ли еще Иден во вспомогательных войсках или нет, живет ли она в Лондоне или приехала сюда на время. Мне даже казалось — подобные события способны вызывать параноидальные мысли, — что я единственная, кто не посвящен в эту тайну, а все остальные, в том числе отец и Вера, точно знают, где Иден, но по каким-то непостижимым причинам скрывают от меня; Вера уже все знала, когда однажды сказала отцу, что Иден в Лондондерри, а на следующий день — что в Гуроке. А бедный Чед, с такой грустью — так мне казалось — говоривший о своей неспособности добиться любви Иден, хотя в желании попробовать у него не было недостатка?

Я обнаружила, что сама создаю тайны. Недаром во мне течет кровь Лонгли. Конечно, я пытаюсь выстроить из этих воспоминаний определенную последовательность, располагая события и, если можно так выразиться, открытия в хронологическом порядке. И только гораздо позже, много лет спустя, я узнала правду. Тогда я о многом узнала. Иден уволилась из женской вспомогательной службы военно-морских сил. В том августе уже прошло девять месяцев, как она перестала быть старшим радиотелеграфистом подразделения вспомогательной службы, расквартированного в Лондондерри или в Шотландии, где она, как

выяснилось, никогда не была. В Лондоне Иден работала секретарем и компаньонкой старой дамы, леди Роджерсон, проживавшей на Белгрейв-сквер. Самое странное, что она получила эту работу через кого-то из благородных родственников Чеда, с которым тот ее познакомил, хотя сам Чед оставался в полном неведении. Иден просто использовала его для того, чтобы сделать очередной шаг к своему главному шансу, — как и любого, кто мог оказаться полезен. Она переехала на Белгрейв-сквер, и совсем скоро (по ее словам) леди Роджерсон стала смотреть на нее как на дочь... или, скорее, племянницу. Мужчина с курчавыми каштановыми волосами приходился леди Роджерсон кем-то вроде кузена, и у него тоже имелся титул, хотя я не могу вспомнить, какой именно. Как бы то ни было, вовсе не его подцепила Иден, которая в конечном итоге извлекла пользу из проживания в Белгрейвии.

Обо всем этом Вера прекрасно знала.

Я привыкла считать «Лорел Коттедж» домом Веры и испытала шок, когда услышала, как отец говорит матери, что, наверное, дом нужно продать и разделить вырученную сумму между ним, Верой и Иден. Именно так завещала бабушка. Но отец отказался от своих прав, потому что Вере нужно было место, которое станет домом для Иден, а затем началась война, разрушившая все. Если повезет, продажа «Лорел Коттедж» даст пятнадцать тысяч фунтов, и отец много рассуждал, на что израсходует свою долю в пять тысяч — сделает пристройку, переедет в другой дом, купит машину, отремонтирует гостиную, поедет в Швейцарию познакомиться с родственниками матери, — снова и снова тратя деньги в своем воображении. Для банковского менеджера, которым он только что стал, отец был очень наивен в своем отношении к деньгам.

Практичная и гораздо более реалистичная, мать с самого начала не верила в эти деньги. Она принадлежала к той категории женщин, которые не стесняются повторять: «Я тебе говорила». Другая ее любимая фраза: «Вот увидишь, что я права». Так обычно и получалось.

— Когда умерла твоя мать, я предлагала продать дом. Джеральд купил бы дом для Веры, а Иден могла бы переехать к нам. И тогда все могло бы сложиться иначе.

Действительно, могло бы.

— Прежде всего, Иден так не важничала бы, — говорила моя мать. — Никому не идет на пользу, если его превращают в идола.

Отец обиженным тоном ответил, что она преувеличивает. Я попыталась представить, как бы это выглядело: Иден в роли моей старшей сестры. Я понятия не имела, звучало ли когда-нибудь подобное предложение. И повлияло ли бы это на — по выражению Эллиота — «тайное переплетение человеческих судеб», изменив ход событий — и тогда на прошлой неделе Вера на свой семьдесят восьмой день рождения пришла бы ко мне на чай вместе с Хелен? И с Иден, бодрой шестидесяти-трехлетней блондинкой? Может, к нам заглянул бы Фрэнсис, чтобы по своему обыкновению внести раздор — словно богиня Эрида,<sup>[48]</sup> принеся золотое яблоко на пир. И Джейми не менял бы фамилию, а оставил свою, и не отправился в добровольную ссылку? Но мне почему-то кажется, что ничего не изменилось бы — учитывая войну и характеры участников драмы.

Иден нам не писала. Вера писала часто, продолжая утверждать, что Иден в Шотландии, в женской вспомогательной службе военно-морских сил. Отец не отступал от традиции читать ее письма вслух за завтраком, и, слушая подробности жизни Иден, я начала думать, что она виновна лишь в том, что приехала в отпуск в Лондон, не навестив нас и не увидевшись с Верой. Мы пережили обстрелы ракетами «Фау-1», закончившиеся только после того, как союзники захватили стартовые площадки ракет в Па-де-Кале. Однако заявление Дункана Сэндиса, который в сентябре сказал, что «битва за Лондон закончена, и осталось сделать лишь несколько выстрелов», оказалось преждевременным.

В этом же месяце на нас обрушились «Фау-2», первые ракеты, летевшие так быстро, что до взрыва услышать их было невозможно. Но к тому времени ты уже был либо мертв, либо жив, в зависимости от обстоятельств. Мы окрестили их «летающими газопроводами»,<sup>[49]</sup> в отличие от «Фау-1», которых называли самолетами-снарядами — перед тем как взорваться, они завывали гораздо громче. Одна из последних «Фау-2», достигших Англии, упала на Колчестер и угодила прямо в частную клинику, в которой Вера родила Джейми; пострадали несколько сотен человек, и больше пятидесяти погибли. Отец впал в панику, переживая за Веру и Джейми. Он предположил, что это новая фаза войны, нечто вроде лебединой песни агрессора, решившего обрушиться на Англию.

Через пять месяцев все закончилось. Если к этому времени Иден все еще служила в военно-морских силах, то она должна была войти в число первых пяти миллионов человек, демобилизованных из вспомогательных служб. Эрнст Бивен объявил, что увольнения начнутся 18 июня, и неделю спустя Вера в письме сообщила нам, что Иден демобилизована. Даже моему отцу это показалось странным. Джеральду пришлось ждать гораздо дольше, и домой он попал только осенью 1945 года; к тому времени Фрэнсис уехал учиться в Оксфорд, а Вера, разнообразия ради, приехала к нам на каникулы.

Думаю, моя мать согласилась на это потому, что любила маленьких детей — качество, встречающееся у женщин гораздо реже, чем можно предположить. Большинство людей, что бы они ни говорили, находят общество младенца утомительным. Моя мать, будучи очень умной, беспощадной и резкой со взрослыми, проявляла бесконечное терпение с детьми. Она любила повторять, что ей нравится, что они еще не научились увилывать, хитрить и притворяться.

В то время Джейми было месяцев пятнадцать. Он отличался

необычной внешностью — красивой, но необычной: светло-оливковая кожа и белокурые волосы. А глаза карие; не светло-коричневые, не ореховые, не синие с золотистыми крапинками, а явно темные, почти черные, того насыщенного цвета, какой встречается у испанцев или даже индусов. И он не был похож ни на кого из родственников. Знаете, иногда младенец явно напоминает кого-нибудь из дядей, тетей или предков и даже кажется его точной копией, но когда начинаешь изучать отдельные черты лица, сходство исчезает. Я часто рассматривала альбомы со старыми семейными фотографиями Лонгли и Нотонов, каждый раз отмечая, что маленькая Вера, к примеру, выглядела реинкарнацией своей двоюродной бабки Присциллы, а при взгляде на моего отца сразу же вспоминался старший Уильям, сапожник. Иден и Фрэнсиса, как я уже говорила, можно было принять за близнецов. Джейми был самим собой — и только. На Лонгли он походил не больше (если не считать белокурых волос), чем на Джеральда, с его длинным лицом и почти остроконечной головой — по словам Хелен, сам Джеральд приписывал это (не знаю, насколько справедливо) узкому тазу матери и чрезвычайно продолжительным родам. Я решила, что Джейми, должно быть, похож на кого-то из предков по фамилии Хильярд, но их семейных альбомов в моем распоряжении не было.

Он не отходил от матери. Иначе и быть не могло, поскольку с самого рождения круг его общения ограничивался почти исключительно Верой. Я знаю, что моя мать с удовольствием поиграла бы с ним, поговорила, усадила к себе на колени, но у нее практически не появлялось такой возможности. Нельзя сказать, чтобы Джейми много плакал. Просто не реагировал на чужих. Молча сидел или стоял, сунув большой палец в рот, не отвергая и не приветствуя попытки общения, а если кто-то усаживал его к себе на колени, он настороженно и скованно терпел ласки, улыбки и заигрывания, все больше напрягаясь, а потом соскальзывал на пол и, протягивая руки, шел к Вере. Следует отдать ей должное, она не особенно поощряла такое поведение. Мне кажется, Вера была мягче, чем обычно. Вела себя гораздо любезнее с моей матерью, уговаривала Джейми «пойти к тете Вранни». (После замечания Хелен Вера никогда не предлагала использовать обращение «тетушка».) Однажды вечером она даже согласилась выйти на прогулку с моими родителями, оставив меня в роли няньки. Джейми, гордо заявила Вера, приучен к тому, что в шесть часов пора спать, и поэтому не беспокоит ее по ночам.

В то лето людям нравилось гулять по Лондону. Жизнь еще оставалась суровой: ни вкусной еды, ни хорошей одежды, ни роскоши или даже комфорта, нехватка бензина, — но театр и кино переживали настоящий

расцвет. Всех охватило восхитительное опьянение от того, что можно свободно, не подвергаясь опасности, гулять по освещенным улицам, зная, что с неба на тебя не обрушится тьма. Радостным голосом, без какой-либо жалости к себе или желания вызвать сочувствие, Вера сказала:

— В первый раз за три года я пойду гулять вечером.

Джейми проснулся через десять минут после их ухода. Теперь я убеждена, что события того вечера — разумеется, за исключением того, что проснулся Джейми, — были каким-то образом спланированы Верой и Иден, преследовавшими свои цели, но все пошло не так. Вечер получился неудачным. По крайней мере, для одной из них. Вероятно, для Иден. Когда связь поддерживается в основном при помощи писем, организовать все не так просто. Вера очень хотела пойти на прогулку в пятницу, а не в субботу, и поэтому я подозреваю, что она заранее договорилась с ними на субботу, но Иден все перепутала. Теперь я убеждена, что сестры задумали *демонстрацию* — в присутствии моих отца и матери, а также Тони Пирмейна. Прежде чем переходить к новому жизненному этапу, Вера с Иден хотели показать этим трем людям, самым важным для них — не думаю, что меня принимали в расчет, ведь мне было всего семнадцать, — как они устроили свою жизнь и как к ним следует относиться.

Тот факт, что Джейми проснулся, поверг меня в панику. Я почти ничего не знала о маленьких детях и понятия не имела, что с ними делать, когда они плачут. Мне хотелось закрыть дверь к Джейми и уйти подальше, чтобы не слышать его плача, или заткнуть уши ватой.

Разумеется, я этого не сделала. Потихоньку открыла дверь и заглянула в комнату. Джейми увидел меня, и негромкий плач превратился в рев. Он стоял в кроватке, которая когда-то была моей, и тряс прутья решетки, а я подумала: как странно, что мы сажаем наших детей за решетку и до сих пор не придумали другого ограничительного устройства взамен прутьев. Это была моя последняя связная и логичная мысль.

Джейми впал в истерику и поначалу даже не позволял мне прикоснуться к нему. Он метался по кроватке взад-вперед, пытался оттолкнуть и ударить меня, когда я хотела взять его на руки. Наверное, с тех пор я слышала детский крик и погромче, например собственных детей, но плач Джейми в тот вечер отпечатался в моей памяти как некая концентрация ужаса — возможно, потому, что это было ничем не сдерживаемое проявление настоящего горя, настоящей боли и утраты. У меня нет сомнений в искренности Веры, утверждавшей, что Джейми не проснется, поскольку он не просыпался уже много месяцев подряд. Я уверена, что она осталась бы дома, если бы предполагала, что он может

проснуться. Джейми первый раз в жизни, проснувшись, не увидел мать — более того, вместо нее обнаружил кого-то другого. Его отчаяние и ужас казались безграничными. Наконец мне удалось взять его на руки и отнести вниз. Он был насквозь мокрый — от слез, соплей, мочи и пота.

У меня никак не получалось унять Джейми. Вера больше не кормила его грудью, но, отняв от груди, приучила к чашке, а не к бутылочке. Ни одному ребенку в семье Лонгли не было позволено сосать соску. Я пыталась заставить его сунуть в рот большой палец, но Джейми заплакал еще сильнее — впоследствии я узнала, что Вера несколько месяцев отучала его от этой привычки, смазывая палец горьким соком алоэ. Успокоить его я не могла и решила: пусть плачет, — а сама тем временем неумело сменила ему пеленку и пижамные штанишки, вытерла лицо. К тому времени я пребывала почти в такой же панике, как он. Джейми плакал уже полчаса, и лицо его побагровело, на лбу вздулись вены. Я слышала, что у маленьких детей бывают судороги, и боялась, что с ним может случиться подобный приступ — а может, уже случился, поскольку я сомневалась в своей способности распознать судороги, если они начнутся.

— Больше никогда в жизни не соглашусь сидеть с детьми! — крикнула я. И почти сдержала этот зарок.

Тут раздался звонок в дверь.

Мы пережили тяжелые времена, мы пережили войну, но почему-то в те дни чувствовали себя в большей безопасности. Останься я сегодня вечером одна, в частном доме в пригороде Лондона, то два раза подумала бы, прежде чем открыть дверь, и обязательно спросила бы, кто там. Тогда эта мысль не пришла мне в голову. Зажав рыдающего Джейми под мышкой — в книжках с картинками я видела, что так фермеры носят визжащих свиней, когда идут на рынок, — и прикрикнув на него, чтобы он заткнулся, я открыла дверь. На ступеньках стояла Иден с незнакомым мужчиной.

— Господи, дорогая, я в жизни не слышала такого ужасного крика! Шум на всю улицу.

— Вы пытались его убить, а мы вам помешали? — спросил мужчина.

Вероятно, причиной этого вопроса стал мой способ перемещения бедного Джейми. Я вскинула малыша на плечо, и он повис на мне, всхлипывая.

— Ты не собираешься пригласить нас в дом? — спросила Иден. Типично для Лонгли. Характерная особенность этой семьи — задавать необязательные, бессмысленные, риторические вопросы человеку, попавшему в беду. Я шире открыла дверь и отступила назад.

Измученная криком Джейми, я все же сохранила остатки

наблюдательности и заметила, как они сюда добрались, — и была поражена. У края тротуара стоял красный спортивный автомобиль. (Неужели Иден действительно слышала плач Джейми с другого конца улицы, сидя вот в *этом*?) Оба гостя выглядели так, словно собирались рекламировать автомобиль в каком-то шикарном журнале, издающемся, наверное, в Южной Африке или Новой Зеландии, потому что у нас не было ничего шикарного — ни журналов, ни одежды, ни людей, чтобы ее носить. Но эти двое сияли, как кинозвезды. Они даже выглядели чище, чем все мы, — вне всякого сомнения, так оно и было, если вспомнить о нехватке бензина и мыла. На Иден был льняной костюм, синий в белый цветочек, а на ее спутнике — блейзер с эмблемой, указывавшей, что он занимался греблей или играл в крокет, и белоснежная рубашка, накрахмаленная и словно покрытая инеем, как мороженое «Уолл». Даже мне он казался молодым: двадцатипятилетний мужчина с румяным лицом и каштановыми волосами, похожий на Ричарда Бертон, о котором тогда еще никто не слышал.

Разумеется, Иден не собиралась нас знакомить. Не обращая внимания на плач Джейми, она осматривала наш обшарпанный холл, из которого убрали импровизированное бомбоубежище, оставившее царапины на дубовом паркетном полу; на окне рядом с входной дверью все еще уныло висели шторы светомаскировки.

— Я Тони Пирмейн, — сказал мужчина. — Как поживаете?

Я представилась, но, полагаю, пока они ехали в машине, Иден уже вкратце рассказала ему, что он здесь увидит.

— Все ушли, — сообщила я, перекрикивая Джейми.

— Все?

Интересно, откуда я знала, даже тогда, что Иден притворяется? Наверное, она была плохой актрисой.

— Разве ты не знаешь, что Вера здесь?

— Вера? Здесь?

Разумеется, это было неожиданно. Вернее, было бы неожиданно, если бы она не знала.

— Ну конечно. Это Джейми. Ты его не узнаешь?

— В таком возрасте они быстро меняются. Ты не можешь что-нибудь сделать, чтобы прекратить этот ужасный крик?

Тони Пирмейн протянул руки и взял у меня Джейми. Произошло чудо. То ли от него приятно пахло, то ли он излучал уверенность, передававшуюся не с помощью пяти чувств, а как-то иначе, но приятель Иден являл собой олицетворение безопасности, безмерной доброты и

сердечности, надежных рук. Как бы то ни было, Джейми почувствовал это и заткнулся. Он прижался лицом — снова мокрым, липким и потным — к гладкой ткани блейзера Тони и замолчал, лишь изредка сглатывая, как будто никак не мог отдышаться. У бедного Тони был дар общения с детьми. Он любил детей, и они отвечали ему взаимностью, тянулись к нему, как булавки к магниту, становясь в его присутствии тихими и послушными. Трагедией всей его жизни стало то, что своих детей у него не было, а единственный ребенок, которого он мог полюбить и который мог полюбить его, волею обстоятельств испытывал к нему отвращение.

В тот вечер Джейми в первый раз увидел Тони. Когда я рассказала ему, как Тони взял его на руки и успокоил, он отказывался верить, не желал слушать и настаивал, что я ошибаюсь. Наверное, это был другой приятель Иден, а не Пирмейн, холодный, безразличный и избавившийся от него при первой же возможности — впрочем, это было в традициях семьи Лонгли, начавшихся с Хелен и продолжившихся Фрэнсисом. Но именно Тони, а не кто-то другой совершил это чудо. Я стояла в холле, испытывая огромное облегчение, наслаждаясь восхитительной тишиной и почти не осознавая, что за моей спиной стоит Иден.

— Куда они пошли?

— Прогуляться. В Вест-Энд. Может, в кино.

— Какая досада!

Я провела Иден и Тони в гостиную. Их молодость и красота, их новенькая элегантная одежда подчеркивали недостатки дома, в котором за шесть военных лет ни разу не красили фасад и не меняли мебель. Пружины кресла, в которое опустился Тони с Джейми на руках, лопнули, и сиденье провалилось почти до пола. В доме не было ни спиртного, ни кофе, а чая осталось совсем немного. Я чувствовала, что Иден в любую секунду может спросить, почему я не предлагаю им что-нибудь выпить. Единственное, что у меня было, — апельсиновый сок с газированной водой, очень похожий на эрзац. Я хотела предложить «государственный» апельсиновый сок Джейми, но испугалась гнева Веры. Холодильника у нас, конечно, не было, и сок я могла подать только теплым.

Время приближалось к восьми, а мои родители с Верой вряд ли вернутся раньше половины одиннадцатого. Джейми заснул, и Тони отнес его наверх. Но не стал сразу возвращаться, а присел у кровати и подождал немного, желая убедиться, что ребенок спит. На Иден были очень красивые туфли из белой кожи, открытые, с дырочками и высокими каблуками. Всем остальным приходилось довольствоваться сабо на деревянной подошве. Я до сих пор не знаю, где и как она их достала. Два, три и четыре года спустя

мы все еще выстаивали в длинных очередях ради шанса стать обладателем пары сандалий «Джойс». Но у Иден всегда имелись знакомые, которые могли достать ей вещи, были связаны с черным рынком, ввозили в страну товары в чемоданах дипломатов и школьных рюкзаках, торговали талонами на одежду, умели обойти очереди и хранили товар «под прилавком» специально для нее. Иден сидела в другом кресле, чуть лучшего вида, и созерцала эти туфли, поглаживая правую ногу, покоившуюся поверх левой; она смотрела на правую туфлю, слегка склонив голову набок, так что длинный локон золотистых волос свесился вперед. Потом, не поворачивая головы, сказала мне:

— Он один из Пирмейнов — ну, ты знаешь.

Я не знала. Мне стало стыдно моей старой белой блузки и широкой юбки в сборку.

— Полагаю, ты иногда ходишь в магазины, правда?

— Ах, *этот* Пирмейн, — сказала я. — Ты имеешь в виду Брюстера и Пирмейна?

Сван и Эдгар, Дебенхэм и Фрибоди, Маршалл и Снелгроув, Брюстер и Пирмейн.<sup>[50]</sup> Я расстроилась. Начала стесняться Тони, хотя раньше чувствовала себя раскованно. Хотела спросить Иден о том вечере в театре, но после этого открытия по поводу Тони почему-то не решилась. А Иден, если можно так выразиться, воспользовалась ситуацией и, словно почувствовав благоговейный страх, вызванный ее словами, прибавила:

— Я познакомилась с ним на вечеринке у леди Роджерсон.

Должна ли я была знать, кто такая леди Роджерсон? Может, Вера говорила мне, когда сообщала о «демобилизации» Иден? До меня дошло, как мало я знаю о тетке.

— Леди Роджерсон относится ко мне как к дочери. Естественно, я сопровождаю ее, когда она едет в Фонтлендс. Мы снова собираемся на двенадцатое.

Меня эта фраза поставила в тупик. Думаю, прошло года два, прежде чем я поняла, что Фонтлендс — это деревенское поместье Пирмейнов в Йоркшире (с куропаточьей пустошью), леди Роджерсон — пожилая женщина, у которой Иден была компаньонкой, а «на двенадцатое» означает двенадцатое августа, когда начинается охота на куропаток. Иден спросила, когда вернутся остальные, и, услышав, что часа через два, объявила, что они вряд ли будут ждать. Вернувшийся Тони сообщил, что «бедный паренек» крепко спит, и спросил, слушала ли я сегодня радио. Интересно, подумала я, какие еще могут быть новости?

— Мы сбросили на японцев новую бомбу, — сказал Тони.

— Какую? — Мне было не очень интересно. — Вроде «Фау-2»?

— Похоже, больше, — ответил он. — На город Хиросима, или как он там правильно называется. — Тони произнес «Хиро-шима». — Война на Дальнем Востоке теперь закончится, вот увидите. Я оставил дверь к пареньку открытой, чтобы вы могли услышать, если он снова заплачет.

Они уехали на красном спортивном автомобиле. Замечание Тони о том, что я собираюсь убить Джейми, было единственной шуткой — или даже намеком на шутку, — которую я от него когда-либо слышала. Его семья владела универсальным магазином, а кузина была замужем за итальянским аристократом. Тони был скучен, как стоячая вода, и богат, как золотой прииск. Кроме того, он был красив — куда там Чеду, бедному, непривлекательному и открывавшему рот только затем, чтобы сказать что-нибудь интересное, забавное или провокационное. Иден выглядела довольной, когда уезжала; дурное настроение, в которое она пришла, увидев, что ни Веры, ни моих родителей нет дома, рассеялось. Разумеется, даже в их отсутствие она достигла почти всех целей, поставленных перед этим визитом, а если Вере не было от этого никакой пользы и для нее ситуация даже немного ухудшилась, тут уж ничего не поделаешь.

Мой отец считал себя представителем среднего класса. Он все время повторял это — со стыдливой гордостью. О чем отец никогда не говорил вслух, так это о том, что у среднего класса, в отличие от бедных и богатых, не бывает супружеских измен, хотя это был важный аспект его убеждений. Ему даже в голову не приходило, что его сестра может быть неверна мужу. Отец с матерью не очень ладили, и даже нельзя утверждать, что в глубине души они любили друг друга, я уверена, что не любили, но, пока мать жива, мой отец не мог даже подумать о другой женщине. Для него это было равносильно воровству или мошенничеству в банке. Поэтому когда Джеральд вернулся домой и они с Верой почти сразу расстались, отец не стал задаваться вопросом почему и не пришел к выводу, подобно всем остальным, что у Веры был роман с Чедом Хемнером, а возложил всю вину на Джеральда. Поначалу, однако, он вообще не признавал, что Вера с Джеральдом расстались.

Вера ничего ему не сказала. Это не в ее правилах. Разумеется, никто не предполагал, что Джеральда демобилизуют. Он был кадровым военным. Мы думали, что Джеральд приедет домой в отпуск, а потом Вера уедет с ним — туда, куда отправят служить его полк, возможно, в Германию в составе оккупационной армии. «Лорел Коттедж» продадут, а вырученные деньги поделают на три части. Тем не менее в письмах Веры не было и

намека, что она собирается вместе с полком Джеральда куда-то в район Любека; причину своего желания остаться она тоже не объясняла.

Той зимой Иден довольно часто приходила к нам, обычно одна, но один раз привела Тони Пирмейна, чтобы познакомить с моими родителями. По поводу Веры и Джеральда она загадочно молчала. То есть создавала впечатление, что все знает, но не желает открывать тайну. Мы узнали от Хелен.

Они с моим отцом никогда не ладили. Он ее недолюбливал. И даже был близок к тому, чтобы признаться: он обижается на нее за то, что Хелен лучше обеспечена и занимает более высокое положение в обществе, чем дети моего дедушки от второго брака. На его отношение никак не влиял тот факт, что Хелен приобрела все это потому, что от нее отказался родной отец. Слишком манерная, все время повторял он. Однако до открытой ссоры дело никогда не доходило. Хелен написала ему, спрашивая, не возражает ли он против устройства свадебного торжества Иден в ее доме, и в этом же письме упомянула о разрыве между Верой и Джеральдом.

Отец, по крайней мере, был в курсе, что Иден собирается замуж за Тони Пирмейна. Ему сказали, но в самую последнюю минуту. Вечером позвонила Иден, а утром новость появилась в «Таймс». Разумеется, Иден стеснялась сказать потому, что это был Тони — несмотря на то, что в глазах брата он должен выглядеть более чем подходящим женихом, большой удачей и все такое, — а не Чед Хемнер. Мой отец искренне не понимал подобных вещей и вел себя так, словно человеческие существа по природе своей моногамны и образ единственного партнера навеки отпечатывается в их мозгу, как у серых гусей или гиббонов. По его глубокому убеждению, смена однажды выбранного супруга равнозначна нарушению законов природы. С мрачным видом он повесил трубку и, качая головой, направился к нам через всю комнату. Я даже почувствовала жалость к Иден, которая весело болтала, явно не подозревая, что ее сообщение вызовет у брата такой ужас.

Вероятно, отец принимал Тони за какого-то родственника работодателя Иден (к тому времени мы уже знали о леди Роджерсон) и думал, что Иден время от времени подрабатывает у него секретарем. Мой отец мог убедить себя в чем угодно, даже в самом невероятном — если очень старался.

— Я понятия не имел, — сказал он, растерянно проводя рукой по лбу. — Мне казалось, Иден встречается с тем милым парнем, которого мы видели на крестинах. Не понимаю я всех этих метаний. Интересно, что ее не устроило в том журналисте?

— Бедноват, — предположила мать.

— Не обязательно всю жизнь провести с одним человеком, — сказала я, предвидя, что в этом отношении у меня могут возникнуть трудности, и не желая, когда придет время, вступать в продолжительные дискуссии с отцом. — По крайней мере, если они встречаются в восемнадцать лет, а не в шестьдесят. — Мне стало противно. — В любом случае, я не думаю, что Иден любила Чеду или он ее. Мне кажется, это была не любовь.

— А что же тогда? — спросил отец. — Неужели он приходил в дом ради Веры?

Это было сказано язвительным тоном, как абсолютно нелепая гипотеза, недостойная серьезного обсуждения. Странное сочетание сарказма с невинностью вызывало неловкость. Отец был невинным. Точно таким же тоном он мог предположить, что Чед приходит к Вере потому, что собирается купить ее дом, или потому, что радиоприемник у Веры ловит лучше, чем у него. Я промолчала, наблюдая, как в глазах матери появляется лукавое выражение, а уголки губ раздвигаются в улыбке.

На следующий день мы прочли заметку в «Таймс»: «Объявляется о помолвке и скором бракосочетании между Энтони Ферфаксом Пирмейном, единственным сыном мистера и миссис Оливер Пирмейн из Фонтлендса, Рипон, Йоркшир, и Эдит Мэри, младшей дочерью покойных мистера и миссис Артур Лонгли из Грейт-Синдон, Эссекс».

Через несколько дней пришло письмо от Хелен. Оно не относилось к той категории, которую отец читал вслух за завтраком. Прочтя письмо, он вышел из комнаты, захватив конверт с собой. Через некоторое время вернулся, взволнованный и расстроенный, и протянул письмо матери — сначала первый лист, а затем, нехотя, второй.

— Очень подходящее место для свадьбы, — сказал он, делая над собой усилие. — У них милый дом. — Казалось, отец вспомнил — что еще больше ухудшило его настроение — о своей обиде на Хелен, которой достался Уолбрукс, хотя никогда не мог убедить себя в том, что он или другие члены семьи имеют права на дом. Потом раздраженно повернулся к матери. — Сама видишь, что пишет эта глупая, тщеславная женщина.

— Ты имеешь в виду свадьбу?

Мать очень хорошо знала, что речь вовсе не о свадьбе, и просто хотела спровоцировать отца.

— Разумеется, нет. Мою сестру Веру. От этой ужасной женщины одни неприятности. Естественно, моя сестра не хочет жить в Германии, в общежитии для семейных офицеров.

Но ущерб уже было не возместить. Правда прозвучала. Мать лишь

посмотрела на него взглядом, который появился у нее недавно и использовался в тех случаях, когда отец вел себя так, словно, по ее выражению, «его сёстры суть двойное воплощение Девы Марии». Склонила голову набок. Широко раскрыла глаза и как можно выше вскинула брови.

Интересно, какое предположение высказала Хелен? Самого письма я не видела — оно исчезло уже давно. Возможно, отец уничтожил его в тот же день. Сомневаюсь, однако, что Хелен зашла так далеко, что высказала то, о чем думала моя мать и что выложила отцу несколько месяцев спустя во время одной из ссор, обидевшись на сравнение с сестрой — естественно, не в ее пользу.

— Джеральд прекрасно знает, что Джейми не его ребенок. Он понимает, что это абсурд. Возможно, он глуп, но не до такой степени, чтобы не знать, что беременность у женщины не может длиться десять месяцев!

Эти случайно подслушанные слова смутили меня. Мне ничего не хотелось знать, и я с нетерпением ждала осени, чтобы уехать в Гиртон и больше не слышать, как родители изводят друг друга, бередя никогда не заживающие раны. К тому времени я уже давно произвела необходимые подсчеты и пришла к такому же выводу, что и мать: беременность Веры никак не могла продолжаться 312 дней. Я также привыкла к мысли о Вере и Чеде и даже почти убедила себя, что стала свидетелем их объятий и поцелуев. Пока я спала в комнате Иден, говорила я себе, Чед приходил к Вере, неслышно поднимаясь по лестнице. Хотя на него это не похоже. Все выглядело как-то нелепо. Вера старше его, и это заметно, чувство юмора у них разное, вкусы не совпадают. Но к тому времени я уже знала, что отношения между полами — штука загадочная и не поддающаяся рациональному объяснению. Разумеется, Джейми — сын Чеда; именно поэтому Чед пришел на крестины, а многие другие не пришли. У Джейми такие же карие глаза и светло-оливковая кожа. Я предполагала, что Вера разведется и Чед женится на ней, и это вызывало у меня легкое разочарование и раздражение. В глубине души я верила, что он мог бы получить меня, стоило лишь немного подождать.

Вскоре стало ясно, что Вера собирается жить одна в «Лорел Коттедж». Думаю, по этому поводу были еще письма и телефонные звонки, а также один разговор между моим отцом и Иден. С Иден сложностей не возникло. Она выходила замуж за человека, семья которого, как сообщила мне Хелен, владела пятью загородными домами. Тони и Иден могут выбрать любой, какой пожелают.

— Прощай новый дом, новая машина, отпуск в Швейцарии, — сказала моя мать.

— Все равно всего этого мы не смогли бы себе позволить, — ответил отец.

— Что-то одно тоже неплохо.

Я хотела сказать им, что совсем скоро Чед, вне всякого сомнения, даст приют своему ребенку и матери своего ребенка, но, естественно, промолчала. Для моего отца Чед был милым парнем, который все еще любит Иден. А мать, явно получавшая удовольствие от мысли, что Джейми никак не может быть сыном Джеральда, никогда не позволяла себе строить предположения относительно его отца, словно ребенок появился на свет в результате партеногенеза, и это само по себе было абсолютно недопустимым нарушением приличий.

Иден обвенчалась с Тони Пирмейном в церкви Святой Марии в Грейт-Синдон; это произошло ясным, солнечным днем лета 1946 года, в субботу.

Вы не поверите, но на свадьбе Иден я была подружкой невесты. На платье не пришлось тратить ни единого купона, потому что весь шелк Иден привезли из Гонконга, какой-то знакомый из государственной авиакомпании. Часть времени я провела в доме Хелен, часть — у Веры. Именно на той неделе, перед свадьбой Иден, когда я жила в «Лорел Коттедж», мы с Верой и Джейми отправились на прогулку, которая привела нас к дому, где Вера нашла тело старой миссис Хислоп. В тот день она была со мной откровеннее, чем когда-либо, но все же не до такой степени, чтобы говорить об исчезновении Кэтлин Марч.

Довольно странно, что, мысленно расставляя в хронологической последовательности свои воспоминания о Вере и Иден, Чеде, Фрэнсисе и Джейми, я добралась до этого места именно в тот день, когда Дэниел Стюарт написал мне о своем открытии. Ночью накануне того дня, когда пришло письмо, мне даже снилась Кэтлин Марч — словно невидимый наблюдатель, я смотрела на Веру и Мейвис, сидевших на берегу реки, и на брошенную без присмотра коляску с ребенком, которая стояла среди кипрея и таволги. Мимо меня по мосту прошел отец Кэтлин, ослепленный головной болью. Я проснулась от ужаса, вызванного контрастом между солнечным лугом, синим небом и черным, покрытым чешуей монстром, словно сошедшим с иллюстрации к волшебной сказке Эндрю Лэнга<sup>[51]</sup> — просто не верится, что женщина моего возраста способна вообразить такое. Чудовище схватило ребенка, и я с криком проснулась — так обычно пытается кричать спящий. Накануне вечером я читала роман М. Р. Джеймса «Меццо-тинто», в котором описывался похожий случай.

С утренней почтой от Дэниела Стюарта пришла новая глава. На эти факты он натолкнулся случайно. Он убежден, что никто не заметил связи. Ему хотелось бы узнать мое мнение на этот счет.

В анналах нераскрытых убийств (читала я) случай в Кирби-Тейстон считается одним из наиболее странных и в то же время недооцененных криминалистами. Может, из-за того, что у него много общего с загадкой Констанс Кент? Или потому, что до недавних пор самые важные действующие лица этой драмы были еще живы?

Констанс Кент из деревни Роуд в Сомерсете, молодую девушку, которой еще не исполнилось и двадцати, судили за убийство маленького единокровного брата и оправдали. Семнадцатилетняя Мей Дарем из

деревни Кирби-Тейстон в Норфолке была арестована по подозрению в убийстве двухлетней единокровной сестры, но затем отпущена без предъявления обвинений. Констанс, которая так и не избавилась от подозрений и косых взглядов, окончила жизнь в монастыре. Спустя более чем полвека Мей Дарем, тоже подвергшаяся остракизму, семья отправила под присмотром тети в Австралию, где через пять лет Мей умерла от туберкулеза. В обоих случаях настоящий преступник так и не был найден.

Деревня Кирби-Тейстон с населением пятьсот человек расположена к западу от Норвича. В 1922 году там жило гораздо больше народу, а двухполосную автостраду, которая теперь делит деревню на две части, еще не построили. В деревне была церковь Святого Михаила и Всех Ангелов, а большой особняк под названием Тейстон-холл, некогда родовое поместье ветви семейства Дигби из Холкема, вот уже двадцать лет занимал Чарльз Элетред Дарем с семьей. Великолепный образец английского деревенского дома, Тейстон-холл был построен еще в пятнадцатом столетии, но в конце девятнадцатого века почти полностью перестроен в стиле барокко Генри Диллом, учеником Арчера,<sup>[52]</sup> и получил изогнутый южный фасад, восьмиугольный салон и холл с потолочными фресками Торнхилла. Дарем был сыном богатого владельца хлопковой мануфактуры из Рочестера, жившего в Викторианскую эпоху, но ни он сам, ни его отец ничем не занимались, а вели жизнь деревенских джентльменов. Сад в конце девятнадцатого века проектировал ландшафтный архитектор, чей талант не уступал таланту Лоудона,<sup>[53]</sup> однако Дарем, дилетант с художественными амбициями, вскоре после переезда в Тейстон выкопал цветочные бордюры и розарии и принялся создавать сад по образцу тех, которые он видел, путешествуя по Италии — в Банье, Сеттиньяно и на вилле Д'Эсте в Тиволи. Было установлено огромное количество статуй, и в 1922 году еще продолжались работы по сооружению лестниц, бассейнов с каменной резьбой, искусственных руин и храмов, необходимых для «итальянизации» сада.

Сорокашестилетний Дарем был женат во второй раз. Его первая жена, Гонория Филби, умерла в возрасте двадцати семи лет, оставив ему сына Чарльза, которого все называли Чарли, и дочь Гонорию Мэри, известную как Мей. Семь лет спустя, в 1917 году, Дарем женился на дочери врача, имевшего обширную практику в Норвиче. Ее звали Ирен Макалистер, и к 1920 году она родила супругу троих детей, Эдварда, Джулиуса и Соню. Последнее имя пользовалось популярностью в конце десятых и начале двадцатых годов — причиной тому была не русская революция 1917 года, а

героиня одноименного романа Стивена Маккены, вышедшего в том же году. Однако маленькую девочку все звали Санни, отчасти из-за ее чрезвычайно веселого нрава, а отчасти из-за того, что ее так окрестил братик Эдвард.

Таким образом, в тот момент, когда произошло убийство, население дома было многочисленным и включало мистера и миссис Дарем, Чарли, Мей, Эдварда, Джулиуса и Санни, а также слуг, в том числе дворецкого по имени Томас Чепмен, экономку миссис Дидс, кухарку миссис Браун, двух уборщиц, горничную, посудомойку, няню миссис Сары Керингл и помощницу няни Бесси Стоунбридж. За садом следили три садовника: Джон Уильямс, старший садовник, а также Томас Причард и Артур Бейли. К Тейстон-холлу примыкали обширные земли, в том числе тридцать акров леса. В них сохранились фазаны и куропатки, Дарем держал егеря, Роберта Джефсона, который занимал коттедж на территории поместья, рядом с другим домиком, в котором жил старший садовник Джон Уильямс. В мае 1922 года отсутствовал только Чарли, второй год учившийся в Оксфорде, в Вустер-колледже. Все были на месте, и более того, к жителям дома прибавились гости Джефсона — как всегда в это время года, к нему приехала сестра с мужем и двумя детьми. Цель визита была двоякой: отдохнуть и помочь Джефсону в довольно скрупулезной и трудоемкой работе по сбору выпавших из гнезд яиц пернатой дичи и подкладыванию их под кур или под уже высиживающих потомство фазанов. В этих краях фазан считался священной птицей, охраняемой на всех стадиях жизненного цикла, и за несколько лет до описываемых событий даже имел место неприятный инцидент, когда предшественник Джефсона, пожилой мужчина из Бримли, застрелил кота Мей Дарем, застав домашнего любимца за обезглавливанием птенцов фазана. Чарльз Дарем не просто уволил его, а отправил на крохотную пенсию, отобрав маленький домик, в котором тот жил на протяжении сорока лет.

Мей была очень красивой девушкой семнадцати лет и девяти месяцев от роду, с прекрасными темными глазами и черными волосами, такими длинными, что она могла сидеть на них, хотя в последнее время начинала задумываться, не постричься ли по последней моде. Образование она получала дома, причем гувернантка уехала лишь в минувшем декабре, и Чарльз Дарем собирался отправить ее во Францию в пансион благородных девиц, но этой весной Мей познакомилась с молодым архитектором из Норвича Терри Уоткином. Юноша сделал ей предложение, но Дарем отказался объявлять официальную помолвку, пока молодые люди лучше не узнают друг друга. Таким образом, Мей жила дома, и делать ей было

особенно нечего — вместе с мачехой она ходила в гости, составляла букеты, играла в теннис. Похоже, у нее не было никаких увлечений или интересов; ее считали способной пианисткой, однако после отъезда гувернантки девушка ни разу не открывала крышку рояля. Отношения с мачехой были сложными, хотя Мей, по всей видимости, преодолела острую обиду и бурное возмущение, возникшие после повторной женитьбы отца. Маленьких единокровных братьев она любила, играла с малышами, брала на прогулки, с удовольствием возилась с ними, и друзья семьи одобрительно улыбались по поводу предполагаемого брака с Уоткином, намекая, что Мей будет прекрасной матерью.

Вот только Санни она не любила — по крайней мере, так говорили. Трудно вообразить красивую, здоровую, благополучную девушку семнадцати лет, которая ненавидит двухлетнюю сестру, особенно если учесть, что ребенок славился общительностью и «солнечным» характером. С другой стороны, две особенности Санни могли — если Мей действительно была параноиком, почти психопаткой — вызвать патологическую к ней ненависть. Девочка была удивительно похожа на мать, миссис Ирен Дарем, и отец обожал ее, возможно, в ущерб своим чувствам к Мей. Джорджина Халлам-Саул, единственный писатель, уделивший довольно много внимания трагедии в Кирби-Тейстон, выдвинула необычное предположение. Суть его вот в чем: в начале двадцатого века, а если точнее, то приблизительно с 1910 по 1940 год, существовало что-то вроде культа, приравнивавшего белокурые волосы к красоте, в результате чего темноволосые женщины считались менее красивыми, чем блондинки, причем независимо от других достоинств, таких как черты лица, фигура или цвет глаз. Как указывалось выше, Мей Дарем была темноволосой, с очень смуглой, оливкового оттенка кожей и карими глазами — похожей на мать. Чарльз Дарем теперь предпочитал белокурых; второй раз он женился на очень светлой, белокожей блондинке, а у их дочери Санни были золотистые волосы и голубые глаза. Мисс Халлам-Саул предполагает, что по этой причине Мей завидовала единокровной сестре и затаила на нее обиду, однако тут мисс Халлам-Саул верна своей теории о Мей как о преступнице.

Не подлежит сомнению, что Мей редко брала с собой маленькую девочку, когда шла гулять по саду или окрестностям, тогда как мальчики всегда сопровождали ее на прогулке или при посещении многочисленных домашних животных, которые жили в семье Дарем, — пони, овчарки, будка которой находилась рядом с конюшней, цесарок в специальном загоне, кроликов староанглийской породы. Тем не менее майским утром 1922 года,

во вторник, Мей Дарем, которая вместе с Эдвардом и Джулиусом впервые пошла посмотреть котят, появившихся на свет неделю назад, она взяла с собой и Санни. Это был второй выводок котят, принесенный кошкой, и животное, как и в первый раз, предпочло устроиться не в специальном гнездышке, которое Мей устроила в своей спальне, а в дупле дуба.

Никто не знает, что произошло во время прогулки. И никогда не узнает. Мей просто сказала, что потеряла Санни. Кошка, всегда ласковая с хозяйкой, поцарапала Эдварда, как только он до нее дотронулся, и несколько минут Мей занималась только им, успокаивая и вытирая кровь носовым платком. Дерево, где кошка устроила себе логово, стояло на краю леса, не очень далеко от дома, за конюшнями и загоном. По словам Мей, она думала, что Санни сидит на бревне рядом с Джулиусом, но когда повернулась, то увидела, что Джулиус на месте, а девочка исчезла.

Джулиус Дарем, которому теперь шестьдесят шесть лет, не помнит, что случилось в тот день. Тогда ему было только три года. Его брат Эдвард, который на восемнадцать месяцев старше, припоминает кое-какие подробности, но признается, что большая часть этих «воспоминаний» могла сформироваться уже потом, из того, что ему рассказали.

— Кошка Мей поцарапала мне руку. Крови я не помню, но Мей обнимала меня и говорила, что я должен быть храбрым. Конечно, я кричал и плакал; Мей завязала мне руку платком, и мы все принялись искать Санни, но, как вам известно, безрезультатно.

Похоже, Мей не очень волновалась. Она подумала, что девочка сама пошла домой — довольно странное умозаключение, если учесть, что Санни было всего два года и часть любого расстояния она привыкла преодолевать у кого-нибудь на руках. А когда Мей вернулась домой с мальчиками, то не стала спрашивать о Санни. Полиции девушка объяснила это обстоятельство так: на дорожке, соединявшей конюшни с той частью поместья, где стояли домики садовника и егеря, она увидела Бесси Стоунбридж, помощницу няни, которая разговаривала с женщиной, а рядом с ними — маленькую девочку, которую приняла за Санни. На самом деле ребенок был не девочкой, а мальчиком, племянником егеря, а женщина — его матерью. Мей Дарем была близорука, но из тщеславия перестала носить очки.

Таким образом, исчезновение Санни обнаружили только через час. В тот день Даремы устраивали теннисный турнир — молодых людей из числа соседей пригласили поиграть, а их родителей посмотреть. Причард заново разметил корт, и Мей вместе с ним проверяла высоту сетки (одна теннисная ракетка, поставленная вертикально, плюс головка ракетки, повернутая горизонтально), когда к ним подошла няня Сара Керингл и напомнила, что

пора кормить Санни ленчем. Ошеломленная Мей призналась, что она считала, что ребенок с Бесси, однако Бесси последние полчаса провела в детской с мальчиками.

Были организованы поиски Санни. Поначалу в поисковую команду входили Чарльз Дарем, Джон Уильямс и Артур Бейли; позже к ним присоединились миссис Дарем и Мей. Первым из гостей, прибывшим на турнир, — в Тейстон-холле не осталось никого, кроме Эдварда и Джулиуса, которых кормили ленчем, — был Терри Уоткин, и он тоже присоединился к поискам. Санни нигде не нашли, и Чарльз позвонил в местную полицию. Терри Уоткину выпала незавидная доля отправлять назад гостей, пришедших на вечеринку.

Полиция приехала довольно быстро — деревенский констебль и сержант из Норвича. Они принялись расспрашивать всех, кто мог видеть Санни, начиная со слуг внутри и снаружи Тейстон-холла, и заканчивая жителями деревни Тейстон-Кирби. Никто не признался, что видел ее после одиннадцати утра. В ту ночь обитателям Тейстон-холла пришлось лечь спать, так и не дождавшись известий о Санни.

На следующее утро тело девочки было найдено собакой Джефсона всего в пятидесяти ярдах от бревна, на котором она сидела рядом с братом. Тело лежало в неглубокой ямке, выкопанной в перегнутое из листьев — сделать это можно было голыми руками. Девочке перерезали горло.

В том, что это убийство, сомнений быть не могло. Характер смерти исключал несчастный случай. Приехали сотрудники из Управления уголовных расследований Норвича и допросили Мей. Сара Керингл сообщила им, что когда мисс Мей пришла за детьми, на ней было синее платье из набивного хлопка, но высоту теннисной сетки девушка уже проверяла в льняной юбке и черно-белом джемпере. Полицейские спросили Мей, почему она переделалась *перед* тем, как проверять сетку, а не после ленча или перед приходом гостей. Мей ответила, что платье испачкалось кровью из расцарапанной руки Эдварда. Именно после этого Мей отвезли в Норвич в полицейский участок.

Она провела там одну ночь, а на следующий день ее отпустили. Главный инспектор Джон Финч удовлетворился объяснением, что Эдварда поцарапала кошка Мей, а на одежде убийцы не могло остаться лишь несколько пятен — она должна была быть буквально залита кровью. Вместе со своими подчиненными он переключился на деревню и ее жителей, которые считались не столь уважаемыми гражданами, как соседи из Тейстон-холла, — например, того, кто провел ночь в тюрьме за пьянство и буйное поведение, или другого, известного браконьера. Нет нужды

говорить, что в Тейстон-Кирби не нашлось ни одного человека, которого можно было заподозрить в приставании к ребенку, не говоря уже о жестоком убийстве.

Именно на этом этапе полицейские пришли к родственникам Джефсона, гостившим в коттедже. В убийстве в Кирби-Тейстон есть одно очень странное обстоятельство: в тот день, когда было обнаружено тело Санни, Финчу сказали, что у Джефсона в доме живет сестра с зятем и племянником, которому два с половиной года, однако инспектор не проявил к ним никакого интереса и не делал попыток поговорить с ними, пока не прошло *пять дней после* исчезновения девочки. Когда он пришел допросить их, гости уже уехали и вернулись в свой дом в Синдон-Роуд, графство Эссекс.

Сестру Роберта Джефсона звали Адель, а ее мужем был Альберт Марч.

За два года до этих событий семья Марч тоже потеряла ребенка, тоже девочку и тоже двухлетнюю — дочь Кэтлин. По всей видимости, данный факт не был известен инспектору Финчу, а вопросы, которые он задавал, не позволили это выяснить. Мисс Халлам-Саул в своем анализе случая в Кирби-Тейстон также не касается этого аспекта. Ее упоминание о семье Марч ограничивается двумя абзацами в главе, посвященной характерам и прошлому наемных работников Тейстон-холла.

В своем сборнике «Убийство в Восточной Англии» Джеймс Мур-Уайт отдает должное загадке Кирби-Тейстон, но лишь вскользь упоминает о Марчах в следующем абзаце:

*Главный инспектор Финч обратился к миссис Джефсон, жене егеря, за разрешением обыскать дом. Целью обыска были испачканная кровью одежда и нож, орудие убийцы. Миссис Джефсон ответила, что инспектор может смотреть везде, где потребуется, а они с мужем отлучатся на час или два. Им нужно на железнодорожную станцию в Норвич — проводить ее брата и невестку, которые гостили у них.*

Какие же вопросы задавал Финч Альберту и Адель Марч? Вероятно, о том, видели ли они девочку Санни и не заметили ли подозрительных людей, слонявшихся поблизости. На оба вопроса супруги ответили отрицательно, покинули дом, и больше их не допрашивали.

Убийцу Санни Дарем так и не нашли. Ирен Дарем обвиняла во всем

падчерицу, в качестве мотива называя неконтролируемую ревность. Находясь на грани нервного срыва — она была беременна, когда убили Санни, и неделей позже у нее случился выкидыш, — Ирен дала девушке пощечину, когда та пыталась выразить сочувствие, и заявила мужу, что они с Мей больше не могут жить под одной крышей. Помолвка с Терри Уоткином так и не состоялась — он не повторил своего предложения. Терри появился всего один раз, на следующий день после несостоявшегося теннисного турнира, а потом уехал. Постепенно всем стало ясно, что в деревне считают Мей убийцей единокровной сестры и убеждены, что ее не судили только из-за отсутствия доказательств. Однажды деревенские мальчишки закидали ее камнями, и ей пришлось зашивать лоб.

Считал ли ее виновной отец? Вместо пансиона во Франции Мей отправили в санаторий в окрестностях швейцарского Бруннена — согласно официальной версии, в результате нервного напряжения у нее ухудшилось здоровье. Еще до этих событий у Мей подозревали чахотку, и именно от туберкулеза она умерла пять лет спустя, проведя последние четыре года в Мельбурне с сестрой отца, мисс Мэри Дарем. Или семье Дарем как-то удалось скрыть тот факт, что Мей совершила самоубийство?

Чарльз Дарем умер в 1939 году, его вторая жена Ирен — в 1962-м, а его сын Чарли — через пять лет после мачехи. Сын, которого Ирен родила в 1925 году, названный Колином Джонатаном, погиб в 1964 году во время восхождения в Гималаях. Из семьи Дарем из Тейстон-холла в живых остались только Эдвард и Джулиус. Сам дом теперь превратился в конференц-центр. Старший садовник Джон Уильямс умер в 1932 году, Томас Причард — в 1942-м, Артур Бейли — в 1946-м, а Сара Керингл — в 1952-м. Бесси Стоунбридж вышла замуж, родила четверых детей и в настоящее время — восьмидесятичетырехлетняя миссис Драйбург — живет у замужней дочери в Абердине. Из остальных слуг, выполнявших работу по дому, в живых осталась только посудомойка Маргарет Оттер. Восьмидесятилетняя одинокая женщина живет недалеко от Норвича. Роберт и Китти Джефсон, у которых не было детей, умерли в 1970 году с интервалом в несколько месяцев. Адель Марч умерла в возрасте девяти лет за месяц до того, как пишутся эти строки, пережив первого мужа, Альберта Марча, на пятьдесят лет, а второго, Уильяма Бэкона, — на шестнадцать.

Пропавшей Кэтлин Марч было два года. Столько же, сколько Соне — «Санни» Дарем. Обеих оставили на попечение юной девушки, и на каждую девушку легло несмываемое пятно — клеймо детоубийцы, вслух об этом не

говорили, но думали. Однако общим знаменателем в обоих случаях выступает Альберт Марч; известно, что он проходил по мосту у запруды в Синдоне примерно в то время, когда пропала его дочь, а также был в Тейстон-холле в момент исчезновения Санни Дарем. За десять лет в период с 1920 по 1930 год — с женитьбы Марча до его смерти — на севере Эссекса и юге Суффолка пропали как минимум пять девочек в возрасте от восьми месяцев до полутора лет. Во время войны 1914–1918 годов во Франции Марч был ранен в голову и всю оставшуюся жизнь страдал от сильных головных болей, наподобие мигрени. Может быть, ранение привело и к другим повреждениям мозга, так что под воздействием почти невыносимой боли Марч совершал действия, которые не осознавал и о которых забывал, как только боль проходила?

Я отложила листы рукописи, шокированная и растроганная, как, наверное, и рассчитывал Дэниел Стюарт, — но по причине, которую он не мог и предположить. Несомненно, я признавала серьезность его гипотезы о том, что теперь факты указывают на виновность Альберта Марча и с Веры можно снять подозрения в убийстве Кэтлин, но это меня несколько не взволновало; я никогда не считала Веру способной убить ребенка.

Похолодеть — так что я отложила листы и невидящим взглядом уставилась в пространство, вспоминая, — меня заставило совсем другое. Имя Джонатана Дарема. Джонатан Дарем был лучшим другом Тони Пирмейна и впоследствии женился на одной из подружек его невесты, как и положено лучшим друзьям, но что происходит крайне редко. Тот ли это Джонатан Дарем? Наверное. Я помню, что он был альпинистом и жил где-то в Норфолке. И возраст подходящий. Вот оно, тайное переплетение человеческих судеб. Я помню Джонатана так же хорошо, как и все события того дня, — свадьбы Иден.

Подружек невесты нарядили в платья цвета душистого горошка — мне достался светло-фиолетовый. В розовом была Эвелин, не помню ее фамилии, и именно она потом вышла за Джонатана. Иден отказалась надевать скользкий атлас и облачилась в пышное платье, сшитое (как она рассказывала мне и Вере) из двадцати ярдов белого тюля. Ночь накануне венчания она провела в «Лорел Коттедж», и Вера первой увидела ее в этом потрясающем наряде с обтягивающим лифом, узкими рукавами и пышной юбкой. Девушка, работавшая местным парикмахером (она жила вместе с родителями на Инкерманской террасе в соседнем доме, который когда-то принадлежал семейству Марч), пришла в девять утра, чтобы сделать прическу сначала Иден, а потом Вере. Мои волосы, прямые и длинные, не

нуждались в укладке. Ночь прошла как в старые добрые времена: Фрэнсис спал в комнате на противоположной стороне лестничной площадки, а мы с Иден делили ее спальню, причем кровати стояли точно так же, как можно дальше друг от друга. Когда Иден выдвинула ящики туалетного столика, разыскивая пинцет для бровей, меня охватило чувство вины, и я спрашивала себя, не заметила ли она, что кто-то рылся в ее вещах — там мог остаться длинный каштановый волос или отпечатки не очень чистых пальцев двенадцатилетней девочки. Но вскоре стало очевидно, что Иден выбросила из туалетного столика всю старую косметику и парфюмерию. Теперь она шагнула вверх по общественной лестнице, и ей подходили только самые дорогие туалетные принадлежности, французские. Однако утонченность Иден не распространялась на убранство комнаты. Прежде чем лечь спать, она сняла со стены фотографию статуи Питера Пэна.

— Нужно не забыть взять ее с собой, — сказала Иден. — Знаешь, Фейт, это моя самая любимая статуя. Тебе повезло — ты живешь в Лондоне и можешь видеть ее каждую неделю.

Я невольно вспомнила, как она приезжала в Лондон и видела меня, но по каким-то своим соображениям предпочла проигнорировать.

— Наверное, твоя комната перейдет к Джейми, — сказала я.

— Знаешь, я об этом не думала, — ответила Иден. — Лучше спроси Веру.

Иден не любила детей. Или мне так казалось — судя по ее отношению к Джейми. Она его практически не замечала, только время от времени что-нибудь запрещала, а если точнее, запрещала трогать ее вещи. Сев на кровать, Иден переместила обручальное кольцо, которое не снимала ни днем, ни ночью, с левой руки на правую. Это было великолепное кольцо не с россыпью, а с настоящим куполом из бриллиантов на тонком платиновом ободке. Утром Иден призналась мне, что всю ночь не сомкнула глаз, и, наверное, это была правда. Сама я *точно* спала и поэтому не могу судить.

Лицо ее немного осунулось, глаза припухли. Я собиралась с силами, чтобы встать и принять ванну. Эта процедура ждала всех, и поскольку в табели о рангах я располагалась на нижней строчке, моя очередь была первой, в 7.30, чтобы вода успела нагреться еще раз.

— Подожди минутку, — сказала Иден, а потом ошеломила меня, впервые за все время доверив свою тайну. И какую тайну! К тому времени я стала избавляться от привычки краснеть по любому поводу, но в тот момент почувствовала, что щеки у меня пылают, и отвела взгляд, чтобы не смотреть в глаза Иден.

— Он догадается, что я не девушка? — вырвалось у нее.

— Понятия не имею, — ответила я. — Откуда мне знать?

Дело было не в шести годах разницы между нами, а в отношениях тетки и племянницы. Сильнейшее смущение подавляло почти все остальные чувства. И только позже я задумалась, как не похожа была Иден, задававшая этот вопрос, на ту, которая отчитала моего отца за то, что я не написала письмо с благодарностью, или ту, которая проигнорировала меня при встрече на улице.

— Я не девушка, — сказала она. — Говорят, от мужчины это не скроешь.

— Думаю, только в том случае, если у него было много женщин. — Я старалась придерживаться здравого смысла. — У Тони было много женщин?

Иден сказала, что не знает. Она села, обхватив руками колени. С головой, обмотанной шифоновым шарфом, она была похожа на склонившуюся над миром Надежду — со старой картины. У бабушки Лонгли на стене висела выполненная в технике сепии репродукция, которая исчезла, когда в дом переехала Вера.

— Почему ты спрашиваешь меня? Почему не Веру? Она должна знать.

— Не могу. — В ее словах сквозило отчаяние. — Об этом и думать нечего.

— Я где-то читала, — весь мой опыт был почерпнут из книг, — что такой же результат дает верховая езда. В смысле — на лошади. Ты умеешь ездить верхом?

Она покачала головой.

— В этом я тоже должна ему признаться — что никогда в жизни не садилась на лошадь. Тони думает, я умею. Он никогда не встречал людей, которые не ездили верхом.

Я с трудом сохраняла невозмутимый вид.

— Но ты же не собираешься пойти к нему и все рассказать? О лошадях и обо всем остальном. Вспомни, что случилось с Тэсс из рода д'Эрбервиллей.<sup>[54]</sup>

Но Иден никогда не слышала о Тэсс. Принимая ванну, я гадала, кто был тот мужчина, с которым Иден лишилась девственности. Чед? Явно не он — поскольку Чед был мужчиной Веры и отцом Джейми. Я поморщилась от этой мысли. Морской офицер, аристократ — тот, что утонул? Мужчина, с которым Иден ходила в театр? Или они все были ее любовниками? Я была заинтригована и слегка шокирована. Шел 1946 год. Представление о том, что женщина может иметь любовников, не вступая в брак, уже не внушало ужас, не казалось чудовищным и не относилось к дерзкой прерогативе

аристократии, но все еще шокировало людей старшего возраста, а мое поколение и поколение Иден предпочитало молчать и не выставлять подобную связь напоказ. Думаю, именно поэтому Иден не обратилась за советом к почти сорокалетней Вере, во времена молодости которой царили совсем другие нравы. Не понимаю, как мне удавалось совмещать подобные мысли с убеждением, что Вера неверна Джеральду и завела любовную интрижку с Чедом, — но это факт.

Мне неизвестны другие случаи, когда женщину вел к алтарю племянник. Мой отец был обижен, что Иден не предложила ему стать посаженным отцом. В телефонном разговоре она привела типичный для Лонгли предлог — причиной это не назовешь. Отец повесил трубку и вернулся к нам с матерью, стараясь держаться мужественно.

— Она сказала, что так не положено, поскольку у меня самого есть дочь. Другое дело, если бы ты была замужем и я уже отвел тебя к алтарю.

— Боюсь, Фейт не согласится выйти замуж только для того, чтобы угодить ей, — заметила моя мать.

Почетная обязанность легла на Фрэнсиса. Он спустился к завтраку в полосатых брюках от костюма, который должен был надеть утром, и белой рубашке, но без галстука. Вера суежилась, повторяя, что он уронит яйцо на одежду. Фрэнсис, разумеется, не упустил возможности подразнить ее — подобную проделку я однажды уже видела. Он встал из-за стола, уселся в кресло и поставил на подлокотник чашку с блюдцем. Я не помню ни одного неуклюжего движения или жеста Фрэнсиса, который всегда был очень ловким, грациозным, проворным и никогда ничего не ронял и не разбивал, разве что намеренно. И если я это знала, то Вера тем более. Однако она была не способна учиться на собственном опыте. Фрэнсис использовал ее страхи, пронося локоть в четверти дюйма от чашки, двигал кресло, так что чашка начинала раскачиваться, подносил ее ко рту, сдвинув к краю блюдца. Если бы чай разлился, то попал бы ему на брюки и рубашку, а также, вполне возможно, на Джейми, который выбрал именно эту часть ковра, чтобы играть со старыми деревянными кубиками, некогда принадлежавшими моему отцу.

Вера могла передвинуть Джейми. Что она и сделала, после чего тот взвыл и не успокоился, пока ему не разрешили вернуться. С Фрэнсисом Вера ничего сделать не могла — только умолять его убрать чашку с подлокотника. Она даже подвинула ему маленький журнальный столик, убрав с него многочисленные безделушки. Фрэнсис положил на столик газету, сигареты и золотую зажигалку, дорогую на вид. К чаю он почти не притронулся.

— Уже остыл, — заявил Фрэнсис. — Лучше я налью себе свежий. — Он взял чашку, наполнил ее и снова поставил на подлокотник.

Почему в дезабилье по-настоящему красивая женщина иногда выглядит гораздо хуже, чем обыкновенная? Я не раз замечала эту особенность. Полагаю, они просто не считают нужным беспокоиться из-за таких мелочей. Мужчины убедили их, что они останутся красавицами даже в одежде из мешковины, и не исключено, что это правда, поскольку мешок вполне может оказаться им к лицу; однако в данном случае речь идет не о мешковине, а о старых халатах из потрепанной синей фланели, неряшливых, чем-то заляпанных платках, грязных шлепанцах, как у мусульманского отшельника, и облезлом лаке для ногтей. Иден сидела за столом, демонстрируя все это, не притрагиваясь к еде, с жирным от крема лицом и кусочками шкурки от вишни, застрявшими между передними зубами после вчерашнего ужина. Джейми, который уже начал избавляться от полной зависимости от Веры как единственного человека в его маленьком мире, подошел к Иден с игрушечной машинкой в руке. Она повернулась к нему с раздраженным и недовольным лицом; нет, конечно, она не оттолкнула его, но резко и нетерпеливо взмахнула рукой, словно отгоняла назойливую кошку или собаку.

Вера никогда не посмела бы сделать замечание Иден. Похоже, они уже были не так близки, но это правило исполнялось неукоснительно. Вид у Веры был несчастный.

— Иди к мамочке, дорогой, — позвала она и протянула сыну руки.

Потом случилось нечто невероятное. Посчитав, что чай в чашке исполнил свое предназначение, Фрэнсис вылил его, подошел к Иден, поднял ее со стула и крепко обнял.

— Держись, старушка.

Она уткнулась лицом ему в плечо. Они стояли, обнявшись и слегка покачиваясь. Я осталась за столом одна; по одну сторону от меня Вера обнимала Джейми, а по другую Фрэнсис обнимал Иден, и поначалу мне было просто скучно, а потом — как в прежние времена — я почувствовала себя лишней.

Послышался ровный, бесстрастный голос Веры:

— Через десять минут придет парикмахер.

Негромко вскрикнув, Иден высвободилась из объятий Фрэнсиса.

— Мне нужно с тобой поговорить!

— Неужели, милая? Думаю, это можно устроить. Мое время в твоём распоряжении. Отдаю тебе весь день.

Я догадалась, что Иден собирается спросить его о том же, о чем и

меня. И почему-то не сомневалась, что Фрэнсис знает ответ. Он относился к той категории людей, которые разбираются в подобных вещах.

— Иди, прими ванну, — сказал он, — а потом мы с тобой распустим волосы и снимем трусики — или что там делают девушки, когда болтают.

— Фрэнсис! — вскрикнула Вера. Она крепко прижимала к себе Джейми, словно ему кто-то угрожал. Я подумала, что Вера собирается отчитать Фрэнсиса за слова о трусиках. За «вульгарность», как она это называла. Оказалось, дело в другом. — Что значит «поговорить»? О чем вам говорить? В полдень Иден выходит замуж.

Это было странно. У меня сложилось впечатление, что ее слова предназначаются Иден, хотя обращалась она к Фрэнсису — грубым тоном, который никогда не позволяла себе с сестрой. Выглядела Вера бледной и испуганной — или мне это теперь так кажется? Наверное.

— Я запрещаю тебе расстраивать Иден! — не унималась Вера.

Фрэнсис расхохотался. В дверь позвонила парикмахер, и я пошла открывать.

По какой-то причине — возможно, потому, что я считала его преемником Джеральда, — мне казалось, что Чед придет утром. Однако он не появился, и его имя не упоминалось. Мои родители остановились в отеле в Садбери, а жених и его родственники в более роскошном отеле в Дедеме. На свадьбу пригласили двести человек. Как впоследствии рассказала мне Хелен, последнюю ночь в качестве мисс Лонгли Иден хотела провести в доме Чаттериссов и считала это само собой разумеющимся, причем рассчитывала на шикарный ужин, чтобы произвести впечатление на будущих свекра и свекровь. Хелен была бы рада устроить ужин, но у нее сердце обливалось кровью (как она сама выразилась) при мысли о Вере.

— Только представь, дорогая, как расстроится Вера, — сказала она Иден. — Умоляю, проведи эту ночь у нее. Если подумать, тебе так много дано, а ей так мало.

Иден неохотно согласилась, прибавив загадочную фразу:

— Я думала, что до смерти надоела Вере.

Отправившись переодеваться, я прошла мимо открытой двери в спальню Веры и видела, как она одевает Джейми — в синие шорты и белую шелковую рубашку. Когда я в последний раз видела их вдвоем, Джейми сосал грудь Веры. Теперь ее лицо точно так же излучало радость, преданность, обожание. Чед однажды объяснял мне: чтобы сделать персонаж книги привлекательным, нужно снабдить его предметом любви. Для этой цели подойдет и старенькая мать, и спаниель — в крайнем случае,

волнистый попугайчик. Я всегда недолюбливала Веру, однако невозможно плохо относиться к женщине, которая любит ребенка так самозабвенно, как Вера любила Джейми. Сын преображал ее, делал добрее, милее. Это влияние можно охарактеризовать ужасным словом «размягчение» — термин, обычно применяемый к мясу.

— Мы подумали, что Джейми может быть пажом тети Иден, правда, мой милый? — сказала Вера. — Но тете Иден не понравилась эта идея. По ее мнению, с детьми может быть слишком много хлопот. И это, — рассудительно прибавила она, — вполне понятно.

Что стало со свадебными фотографиями Иден? Возможно, Тони еще хранит их, но, скорее всего, давным-давно выкинул. Он больше не женился и почти все время проводит за границей. В дальних краях. В «сейфе» есть одна свадебная фотография Иден, где она стоит в одиночестве, но, вероятно, не сохранилось никаких снимков Иден вдвоем с Фрэнсисом — восхитительные белокурые близнецы, голливудские жених и невеста в эпоху, когда кинозвезды были красивыми людьми, фильмы — слащавыми и изысканными, а тщательный уход за собой обязателен перед любым мероприятием. Здесь, в гостиной Веры, Иден с Фрэнсисом тоже казались не совсем реальными; они стояли, потому что Иден не хотела лишний раз садиться, боясь помять платье. Они напоминали восковые фигуры с гладкими лицами, блестящими волосами, в красивых нарядах и с негнуцимыми пальцами — копии людей, которые кто-то изготовил заранее, зная, что когда-нибудь их с радостью возьмет музей мадам Тюссо. Но у Тюссо стоит только Вера, не такая худая и более привлекательная, чем при жизни, но благодаря какой-то нелепой случайности одетая в костюм, который она выбрала для свадьбы Иден, — темно-синий с фуляром в синий и белый горошек на шее.

Когда я вместе с Эвелин, которая потом вышла замуж за Джонатана Дарема, Патрицией Чаттерисс и кузиной Нотон по имени Одри шествовала по проходу в церкви вслед за Иден, то на передней скамье со стороны невесты увидела Чеда — правда, довольно далеко от Веры, которая вместе с Джейми занимала положенное ей место между Хелен и моей матерью. По другую сторону от Хелен, между ней и генералом, сидел их сын Эндрю, который был пилотом «Харрикейна» во время «Битвы за Англию», а потом военнопленным, — мой кузен, хотя и не совсем, потому что общим у нас был только один дедушка. Смуглее, чем любой из Лонгли, он походил на мертвеца: лицо изможденное, щеки ввалились. В концлагере Эндрю сильно похудел, и худоба осталось у него на всю жизнь. Для меня в его внешности было нечто романтическое и героическое. Интересно, что чувствуешь,

когда под тобой разваливается самолет и ты решаешься на этот ужасный прыжок среди разрывов зенитных снарядов, а потом падаешь в ночном небе на вражескую территорию, не зная, что тебя ждет? Я посмотрела на него, и Эндрю, не улыbnувшись, подмигнул мне. Позже я пришла к твердому выводу, что подмигнул он своей сестре, но в тот момент думала, что объектом его внимания была именно я.

Чед смотрел на Иден с какой-то странной, болезненной настойчивостью. Это навело меня на мысль: он нашел утешение в Вере после того, как его отвергла Иден. Я отвела взгляд, сосредоточившись на тыльной стороне вуали Иден, не желая, чтобы Вера потом обвинила меня в неподобающем для подружки невесты поведении.

Что можно сказать о самой свадьбе? Все свадьбы похожи друг на друга, все невесты прекрасны, букеты самые красивые, музыка самая лучшая — до следующего раза. Никто — если не считать Джейн Эйр<sup>[55]</sup> — не встает и не заявляет о препятствиях браку. Несмотря на все необычные обстоятельства, окружавшие свадьбу Иден, на странное, граничившее с паранойей, поведение ее самой и Веры, никто не сделал этого и теперь. То, что произошло, не может считаться препятствием в юридическом смысле, хотя Тони Пирмейн, вне всякого сомнения, посчитал бы его таковым.

Любопытно, кто выбрал марш из «Женитьбы Фигаро» для возвращения от алтаря? Явно не Иден, которая — я уверена — вряд ли слышала о Моцарте. Значит, Тони, его мать или лучший друг. Отважная претензия на оригинальность, закончившаяся неудачей, поскольку марш был написан для оркестра и сопротивлялся любым попыткам переложить его для органа. Органист — сестра миссис Делисс из монастыря — старалась изо всех сил, и инструмент взвизгивал, хрипел и гремел, но никто из нас не понимал, как нужно идти, чтобы попасть в такт, пока все не перешли на некое подобие строевого шага. Я видела, как морщились присутствующие в церкви. Чед тоже поморщился, а затем принялся гримасничать, поджимая губы и напрягая мышцы лица, как человек, безуспешно пытающийся сдержать смех. Потом закрыл лицо носовым платком и сделал вид, что сморкается.

Джейми всю церемонию не произнес ни звука; притихшего и ошеломленного, его отвели к Хелен. Там он попал в руки официантов и горничных, которые утащили его на кухню, обвязали салфетками и накормили мороженым. Стол накрыли в столовой со стеклянными дверьми, выходившими на лужайку; в 1946 году меню было достаточно скромным, а столовое серебро Ричардсонов и цветы — ничтожество в роскошном

одеянье<sup>[56]</sup> — отвлекали мысли и чувства от цыплят и дешевых мясных консервов «Спэм», слоеного пирога с кроликом и искусственных сливок. Стоял чудесный, жаркий день, один тех редких дней английского лета с ясной, солнечной погодой и небом, не затянутым дымкой. Чаттериссы каким-то образом, без посторонней помощи, умудрялись всю войну поддерживать порядок в саду. Хелен, производившая впечатление женщины, руки которой никогда не знали работы тяжелее вышивания или мытья фарфора, в период, когда не было известий об Эндрю, большую часть дня проводила в саду — как она сама признавалась, лучший способ хоть немного отвлечься. Даже не подозревая об этом, Хелен копировала цветочные бордюры с тех, что до войны видела во время поездки на оперный фестиваль в Глайнборне; она обошла соседские сады, собирая отростки и черенки, пока бордюры, которые во времена Ричардсонов состояли только из роз и кустиков лаванды, не превратились в разноцветные ленты, длинные и густые, заполненные алыми и кремовыми конусами астильбы, африканскими лилиями, васильками, мордовником, синим чертополохом, дымчато-голубой кошачьей мятой, серебристой полынью и цинерарией, а также кустарниковой полынью, которую называют «девичьей погibelью», и *Alchemilla mollis*, или «девичьим дыханием». Лужайки сбегали к неглубокому, заросшему лилиями водоему, который Хелен называла прудом, а Вера — в беседах со знакомыми — озером. Стоя у края воды с бокалом ненастоящего шампанского в руке и чувствуя сквозь тонкие туфельки (выкрашенные в фиолетовый цвет атласные туфельки матери, модные в двадцатые годы) твердые, как железо, похожие на мозоль остатки огромного пня, я спросила Эндрю, специально ли к свадьбе завезли лебедей. Птицы, не обращая внимания на любовавшихся ими людей, величественно плыли среди бронзовых, похожих на тарелки листьев лилий, под ивой, серебристые листья которой спускались к самой воде.

— Они прилетели вчера, — ответил Эндрю. — Мы так обрадовались. Лебедей в Уолбруксе не было с тех пор, как застрелили одну пару.

— Неужели кто-то стрелял в лебедей?

— Ты не знаешь этой истории?

— Я ничего не знаю — как всегда, — сказала я. — Не представляю, откуда всем остальным все известно. Только три года назад я узнала, что Вера спасла жизнь Иден под деревом, которое тут когда-то росло.

— *Подумаешь*. — Это был Фрэнсис. Никто так не умел ухмыляться. Они с Чедом стояли у меня за спиной.

— Тем не менее это правда, — сказала я.

— У нее всегда были инстинкты девочки-скаута.

— Расскажи мне о лебедях, — попросила я Эндрю.

— Тут жили мои прадедушка и прабабушка, то есть дедушка и бабушка матери, и у них был маленький сын. Его звали Фредерик, и будь он жив, теперь ему исполнилось бы семьдесят восемь. Они потеряли обоих детей, сначала трехлетнего сына, а потом и дочь, мать моей матери, когда ей не было и тридцати. На этом пруду гнездилась пара лебедей. За Фредериком присматривала няня, невежественная, глупая девушка — умственно отсталая, я так думаю. Она повела его к пруду, чтобы показать птенцов, и самец лебедя напал на мальчика и крыльями забил до смерти.

— Какой ужас! — вскрикнула я.

— Да. Няню уволили. Мой прадедушка взял ружье, пришел сюда и застрелил самца, самку и всех птенцов. Думаю, он был вне себя от потрясения и горя. А теперь, через семьдесят пять лет, лебеди вернулись.

— Думаешь, у них гнездо в камышах? — растягивая слова, поинтересовался Фрэнсис. — Наверное, нужно, чтобы одна из официанток — та, что уронила бутылку шерри, — привела сюда Джейми.

Все ошеломленно молчали.

— Вовсе не смешно, приятель, — наконец подал голос Чед.

— О вкусах не спорят, — ответил Фрэнсис. — Мне в голову пришла очень изящная мысль о сути развлечений. Так, например, я часто думал, что получал бы огромное удовольствие от гладиаторских боев. Мне бы хотелось уподобиться Домициану, который, как утверждает Уайльд, любовался кровавой резней на арене цирка сквозь прозрачный изумруд.

Эндрю промолчал, но его лицо было строгим и осуждающим. Чед рассмеялся. Он принялся рассказывать нам, как дедушка не разрешал его матери, в то время двадцатипятилетней женщине, иметь в доме экземпляр «Дориана Грея». А потом вдруг умолк и процитировал изменившимся голосом:

— Все голоса, даже самые мелодичные, когда-нибудь умолкают: как бы страстно и пылко ни твердил ты любимое имя, все равно пройдет время, и эхо его неизбежно затихнет вдали. — Казалось, он обращается к лебедям. — И слава Богу, — прибавил он.

Они с Фрэнсисом ушли — вероятно, дразнить кого-то другого.

— Мне кажется, это неудачная идея, — сказал Эндрю, — упоминать Оскара Уайльда в таком контексте и цитировать его в твоём присутствии.

Я была очарована его джентльменским, если не сказать рыцарским, поведением. Чувства переполняли меня, и я не стала говорить, что Чед цитировал Лендора, а не Уайльда.

— Очень необычная пара. Даже не верится, что Фрэнсис мой двоюродный брат.

— А в то, что я твоя двоюродная сестра? — спросила я, осмелев от поддельного шампанского.

— Тоже с трудом. То есть я не думаю о тебе как о сестре. А ты бы хотела?

— О нет.

Он с любопытством посмотрел на меня. По лужайке к нам шли Патриция, Эвелин и Джонатан Дарем.

— Фрэнсис учится в Кембридже, да?

— В Оксфорде, — ответила я.

— Должен признаться, я этому рад. В октябре я собираюсь в Кембридж. — Я не сказала ему, что я тоже. Зачем сообщать новость, которую ему будет интереснее узнать из другого источника? — Буду великовозрастным студентом, — сказал он и прервал разговор, чтобы познакомить меня с Джонатаном.

Теперь я задаю себе вопрос: что было бы, если бы Эндрю отложил рассказ о маленьком сыне Ричардсонов и лебедях до того, как к нам присоединится Джонатан, а последний вспомнил бы о своей сестре, убитой в том же возрасте? И упомяни он в своем рассказе Джефсона, увидела ли бы я связь между преступлениями за сорок лет до Дэниела Стюарта? Но история о лебедях уже прозвучала, а Джонатан ее не слышал, и уже приближалось время отъезда Иден и Тони в свадебное путешествие — в специально арендованный дом в Дербишире. Любопытно, почему представители аристократии или, по меньшей мере, богатые люди, начиная с королевской семьи, на время медового месяца арендуют у родственников сельские дома, тогда как остальные отправляются в места, гораздо более интересные, такие как Брайтон, Париж или Капри?

Мы вернулись в «Лорел Коттедж» — Вера, я и Джейми. С моей стороны это был чистый альтруизм, и я чрезвычайно гордилась собой. Мои родители уехали в Лондон. Хелен предложила мне остаться в Уолбруксе «вместе с остальной молодежью», и мне хотелось принять ее предложение, очень хотелось, и кроме того, не тактичнее было бы дать Вере возможность уединиться с Чедом — на этот вечер и, возможно, и на ночь?

— В таком случае мы с Джейми останемся одни, — капризным тоном сказала Вера.

Маловероятно, подумала я. Фрэнсис точно будет там ночевать. Он присутствовал в комнате вместе с Хелен, Верой и мной, когда мы это обсуждали, стоял в сторонке и слушал в своей обычной манере — мне он

напомнил персонаж драмы эпохи короля Якова, например Босола,<sup>[57]</sup> который собирал мельчайшие крохи информации, чтобы потом использовать в неблагоприятных целях. Как бы то ни было, я сказала, что вернусь вместе с Верой. Возможно, чувствовала, что сегодня она навек потеряла Иден. Для меня стало неожиданностью ее бодрое настроение и вполне искренняя удовлетворенность — по дороге домой в машине мистера Моррелла и потом, когда она укладывала Джейми спать.

— Все прошло очень хорошо, правда? — сказала Вера, опуская сына в ванну посреди целой флотилии игрушек. — Погода — лучше не бывает, и служба хорошая. Тебе не кажется, что музыка была очень милой?

— Ну, — ответила я, — если не считать того марша, который они выбрали. Создавалось впечатление, будто в органе что-то сломалось.

— Блажен муж, — процитировала Вера, — который не сидит в собрании развратителей.

Любимое библейское изречение моего отца, Веры и, насколько мне известно, Иден. Его они унаследовали от матери. Судя по их взглядам на жизнь, это яркий пример проекции, с которой можно было столкнуться в любой момент. Мне следовало знать: все, что связано с Иден, не подлежит критике. Вера намылила Джейми и осторожно брызгала на него водой, а он радостно взвизгивал и брызгал на нее в ответ. Когда она говорила о развратителях, ее лицо изменилось, превратившись в суровую, неподвижную маску. У нее уже проступили вертикальные складки на верхней губе, которые к пятидесяти годам появляются у большинства людей. Но, играя с Джейми, Вера вновь преобразилась, стала юной, со свежим, невинным лицом, как на портрете из «сейфа».

Вера удивила меня, заговорив об Иден в таком тоне, который я прежде считала немыслимым. Наверное, начинала видеть во мне взрослого человека. До сих пор она упоминала об Иден только затем, чтобы похвалить поведение сестры, в прошлом или настоящем, похвастаться ее друзьями или положением в обществе.

— Если я не очень ошибаюсь (еще одна типичная фраза семьи Лонгли), не пройдет и года, как у Иден появится ребенок. Можешь себе представить, Тони хочет детей — то есть он хочет наследника, и его отец тоже.

Для меня это прозвучало как отголосок феодализма, и я не считала, что должна что-то ответить.

— Да, они хотят сына. Разумеется, Иден любит детей; она их боготворит.

Я так не думала — ни утром, когда Иден едва не оттолкнула Джейми,

ни в других случаях, когда она игнорировала обращавшегося к ней ребенка.

— Иден захочет шестерых, можешь не сомневаться. А поскольку деньги для них не проблема, я не вижу причин, почему бы не иметь большую семью. Если я не очень ошибаюсь, следующим большим событием у нас будут крестины сына Иден. Этому малышу очень повезет. — Последние слова были адресованы уже обсохшему, обработанному присыпкой, одетому в пижаму и сонному Джейми. — Ему все преподнесут на золотом блюдечке. Одно можно сказать точно, моя радость, — его не окружают такой любовью, как моего мальчика. Этого не купишь ни за какие деньги.

Фрэнсис не вернулся домой вместе с нами, и теперь, два часа спустя, тоже не появился. Вера, укладывавшая Джейми в кроватку, поцеловала его и подняла голову.

— Они такие милые, когда маленькие, а вырастают обычными людьми. Они не такие, как ты, делают что хотят и относятся к тебе хуже, чем к злейшим врагам.

Я слушала, замороженная и изумленная этой неожиданной чувствительностью, с надеждой на продолжение — естественно, меня ждало разочарование.

— Но мой сын не будет таким, правда, радость моя? Понимаешь, Фрэнсис слишком много был с чужими людьми — в этом все дело. Сначала индийская няня, потом школа. Меня он почти не знал. Маленьким детям нужна только мать. Это можно видеть — не так ли? — на фотографиях всяких первобытных людей, дикарей, аборигенов и тому подобное. Они всегда носят детей на спине. Я намерена позаботиться о том, чтобы мы с Джейми никогда не расставались.

Чед тоже не пришел. Солнце зашло около шести — будь я поклонницей «ложной патетики»,<sup>[58]</sup> то сказала бы, что оно закатилось с отъездом Иден, — и наступил долгий летний вечер, мрачный и скучный. Вечере после свадьбы всегда есть что-то невеселое. Чувствуешь себя лишним. Дело в том, что лишние тут все, кроме тех двоих, ради которых все это устроено и к которым никто не может присоединиться. Как будто вы пришли послушать оперу и выпили чаю в чайном домике, прогулялись вокруг озера, угостились шампанским, а когда поднялся занавес, вас отправили домой. Я могла бы сказать это Энн Кембас, Чеду и, возможно, Эндрю Чаттериссу, но только не Вере. Мы сидели молча: она вязала для Джейми свитер со сложным многоцветным узором, а я читала, хотя и подозревала, что Вера считает это занятие неподобающей тратой времени. В тот вечер, однако, у нее было преимущество передо мной, поскольку она

добралась до гладкой части свитера и могла вывязывать чулочные петли, не глядя на спицы. Вера всегда неохотно зажигала свет, по-видимому, из соображений экономии. Теперь она выжидала еще дольше обычного, и когда я предложила включить для меня хотя бы настольную лампу, отреагировала как прежняя, раздражительная Вера из моего детства.

— В комнату налетят насекомые. Все эти мотыльки и моль. — Ее было невозможно убедить, что не все мотыльки являются молью, которая ест одежду. Это ложное представление выглядит еще более ироничным в свете того факта, что ее сын станет известным энтомологом. — Мы все будем в дырках от моли, — сказала она. — Мне было бы приятно просто посидеть в сумерках.

Мы сидели в сумерках. Пальцы Веры двигались автоматически, а спицы — деревянные спицы военного времени — негромко постукивали. О чем я думала? Боюсь, о первой брачной ночи Иден. В то время молодые люди испытывали живой интерес ко всему, что связано с сексом. Опыт приходил к ним позже, и не такой разнообразный. Главным образом я размышляла о том, как она разобралась, если разобралась, с открытием Тони, что он у нее не первый. Прозвучавшие чуть раньше заявления Веры о любви Иден к детям и о ее желании иметь большую семью в то время меня почти не заинтересовали, и удивительно, как я вообще их запомнила. Вероятно, моя память неточна, но я уверена, что суть, смысл Вериних слов передаю правильно. С тех пор я часто об этом думаю.

Может, она уже тогда начинала бояться? Может, эвмениды<sup>[59]</sup> уже слетались к ней: рассаживались, словно вороны, на деревьях вокруг погружающейся в темноту лужайки или бились в стекла, как мотыльки, которых она не любила? Наверное. Наверное, грядущие события уже тогда отбрасывали свою тень — вместе с настоящими тенями, которые длинными полосами вдруг протянулись через лужайку, когда солнце ненадолго показалось вновь, прежде чем окончательно скрыться за горизонтом.

Возможно, это лишь моя фантазия, но мне кажется, Вера считала, что откупилась. Она заплатила высокую цену: муж, свобода, обеспеченное будущее, все, что еще можно было спасти из отношений с Фрэнсисом, преданность Иден. Думаю, она надеялась, что после уплаты этого огромного выкупа фурии оставят ее в покое. Вера просила у богов такую малость — неужели они не проявят к ней снисхождения? К большинству женщин проявляли, иногда слишком часто, что становилось не благословением, а проклятием. Можно сказать, Вера желала лишь одного — чтобы ее оставили в покое. Говоря, что хочет просто посидеть в

сумерках, она вкладывала в свои слова более глубокий смысл. Сомневаюсь, что новости, пришедшие почти сразу же после возвращения Иден из свадебного путешествия, могли обрадовать Веру, хотя остальные члены семьи в то время считали, что ей это выгодно. Может, у нее внутри все оборвалось? Или она почувствовала себя в ловушке? Вне всякого сомнения, Вера молилась, чтобы следующее письмо принесло ей весть, которую она так ждала, или чтобы однажды вечером зазвонил телефон...

Сумерки действовали на меня угнетающе. Я сказала, что ненадолго схожу к Кембасам.

— В такое время? — автоматически откликнулась Вера, но возражать не стала.

Думаю, это было незадолго до того, как она познакомилась с новой миссис Кембас, которая стала ее лучшей подругой, ее опорой (и главным свидетелем защиты на суде), или по крайней мере до того, как подружилась, поскольку, прощаясь со мной, Вера не упомянула о ней, а просто напомнила, чтобы я не забыла запереть дверь, когда вернусь. Наверное, я сильно повзрослела с тех пор, как меня отправляли спать в восемь, — или Вера стала настолько терпимее! Тем не менее тогда имя Джози Кембас не прозвучало, что непременно случилось бы два или три месяца спустя, и мне не пришлось передавать разного рода сообщения и приветы от Веры.

Мать Энн умерла от рака, и через шесть месяцев ее отец снова женился. Мой муж утверждает, что Дональд Кембас и Джози уже давно были любовниками, и мне кажется, Энн догадывался об их связи и поэтому ненавидела мачеху еще сильнее. Она считала, что Джози — вдова с двумя сыновьями — желала избавиться от жены любовника, радовалась ее смерти, с нетерпением ждала, когда можно будет занять ее место, хотя, как мне кажется, Джози была не такой. Когда я близко — в конечном счете очень близко — сошлась с ней, то пришла к убеждению, что главной чертой ее характера было *материнское чувство*: она принадлежала к тому типу людей, чье предназначение в жизни — заботиться о других. Джози переехала в Синдон, бросив работу секретаря и дом в пригороде Лондона, движимая не только желанием всегда быть рядом с Дональдом Кембасом, но и стремлением взять на себя заботы о его доме и детях.

В тот вечер ни ее, ни Дональда не было дома, и мы с Энн час или два провели вдвоем — разумеется, обсуждая свадьбу и настойчивые расспросы Иден утром (боюсь, я без тени сомнения рассказала о них), а потом Энн перешла к язвительным замечаниям по поводу бедняжки Джози и, как она выразилась, коварных замыслов мачехи. Что касается самой Энн, то она

ждет не дождется, когда уедет учиться в педагогический колледж, после которого, по ее утверждению, не собирается возвращаться в отчий дом.

Я вернулась в «Лорел Коттедж» задворками, что случалось редко, особенно по вечерам. Калитка в саду за домом Кембасов выходила на узкую дорожку, или тропинку, которая — после того, как пересекала край поля, — срезала угол во дворе фермы, петляла между высокими каменными стенами и выходила к забору в дальнем конце сада «Лорел Коттедж». Я не любила эту дорогу из-за собаки фермера, черного лабрадора с дурным характером. Однако из окна гостиной я увидела, что пес сидит в стороне от тропинки, на цепи, рядом с хозяином, и поэтому пошла той дорогой, включив фонарик. Часы уже показывали половину одиннадцатого.

Было очень темно. Стояла густая, темная, уже довольно холодная и безлунная ночь. По-настоящему понять, что такое темнота, можно лишь в английской деревне, обитатели которой упорно сопротивляются установке уличного освещения. В такую ночь ничего нельзя разглядеть — за исключением слабого мерцания в черном небе над головой и еще более густой тьмы там, где стояла живая изгородь, стена или дерево. Но с фонарем найти дорогу не составляло труда. Я подошла к калитке «Лорел Коттедж» и увидела свет — впервые после того, как покинула дом Кембасов. Лампа в спальне Веры и слабое мерцание или отблески из домика в саду.

Хибара стояла на своем месте, все так же опасно наклонившись и угрожая рухнуть. Падающий дом, который не падает. Бывший игрушечный домик Иден, где она играла с куклами — купала их, переодевала и, вне всякого сомнения, укладывала спать в шесть вечера. Внутри плетеных стен, обмазанных глиной, мы с Энн снова и снова разыгрывали трагедию Марии Стюарт, распекая Дарнли или безуспешно пряча под своими юбками Риццио. Когда я подошла ближе, разбитое окно хибары осветилось неровным, колеблющимся пламенем. Как далеко отбрасывает лучи эта свеча! Должно быть, так сияет доброе дело в этом порочном мире.

Они меня не видели. Они были заняты, и их глаза не замечали случайных прохожих. Света — от блюда со свечой на раскладывающемся столике — им было достаточно, чтобы видеть друг друга. Из вежливости я выключила фонарик. Не стоит думать, что я была опытной и циничной и не испытала шока, ужаса и отвращения, переходящих в панику, — именно так все и было. Тем не менее я не утратила осторожности и постаралась остаться незамеченной.

Взглянув на них всего один раз, я продолжила свой путь к дому. На

полу хибары Чед и Фрэнсис занимались любовью, ее содомской разновидностью, тут не могло быть сомнений — я все поняла по их обнаженной и возбужденной плоти.

Иден могла выбрать любой из домов Пирмейнов, но предпочла купить Гудни-холл. Мой отец был доволен, и Хелен тоже. Теперь они с Верой не будут разлучены и смогут видеться два или три раза в неделю. Потому что свадебным подарком Тони был автомобиль.

Люди говорили, что это очень мило со стороны Иден, очень разумно — поселиться неподалеку от сестры. Позже они называли ее поступок злонамеренным. Не знаю, что ею двигало, доброта или злоба. Вера воспитала Иден снобом, и та превзошла своего учителя. Мне кажется, Иден всю жизнь мечтала о богатстве и власти, которую дают деньги; и в то время как Вера искренне и откровенно купалась в отраженном свете успеха Хелен, радуясь за нее, гордясь, что у нее такая сестра, и постоянно упоминая о ней в разговоре, Иден завидовала Хелен и была на нее обижена, совсем как мой отец. Теперь ей представилась возможность взять реванш. В конце концов, Уолбрукс был всего лишь жилым домом на ферме, хоть и большим. Гудни-холл в местечке Гудни-Парва на том берегу реки Стаур, где расположен Сток, представлял собой, как выражалась моя бабушка Лонгли, «дом джентльмена», — более того, он был построен в 1786 году архитектором Стюартом, который спроектировал парк Аттингем в Шропшире и церковь Святого Чеда в Шрусбери. У дома имелся портик с необычайно длинными колоннами, китайский салон и главная спальня, которую называли этрусской, — все вместе это напоминало мне Королевский павильон в Брайтоне. Но именно такой дом хотела иметь Иден, поскольку он ставил ее выше Хелен, выше всех ее знакомых. В своем следующем письме к Вере мой отец выразил удовлетворение таким поворотом событий, но в ответе не было ни слова об Иден или о ее переезде. Сама Иден не ответила на его письмо, в котором отец спрашивал, как она устроилась, и предлагал подумать, не передать ли им обоим свои доли в «Лорел Коттедж» Вере. Возможно, именно упоминание об этих планах послужило последней каплей и взбесило мою мать, став причиной жутких ссор между моими родителями.

— Если ты это сделаешь, я от тебя уйду — клянусь, — сказала она отцу. — И тогда у тебя уже не будет возможности раздаривать дома — тебе придется искать дом для меня.

Отец надеялся — и постоянно повторял, — что Джеральд и Вера в конце концов преодолеют разногласия и снова станут жить вместе. Они не

развелись, и рассчитывать на это не приходилось — только в начале семидесятых бракоразводные процессы стали обычным делом. Основанием для развода могла стать супружеская неверность, но теперь, в свете известных мне фактов, я думаю, что неверности могло и не быть. Известны случаи, хотя и немного, когда беременность длилась десять месяцев. У голубоглазых родителей могут рождаться кареглазые дети, если карие глаза были у кого-то из предков. Наверное, Джеральд все это знал — а также то, что жена не изменяла ему, — а расстались они с Верой просто потому, что разлюбили друг друга, стали друг другу безразличны и предпочитали одинокую жизнь, к которой привыкли за годы войны. Несомненно одно: Чед Хемнер не любовник Веры и никогда им не был. Джейми не его сын.

Сцена, случайно увиденная в хибаре в Верином саду, при свете свечи, столько всего прояснила. И очень многое изменила. Нет, напрямую меня это не касалось, и откровенная сцена не нанесла мне непоправимой травмы. Конечно, в ту ночь я почти не спала; увиденное повергло меня в шок, но в моих чувствах преобладало скорее *любопытство*, чем отвращение. Многое объяснилось, причем кое-что, даже не очень лестное для меня, принесло настоящее облегчение.

Сделавшись (я так считала) любовником Веры, Чед перестал подходить на роль моего вероятного — и возможно, первого — возлюбленного. Решив, что он принадлежит Вере, я отказалась от связанных с ним глупых желаний и надежд. Однако мне все еще не давал покоя тот факт, что Чед предпочел мне Веру, — я была этим разочарована. Я не сомневалась в его чувстве к Иден, но считала это лишь репетицией любви ко мне. Думала, что Чед будет меня ждать и что лишь недостаток терпения или слабость характера вынудили его обратить взоры на Веру. Оба мои предположения оказались ложными, и это принесло мне облегчение. Заинтригованная, я уже не могла спать или думать о чем-либо другом и вспоминала прошедшие годы, только теперь осознавая смысл многих слов и поступков.

Стали понятными необъяснимые визиты Чеда в отсутствие Иден, всегда накануне приезда Фрэнсиса или в тот день, когда Вера ждала его звонка. Заявления о безнадежной любви, оброненная в разговоре с моим отцом фраза, что храброе сердце и упорство не всегда побеждают, пристальный взгляд в церкви, но не на Иден, как мне казалось, а на сопровождавшего ее Фрэнсиса — теперь все получило объяснение. Стало понятным кокетливое поведение Фрэнсиса, его позерство и шуточки в присутствии Чеда. Не знаю, почему, но я догадалась, что это не счастливая любовь, взаимное желание и привязанность, а одностороннее чувство,

когда один целует, а другой позволяет себя целовать. Не очень часто, возможно, все реже и реже — и совсем не бесплатно — Фрэнсис снисходил до утонченных знаков внимания, чтобы упрочить свою власть над Чедом.

Я поняла кое-что еще, хотя и не той ночью, а позже, когда сама повзрослела и стала лучше разбираться в подобных вещах. Чед познакомился с Фрэнсисом через Иден. А как иначе они еще могли встретиться? В ту пору Чед — потом он уехал и смог получить место в «Оксфорд мейл», чтобы жить в одном городе с Фрэнсисом, — был корреспондентом местной газеты в Колчестере, а Иден работала помощницей у адвоката. Где именно они встретились — в суде, на вечеринке с коктейлем или в адвокатской конторе, — особого значения не имеет. Они встретились, и Иден познакомила его с Фрэнсисом. Получается, она знала. Получается, что в восемнадцать лет, когда Фрэнсису было всего тринадцать, Иден знала — причем не только знала, но смотрела сквозь пальцы и явно поощряла — о любовной связи, которая в 1940 году относилась к преступлениям и которую большинство людей считали отвратительной, чудовищной и неопишимо неестественной. Другими словами, она привела в дом сестры мужчину, которого тянуло к мальчикам, и подсунула сына сестры на роль катамита. В качестве ее возлюбленного или, скорее, претендента на руку Чед мог приступить к соблазнению — хоть и не очень успешному, не очень счастливому, с учетом того, каким был Фрэнсис, — еще не достигшего половой зрелости мальчика.

Хорошо зная Фрэнсиса, я была не возмущена, а скорее изумлена. Другое дело Иден — мне и в голову не приходило, что она на такое способна. Зачем Иден это сделала? Что это ей дало? Я не знала — и теперь тоже не знаю. Могу лишь строить догадки. Секреты — иметь их, создавать, хранить, намекать на них — были для нее жизненной необходимостью, а тут появлялся секрет, который она могла скрывать от Веры. Возможно, что в те дни, до того как записаться в женскую вспомогательную службу военно-морских сил, когда Иден явила миру образ нетронутого, прекрасного, невинного, подающего надежды девичества, почти идеальной девушки викторианского типа, тихой, кроткой, чистой и совершенной, у нее был роман с каким-то абсолютно неподходящим мужчиной. Я склоняюсь именно к такой версии, хотя основана она исключительно на догадках. Это так похоже на Иден: тайно встречаться с простолудином или просто женатым мужчиной, которого все равно не одобрили бы Вера, мой отец, Хелен и все остальные, в то время как Вера была убеждена, что она находится в обществе Чедда, в полной безопасности. Чед, преследовавший свои цели, с готовностью попустительствовал этому, а Фрэнсис с

удовольствием наблюдал за игрой, время от времени вступая в нее, когда у него разыгрывалось воображение. Бедная Вера — я всегда считала ее главной, непререкаемым авторитетом. Теперь мне начинало казаться, что все ее дурачили. Оба эти представления, конечно, не были абсолютной истиной, поскольку Вера совмещала в себе и то, и другое.

А теперь Иден обосновалась в Гудни-холле в качестве владелицы поместья, «на расстоянии брошенного камня», как выражался мой отец, от Грейт-Синдон, хотя на самом деле в десяти минутах езды по той части долины реки Стаур, которая относится к Суффолку и где начинаются невысокие холмы, уходящие к Дедемской долине. Дом я увидела только через год, потому что осенью, после свадьбы Иден, уехала в Кембридж, а в следующем году, вернувшись в эти края на летние каникулы, остановилась у Чаттериссов, а не у Веры или Иден.

Люди снова стали отдыхать за границей. Тони повез Иден в Швейцарию, в Люцерн, и Хелен получила открытку с видом на гору Пилатус, озеро на вершине которой, по преданию, служит одним из семи древних входов в ад, где сидит дух Понтия Пилата и умывает руки. На Вериной открытке был изображен кресельный подъемник, но ее радость по этому поводу выглядела непропорциональной — она даже захватила открытку с собой, когда на следующий день вместе с Джейми пришла к ленчу.

— Надеюсь, они возьмут все что можно от своего путешествия, — заявила она. — Теперь у них долго не будет возможности вот так куда-нибудь поехать.

— Иден наймет ребенку няню, — возразила Хелен. — В их жизни почти ничего не изменится.

Я впервые услышала о ребенке Иден. Срок ее беременности не превышал двух месяцев. Вера больше ни о чем не могла говорить. Ее переполняла радость. Иден замужем уже больше года. И она, Вера, начала подозревать какие-то трудности, поскольку знала, как страстно Иден хотела детей, но теперь все в порядке. Вера строила предположения насчет пола ребенка и имени, которое для него выберут, на кого он будет похож, какого числа родится и какими будут роды у Иден. Так продолжалось весь ленч; добросердечная Хелен не выказывала нетерпения, слушала Веру и отвечала ей, но генерал, Эндрю и я скучали и не знали, чем заняться, а Патриция, приехавшая домой на неделю, один или два раза (правда, без видимого эффекта) прямо предложила сменить тему.

— Я была первой, кому сообщили, — похвасталась Вера. — Вы знаете, что Иден рассказала мне о своих подозрениях раньше, чем Тони?

Кажется, она сказала, что думает, что почти уверена, что у нее будет ребенок, и она хочет, чтобы я стала его крестной. Я была так счастлива, что расплакалась.

Джейми уже исполнилось три, и он хорошо говорил; это был «послушный», тихий мальчик, который все еще спал днем и отправлялся в постель в половине седьмого вечера. Он казался умным. У него была напыщенная манера выражаться, что всегда умиляет в таких маленьких детях, потому что звучит «старомодно». Так, например, Джейми говорил «взрослые», а не «большие», и не делал ошибок в окончаниях слов. Он производил впечатление счастливого ребенка — в то время он действительно был очень счастлив, я могу за это поручиться. Интересно, помнит ли Джейми тот визит, тот день в Уолбруксе, когда он выбрал себе итальянский вариант фамилии Ричардсон? После ленча Хелен продемонстрировала всем нам «сюрприз», который преподнес ей генерал ко дню рождения, — портрет работы Джона Огастеса с изображением простой, миловидной женщины в темном платье с кружевным воротником. Портрет ее бабушки, проданный в двадцатых годах, когда старики Ричардсоны умерли, а домом от имени Хелен управлял адвокат, не знавший, что наследница захочет сохранить все, что осталось после Мэри Ричардсон. Однако портрет вновь был выставлен на продажу, и проницательный генерал купил его; теперь картина висела в гостиной.

Хелен почти никогда не говорила о тяжелых моментах своего детства, о том, как отец бросил ее почти сразу же после смерти матери, никогда не подчеркивала это — в отличие от Фрэнсиса, не упускавшего такой возможности. Тем не менее воспоминания о бабушке всегда вызывали у нее пылкие чувства, и теперь, когда она стояла перед портретом, глядя на сложенные ладони и третий палец левой руки с массивным, в викторианском стиле, золотым обручальным кольцом с рубинами, на глазах у нее выступили слезы.

— Мне нравится эта леди, — сказал Джейми. — Если бы я ее увидел, то сел бы к ней на колени.

Это действительно считалось привилегией, потому что Джейми соглашался сидеть на коленях только у Веры.

— Правда, дорогой? — Хелен обрадовалась. — Да, она была милой, доброй леди, и она назвала бы тебя своим ягненокком.

— Я хочу, чтобы ты называла меня своим ягненокком, — сказал Джейми Вере, и конечно, она никуда не делась, потому что сын каждый раз напоминал ей, если она забывала.

В те каникулы мы все вместе отправились в гости к Иден. Это было

экстраординарное, драматичное и печальное событие. Мы поехали в принадлежавшем генералу «Мерседесе» 1937 года выпуска, который всю войну простоял в конюшнях Уолбрукса, поскольку генерал подозревал, что деревенские жители будут кидать камни в автомобиль немецкой марки. И поделом, прибавил он. Нечего было покупать немецкую машину, даже тогда, даже подержанную, — наверное, он сошел с ума, потому что тем самым оказывал финансовую поддержку военной промышленности Гитлера. По пути мы заехали за Верой и Джейми, одетыми в новые костюмы, которые сшила Вера. Она разрешила старые одеяла, чтобы соорудить жакет для себя и курточку с брюками для Джейми. В 1947 году те, кто не желал носить практичную одежду, шили сами. Для Хелен Вера переделала крепдешинное бальное платье. На мне была юбка от старого хлопкового платья и связанный матерью джемпер. Я все это рассказываю для того, чтобы подчеркнуть, какая одежда была на Иден и что она привезла из Швейцарии.

Что я могу сказать о самом доме, Гудни-холле? Ну, он был — и, наверное, остается — красивым, элегантным, не очень большим загородным домом девятнадцатого века, о котором теперь я, уже кое-что повидавшая, могу сказать, что таких в Англии много. В саду были цветники с дорожками между клумбами и цветочными бордюрами, аллея с переплетенными над головой ветвями деревьев, знаменитые рододендроны и оранжерея с яркими цветами. Дом не казался каким-то особенным, и на него не наложили отпечаток личности новые владельцы. Впоследствии я слышала, что Тони купил его вместе с мебелью, как говорится, со всеми потрохами — возможно, это было самым верным решением. Они с Иден ничего не понимали в старинных вещах, а обставить Гудни-холл стандартной мебелью никому не пришло бы в голову. Я помню в доме Иден исключительно розовые и зеленые тона, хотя, конечно, такого быть не могло. Несомненно, в китайском салоне должен был присутствовать желтый цвет, а в этрусской спальне красный, но я не помню. Мне вспоминаются бледно-зеленые ковры и французская мебель с розовыми сиденьями, большие розовые китайские вазы с изящным узором, а также жутко скучные картины, в большинстве своем выполненные в технике меццо-тинто, с изображением городов Северной Европы и кораблей в бурном море, и зеленые бархатные шторы с тяжелыми кистями цвета потускневшего золота.

Но Иден — кто бы сомневался — чрезвычайно гордилась всем этим. И выглядела необыкновенно счастливой. Она изменилась. Нельзя сказать, что у нее был здоровый, цветущий вид. Нет. Она похудела и побледнела, ее

лицо утратило детскую пухлость. Думаю, это из-за беременности. Перефразируя спор между Хемингуэем и Скоттом Фицджеральдом, можно сказать, что богатые *выглядят* иначе, поскольку у них больше возможностей. Именно в этом смысле Иден отличалась даже от Хелен — мы с Верой вообще не принимались в расчет, — которая, в конце концов, носила самодельное платье и сама мыла себе голову. У Иден все было самым лучшим, самым дорогим, самым шикарным. Волосы ей стриг лучший парикмахер Лондона, она пользовалась самой известной маркой косметики. На руке у нее сверкало обручальное кольцо с огромным бриллиантом — и еще одно, с камнями по всей окружности, которое Тони подарил ей две недели назад, когда она сообщила ему о беременности. Платье на ней было с белым вышитым поясом, одним из нескольких, которые она привезла из Швейцарии и которые разложила на (предположительно) этрусской кровати перед нашим приездом. В Швейцарии все тоже было другим. Никакой экономии, ничего стандартного. В магазинах полно одежды, рассказывала нам Иден: платьев, костюмов, туфель, шелкового белья, шелковых чулок, — и она купила много всего, столько, сколько они смогли — я ждала, что Иден скажет «позволить себе», — увезти с собой.

Благодарность Веры выглядела несоразмерной. В подарок ей привезли брошь в виде эдельвейса, вырезанную, наверное, из кости или рога, но выглядевшую как пластмассовая. Это была маленькая, уродливая брошь, неаккуратно сделанная. Похоже, Иден накупила кучу безделушек в форме горечавки и эдельвейса, предназначенных для подарков разным людям, не делая различий между любящей сестрой, которая заменила ей мать, и деревенской женщиной, приходившей убирать в доме. Затем из изящной резной шкатулки она выложила на кровать дюжину деревянных фигурок животных, искусно вырезанных из дерева, каких умеют делать только швейцарцы, — лежащий святой Бернард, казалось, сейчас встанет и уйдет, и никто не удивился бы, если бы сиамский кот вдруг потянулся и принялся мыть свою мордочку.

Разумеется, Джейми пришел в сильнейшее волнение. Сначала его переполнял благоговейный трепет. Ничего подобного он еще не видел. Тогда я не очень любила детей — я не принадлежала к тому типу девушек, которые обожают малышей и страстно желают обнять их, взять на прогулку, нянчиться с ними, — но выражение лица Джейми, поднявшего взгляд на Веру, меня растрогало. Он был настолько очарован, до такой степени переполнен восхищением и радостью от этих вещиц, которые и вправду выглядели как настоящие животные, только маленькие, что

сначала улыбнулся, а потом залился счастливым смехом.

— Собака! — воскликнул он. — Кошка! Смотри, мама, а вот медведь. Смотри, мама!

Джейми был аккуратным ребенком и осторожно протянул руку, чтобы прикоснуться к спине собаки, шерсть на которой выглядела как настоящая.

— Нет, пожалуйста, не трогай! — довольно резко остановила его Иден.

В магазинах не продавали детских игрушек. Некоторые малыши, родившиеся в начале войны или незадолго до нее, в жизни не видели новых игрушек, достойных называться таковыми, — они довольствовались тем, что переходило по наследству от старших братьев и сестер, хотя у некоторых счастливчиков были родственники, которые могли сшить или связать куклу, вырезать из дерева лошадку или автомобиль. Но Джейми не относился к категории счастливчиков. Игрушки Фрэнсиса — конечно, у него должны были быть игрушки, хотя представить это невозможно — давно потерялись или их кому-нибудь отдали. Джейми играл со старым набором кубиков, принадлежавшим еще моему отцу, с потрепанным, полысевшим медведем Веры и такими предметами, как кухонная утварь. Он не обратил внимания на слова Иден. Взял в руки собачку и поднес к глазам.

— Положи немедленно! Это не игрушка. — Иден выхватила у него фигурку. Потом повернулась к Вере. — Зачем ты ему позволяешь? Мне казалось, он должен быть послушным.

Я вспомнила давнее письмо к отцу: «Ты должен научить своего ребенка хорошим манерам...» Я нечасто сочувствовала Вере, но тогда мне ее стало жалко. Она не спорила с Иден и не защищала сына, для которого эти фигурки были настоящим чудом, доставлявшим огромную радость. Любовь сделала ее мягче, покладистой. Вера обняла Джейми, и он заплакал, уткнувшись ей в плечо. Любопытно, что его плач не был похож на слезы и всхлипывания, которые обычно не в силах сдержать ребенок, которому отказано в предмете его страстных желаний. Его горе было тихим и сдержанным, как у взрослого человека. Тем не менее складывалось впечатление — у Эндрю тоже, как он позже признался мне, — что для Джейми Вера была всем, и даже страдая, мальчик получал удовольствие от *этих* рук, *этого* плеча, *этого* ласкового шепота. Вера тоже словно находила опору в его горе, потому что Джейми изливал душу только ей и только она одна могла утешить и поддержать его, она одна заменяла ему все человечество.

Нам предстояло обойти дом и сад. Вера уже пришла в себя и

принялась все преувеличенно хвалить, нелепо лestia Иден и рассыпая комплименты, будто та сама сажала и подрезала розы, выращивала малину, вышивала сиденья стульев, рисовала лотосы и драконов на фарфоре. Она была похожа на одного из тех подхалимов, которые в восемнадцатом веке вились вокруг аристократии, как мистер Коллинз вокруг леди Кэтрин де Бер.<sup>[60]</sup> Иден отвечала вежливыми улыбками, но выглядела неважно, какой-то усталой, а в ее движениях чувствовалась вялость, хотя, когда мы добрались до комнаты, предназначенной под детскую, она вновь оживилась, наполнилась энергией и воодушилась, как во время демонстрации швейцарских трофеев.

Комната находилась в дальнем конце дома и была угловой, с окнами на запад и на юг; раньше в ней тоже располагалась детская, но, наверное, очень давно, потому что на выцветших обоях красовались феи Артура Рэкхема,<sup>[61]</sup> а между окон стоял пятнистый конь-качалка с потертым седлом и сбруей. Я очень хорошо помню ту комнату, наполненную светом яркого и в то же время мягкого августовского солнца, оставлявшего пятна на розовом ковре, край которого украшал узор из белого вьюнка, переплетенного с неестественно светлым зеленым плющом. Обои напомнили мне о любимой — по ее собственным словам — картине Иден, с изображением статуи Питера Пэна, и я подумала, что она, наверное, повесит картину в этой комнате. Из окон, выходящих на запад, открывался вид на холмы — череду пригорков, лощин и лесистых возвышенностей, совсем непохожих на типичный ландшафт Суффорка, — а на юге виднелись лужайки, обрамленные величественными деревьями. По всей террасе внизу были расставлены каменные вазы с фигурками, как на могиле Китса, — юноши и девушки, спешащие на праздник люди, таинственные священники, поднявшие голову к небу мычащие коровы и отважные любовники, не решающиеся на поцелуй, — а в вазах росли *Agapanthus africanus*, или голубые африканские лилии, а также белый и пурпурный декоративный лук — особых, редких сортов, как сообщила нам подобострастная Вера. Теперь она выглянула в одно из этих окон, расхваливая пейзаж. Похоже, Хелен скучала, или, скорее, напустила на себя скучающий вид, что у нее здорово получалось. Джейми, конечно, вскарабкался на коня, и на этот раз Иден его не остановила. Она рассказывала всем нам, как отремонтируют и обставят детскую, а также о том, что няне отдадут соседнюю комнату. Кроме того, конь-качалка был старым и облезлым, и его, несомненно, выкинут — вместе с маленькими деревянными стульями и столиком, а также латунным остовом кровати —

так что Джейми может с ним поиграть, правда?

— Тебе нужно завести павлинов, Иден, — сказал Эндрю. — Пара павлинов на террасе не помешает.

— Одному Богу известно, где теперь взять павлинов, дорогой, — заметила Хелен. — Старая миссис Уильямс не могла найти даже волнистого попугайчика, когда умер ее Бобби.

Иден обернулась.

— Не нужны мне павлины. — В ее голосе вдруг проступило раздражение. — Противные твари. Разве вы не знаете, сколько от них шума? Слышали, как они кричат? — Губы у нее дрожали. Я не могла понять, что с ней происходит. — Я не хочу, чтобы меня будили криками в четыре утра.

— Тогда хорошо, что у тебя будет няня.

Иден проигнорировала саркастическое замечание Эндрю.

— Не выпить ли нам перед ленчем?

Бедного Джейми опять разлучили с увлекательной игрушкой. На этот раз он не плакал. Взял Веру за руку и зашагал рядом с ней по длинному коридору, потом спустился по обрамленной перилами лестнице. Появился Тони. Он ездил на работу в Лондон три дня в неделю, и хотя сегодня был свободен, ему пришлось куда-то отлучиться, чтобы уладить вопрос о вырубке леса. Тони тут же принялся наливать нам напитки и, верный себе — милый, доброжелательный, общительный, скучный и абсолютно нечувствительный к настроениям людей и разнице между их вкусами и его собственным, — подробно рассказывал, где достал этот джин, это виски, этот херес и откуда ему привезут следующую партию. В доме было огромное количество бокалов всевозможных форм и размеров, и Тони тщательно следил за тем, чтобы брать для каждого напитка соответствующий бокал. Он даже настаивал, что для сухого и полусладкого хереса следует использовать бокалы разной формы — такого я больше никогда не слышала.

— А как насчет этого юноши?

Вера ответила, что Джейми может выпить скуош<sup>[62]</sup> или «государственный» сок, который она привезла с собой, но Тони не позволил.

— Э, нет, мы найдем кое-что получше. Лично я придерживаюсь мнения, что мальчика нужно приучать к вину с раннего возраста. Именно так поступал мой отец, и я еще ни разу об этом не пожалел.

— Но не в три же года? — сказал Эндрю.

— Не уверен. Мне было немногим больше. Мое знакомство с вином

поручили гувернеру, а он говорил, что начинать никогда не рано.

— Полагаю, выставил бутылку «Монраше»?<sup>[63]</sup> — очень серьезно спросил Эндрю.

Ответа Тони я не слышала, поскольку размышляла о том, что издеваться над Тони так же неприлично, как издеваться над Джейми. Потом подняла голову, протянула руку за хересом и, бросив взгляд в сторону Иден, увидела кровь, стекающую у нее по ноге.

Я замерла, словно парализованная. Мои пальцы прикоснулись к прохладной, твердой, скользкой, округлой поверхности бокала, а если точнее, то стиснули ее, а взгляд не отрывался от левой ноги Иден. Женщина, жившая в доме и выполнявшая обязанности прислуги — ее муж числился садовником, но был мастером на все руки, — вошла в комнату с двумя тарелками, на которых были разложены канапе, ломтики яйца, сыра и солений на круглых тостах. Иден как раз взяла у нее тарелки и предлагала закуску Хелен. Она наклонилась вперед, и пышная юбка ее платья немного задралась, так что стала видна обратная сторона коленей. Никто из нас не носил чулок — их было не достать, да и купоны тратить не хотелось, — но Иден надела очень светлые, тонкие чулки, вне всякого сомнения, швейцарские, и струйка густой, темной крови, стекавшая по внутренней поверхности ноги, достигла колена, потом икры и теперь подбиралась к лодыжке, которую обхватывал тонкий кожаный ремешок белой сандалии.

Странно, но я не сообразила, что это может означать. О месячных я думала лишь тогда, когда нечто подобное случалось или едва не случалось со мной. Больше всего я боялась, что, раздав канапе, Иден сядет и кровь испачкает ее красивую, белоснежную, украшенную вышивкой юбку. Но не знала, как поступить. Если уж на то пошло, я и сегодня не знаю. Если бы я шепотом попросила Иден — когда та приблизилась ко мне с тарелкой в руках — выйти на минутку, потому что мне нужно ей кое-что сказать, она рассмеялась бы в ответ, вскинув голову, и громогласно спросила, что такого я могу ей сообщить, чего не должны слышать все и что я хочу скрыть от остальных. С нее станется. Нужно знать Иден. Поэтому я покачала головой, отказываясь от канапе, и позволила ей пройти мимо, но в конце концов взяла себя в руки, повернулась к Хелен и бросила на нее такой умоляющий взгляд, что та — необыкновенно умная, тактичная и проникательная — тут же встала и сказала Иден, что перед ленчем должна навестить в ванную комнату, и что я, наверное, соглашусь составить ей компанию.

В те времена женщины не говорили друг с другом о месячных. По

крайней мере, много. Разве что со сверстницами, и непременно эвфемизмами. Как только мы вышли за дверь, я вкратце рассказала Хелен об увиденном. Я называла это «неприятностью». В конце концов, прогресс по сравнению с Вериным «гость в доме».

Хелен положила мне руку на плечо.

— Но этого не может быть, дорогая. Она же беременна.

— О боже, — сказала я. — Совсем забыла.

— То есть, моя милая, если ты не ошиблась, она уже не беременна.

Хелен оказалась права. Но нам не пришлось ничего говорить. Когда мы вернулись в комнату, декорированный Стюартом китайский салон, который я помню розовым и зеленым, но который просто обязан был быть желтым, Иден там не оказалось. Эндрю выглядел смущенным, а Тони, которому следовало выглядеть смущенным, если не сказать, озабоченным, продолжал рассуждать о приучении детей к земным удовольствиям — на этот раз речь шла о курении сигар. Мы сидели. Ждали. Джейми сказал, что хочет есть. Ему не нравились кусочки омлета и корнишоны на холодном тосте, и я не могу его в этом винить. Внезапно Вера спросила:

— С Иден все в порядке?

— Абсолютно, — ответил Тони. — Она просто поднялась наверх, чтобы припудрить носик. — Теперь все говорят «абсолютно», но в то время Тони, который постоянно использовал это слово, был исключением.

Вера пошла наверх. Ей пришлось взять с собой Джейми, потому что он не хотел оставаться и не хотел ее отпускать. Вошла миссис Кинг, экономка, объявила, что ленч готов; Тони сказал, что все в порядке и что мы будем через минуту. Он вышел, но не для того, чтобы проверить, как там Иден, а чтобы открыть вино, которое должно «подышать».

— У Иден выкидыш, — сообщила я Эндрю.

— Боже.

В комнате был телефон. В этот момент мы услышали, как он негромко тренькнул — кто-то наверху снял трубку параллельного аппарата. Почему-то все догадались, что Вера звонит врачу.

— Полагаю, нам не стоит задерживаться — или как там выражалась эта надоедливая женщина?<sup>[64]</sup> — а нужно встать и уйти, — сказала Хелен. — То есть не забрать ли нам Джейми, а Веру оставить с Иден?

— Только не Джейми, — сказал Эндрю. — Лучше уж павлины. Но в любом случае нужно уходить.

— Мне все равно ничего в горло не полезет, — сказала я.

Нам стоило большого труда объяснить все Тони. Разумеется, делать это пришлось Хелен, но мы присутствовали и все слышали — его тупость

была просто невероятной. Он продолжал настаивать, что это шутка и Хелен его разыгрывает — какие у них были отношения в семье? — а Иден с Верой просто «секретничают» наверху, как это принято у женщин. Потом к нам спустилась Вера, бледная и мрачная. На руках она держала Джейми, который свешивался с ее плеча.

— Я вызвала врача. У Иден сильное кровотечение. Думаю, она потеряла ребенка.

Ленч ел только Джейми. Вера выглядела растерянной, глубоко несчастной и озабоченной, но сын по-прежнему был у нее на первом месте. Она отвела его на кухню и покормила — молоком и сэндвичем с курицей. Мы с Хелен и Эндрю вернулись в Уолбрукс, а потом — как я полагаю, поздним вечером — Тони отвез Веру и Джейми домой. Врач повез Иден прямо в больницу.

Что с ней там произошло? Точно не знаю. Вне всякого сомнения, это знает Тони — но вспомнит ли он, а если вспомнит, захочет ли говорить? Захочет ли рассказать Дэниелу Стюарту? Я уверена, что нет. У Иден был выкидыш, и ей сделали какую-то операцию. Полагаю, у нее могла быть внематочная беременность, когда зародыш прикрепляется к поверхности фаллопиевой трубы. По мере роста зародыша труба может разорваться, и в таком случае ее следует удалить хирургическим путем — иначе женщина умрет. С другой стороны, зародыш мог отделиться сам и быть исторгнут без повреждения трубы. Единственное, что я знаю: после этого выкидыша в семье поговаривали, что Иден не может иметь детей — или ей нельзя. Либо следующая беременность будет угрожать ее жизни, либо она уже не сможет забеременеть. Моя мать говорила:

— Не могу отделаться от мысли, что это результат той жизни, которую Иден вела в женской вспомогательной службе.

Я не знала, что она имеет в виду. Отец тоже не знал. Мы оба объясняли слова матери некими не совсем осознанными предрассудками, мрачным наследием викторианской морали. Однако ее предположение было вполне реальным и с медицинской точки зрения довольно точным. Мать намекала, что Иден, вступая в беспорядочные связи, могла заразиться гонореей, одним из осложнений которой является непроходимость фаллопиевых труб. Говорят, в прошлом именно по этой причине во многих семьях было лишь по одному ребенку. Новобрачная заразилась гонореей от мужа одновременно с зачатием, и ребенок благополучно появлялся на свет. Но болезнь прогрессировала, фаллопиевы трубы становились непроходимыми, что делало невозможным следующее зачатие. Если Иден действительно подхватила гонорею от любовника, результатом могла стать внематочная

беременность.

У меня нет фактов, подтверждающих эти предположения. Говорят, непроходимость фаллопиевых труб может развиться после операции на брюшной полости. В детстве у Иден вырезали аппендицит. Или это просто необъяснимое невезение. Одно несомненно: у Тони Пирмейна не было и, вероятно, уже никогда не будет наследника.

Лет через пятнадцать после того, как это случилось, Чед рассказал мне историю своей жизни — за чаем в отеле «Браунс». Я случайно встретила его на Бонд-стрит, когда пошла стричься в салон «Видал Сассун». Чай в «Браунс» — это в высшей степени цивилизованная церемония. Ты опускаешься в кресло, и тебе приносят маленький кекс домашней выпечки, который кладут на тарелку вместе с парой щипчиков. Подразумевалось следующее: вы *обязаны* есть то, что англичанам обычно подают к чаю. Пирожные, которые привозили на трехъярусной серебряной подставке, заказывать было необязательно, но в любом случае это потом. Они, такие соблазнительные, стояли рядом, но сначала следовало съесть кекс — как во время чаепития в детском саду.

В этой обстановке мы с Чедом, наверное, были неуместны. Разумеется, мы не выглядели неуместными, мы выглядели такими же, как все, элегантными городскими жителями: я только что из парикмахерской, а Чед — похудевший и начавший седесть. Он был первым из знакомых мне мужчин, который сменил спортивный пиджак на более легкомысленную куртку на молнии. Мы встретились на тротуаре перед «Аспризом».<sup>[65]</sup> Чед раскинул руки, и я упала в его объятия; мы стояли, обнявшись, хотя, насколько мне помнится, никогда не обнимались, не целовались и даже не брали друг друга за руку. Но между нами существовала некая странная связь. Немало найдется в мире людей, которых связывает повешенная женщина.

Не знаю, почему мы выбрали «Браунс». Явно не потому, что Чед жил неподалеку, разбогател или просто имел привычку сюда приходить. Журналистом он был внештатным и имел квартиру в Фулхэме (в 1963 году этот район еще не считался модным, интересным или «перспективным»), и я не думаю, что он очень хорошо зарабатывал. Фрэнсис загубил его жизнь, уничтожил всякую надежду на успех. Чед рассказал мне об этом, пока мы ели кексы. Долгое время он считал, что стоит пожертвовать миром ради любви, но беда в том, что любовь заканчивается, и тогда ты вспоминаешь о существовании мира, которым пожертвовал.

Чед не заговорил бы об этом, если бы я под влиянием чувств, в порыве откровенности, вдруг не призналась, что видела его и Фрэнсиса в ночь после свадьбы Иден. Я никому не рассказывала — ни Эндрю, ни Луи. Чед посмотрел мне прямо в глаза бесстрастным, твердым взглядом, довольно

неожиданным после того, что я ему только что сообщила.

— Я был болен любовью, — произнес он. — Именно так должен звучать перевод фразы из «Песни песней» царя Соломона, а не «изнемогаю от любви». Я мог только мечтать об этом — изнемогать от любви. Я влюбился во Фрэнсиса, когда ему было тринадцать. Классический случай, правда? Император Адриан и Антиной. Уродливый старик и прекрасный юноша.

— Вам не было и тридцати, — возразила я.

— Старость — это состояние души. С Фрэнсисом я чувствовал себя старым и безобразным. То, что я делал, большинство людей даже сегодня сочли бы отвратительным, но я делал это не так уж часто — он мне не позволял. И я не был первым. Вы удивлены? Обычно Фрэнсис позволял мне заниматься с ним любовью три раза в год. Сорок пятый стал моим счастливым годом — должно быть, Фрэнсис праздновал окончание войны, потому что допустил меня к себе четыре раза. Неудивительно, что я не мог выбросить его из головы.

— Фрэнсис опровергает Фрейда, правда? — сказала я. — Бедная Вера не была деспотичной, собственнической матерью.

— Да, но Фрэнсиса не назовешь настоящим гомосексуалистом. Таким, как я, до мозга костей. У меня никогда не было женщины. Фрэнсису же было просто все равно — мужчины, женщины, — если это совпадало с его планами. Я часто спрашивал себя, почему он не порвал со мной, и нашел два ответа. Я и теперь уверен, что они правильные. Во-первых, это очень приятно, когда тебя обожают — то есть мне так кажется, поскольку меня никогда не обожали, — приятно, когда тебе поклоняются и ты знаешь, что тебе простят любые поступки, безразличие, небрежение или откровенную грубость.

— А второй ответ?

— Фрэнсису нравилось делать то, что он сам и остальные люди считали дурным. Просто потому, что это грех. Такое бывает очень редко, гораздо реже, чем вы можете подумать. Даже величайшие грешники на свете — скажем, Гитлер, Сталин, серийные убийцы — верили в то, что поступают правильно или действуют во имя великой цели. Вряд ли кто-то намеревается сознательно творить зло, подобно мильтоновскому Люциферу; в любом случае он никогда не признается нам, а всегда будет выглядеть довольно приятным малым. «Отныне, Зло, моим ты благом стань»<sup>[66]</sup> — нет, это не тот случай. Фрэнсис же хотел, чтобы зло оставалось злом, его злом, и именно по этой причине было для него желанным. Но ничто не могло убить мою любовь к нему. Я пошел бы за

ним на край света.

Эти слова глубоко взволновали меня. Я подумала о связи между сценами, которые мы с Энн разыгрывали в хибаре в дождливые дни, и занятиями Чед и Фрэнсиса туманными ночами.

— Как Мария Стюарт, — сказала я, — пошла за Ботвеллом в одной сорочке.

— В моем случае это были трусы, — сказал Чед. — Только Фрэнсис редко позволял мне зайти так далеко. Знаешь, из-за него я упустил столько возможностей... Я был внештатным корреспондентом общенациональной газеты, и они предлагали мне постоянную работу, но я отказался. С Фрэнсисом мы виделись только на школьных каникулах, но на Флит-стрит<sup>[67]</sup> я лишился бы и этой радости. Работа в «Оксфорд мейл» казалась мне подарком судьбы. Я мог ежедневно если не говорить с ним, то хотя бы видеть его. Примерно через полгода после того, как ты нас видела, меня уволили. И опять из-за Фрэнсиса. Нет, я его не виню, только себя, но связано это было с ним.

В один из вечеров я получил задание редакции написать репортаж о ежегодном ужине теннисного клуба в Хедингтоне. Обычно на такие мероприятия никто не ходит — заблаговременно достаешь программку, а остальное узнаешь от секретаря или кого-нибудь еще. У меня не было намерения туда идти. Я пригласил Фрэнсиса на ужин — в первый раз за целый месяц нам выпадал шанс остаться вдвоем. Знаете, говорят, что в жизни каждого человека есть высшая точка; день или несколько часов, когда он испытывает совершеннейшее, исключительное счастье, или, если хотите, экстаз, который больше никогда не повторяется. Таким стал для меня тот вечер. Я не сомневался в этом тогда и теперь тоже не вижу причин менять свое мнение. Фрэнсис пришел ко мне домой, мы занимались любовью, и он был добр ко мне, а я чувствовал себя необыкновенно счастливым; это была моя высшая точка. Кроме того, потом я очень долго не был счастлив — вернее, более или менее доволен жизнью. Я написал репортаж о теннисном клубе, руководствуясь программкой и не проверив, что происходило на самом деле, а потом мне пришлось объяснять редактору, почему я не упомянул о том, что один из почетных гостей, местная «шишка», упал замертво, когда произносил речь. Итак, меня выгнали, и я вернулся в глушь Северного Эссекса — по крайней мере, вероятность встретить Фрэнсиса здесь была выше, чем в любом другом месте, — и поскольку из местной газеты кто-то уволился, меня приняли на прежнее место.

В тот день Чед многое рассказал мне — о том, как последовал за

Фрэнсисом в Лондон и, получив отказ на Флит-стрит, устроился репортером в местную газету на северо-западе Лондона, которая называлась «Уиллзден ситизен». Как в конечном итоге надоел Фрэнсису, который ударил его, так что Чед пролетел три лестничных пролета от своей студии в Брондсбери-Парк. Были и более мучительные вещи: как Фрэнсис отверг его любовь, все еще сохранявшуюся, несмотря на обидные шутки и бессердечные розыгрыши, как решимость Фрэнсиса избавиться от него привела к тому, что он стал унижать Чеду прилюдно, причем более изощренно и жестоко, чем в подростковом возрасте унижал Веру. В конце концов, когда Фрэнсису исполнилось двадцать пять, а Чеду перевалило за сорок, все закончилось, но у Чеды уже не хватало энергии и сил для работы репортера в суровом северном пригороде.

— Я похож на Адриана больше, чем кто-либо другой. — Он указал на диагональные морщинки на мочках ушей. Вероятно, такие морщинки свидетельствуют о предрасположенности к ишемической болезни сердца; это медицинский факт, а не бабьи сплетни. По бюстам Адриана и изображениям на монетах мы знаем, что у него были именно такие мочки, а умер он, как известно, от сердечной недостаточности.

Но сначала Чед поведал о том, как вернулся в Эссекс на старую работу — зимой 1948 года, той зимой, когда Вера болела. Тогда он был частым гостем в «Лорел Коттедж». Ему никогда не приходило в голову, что люди считают его любовником — или бывшим любовником — Веры, поскольку просто не мог представить женщину в качестве сексуального партнера, и теперь, когда я его просветила, это стало для него откровением. Нет, он не знал, даже не догадывался. Если Чед и симпатизировал Вере, поддерживал с ней дружеские отношения, то лишь потому, что она была матерью Фрэнсиса, а ее дом напоминал Чеду о нем. Чед приходил к ней из желания побыть в доме Фрэнсиса и поговорить о Фрэнсисе, если представится такая возможность — как Адриан, насколько мне известно, мог приходиться к матери Антиноя в Вифинии. Тогда Чеду казалось, что, став другом семьи, он навечно свяжет себя с возлюбленным. Фрэнсис будет принадлежать ему — возможно, лишь в малой степени, на расстоянии, опосредованно, с расставаниями на годы. Ему казалось, что эти крохи, обрывки новостей, мимолетные упоминания имени, даже если им неизбежно сопутствует боль, лучше — гораздо лучше, — чем вообще ничего.

— Вы хотели оставить дверь приоткрытой, — сказала я.

— Да, отчасти. Наши отношения — что за слово! я его ненавижу, но как еще это назвать? — наши «не знаю что» были такими редкими, такими эфемерными, такими *непрочными*... то есть непрочными для него и

хрупкими для меня. Но так я хотя бы мог представить, как через двадцать лет, постаревший, я сижу рядом с состарившейся Верой у камина и слушаю ее доверительный рассказ о том, чем он занимается, о его карьере, его печатных трудах. Мне казалось: если большего не дано, я могу иметь хотя бы это, — и я не представлял, что может мне помешать, если я проявлю должную настойчивость. Нужно лишь продолжать визиты к Вере. В любом случае оставался шанс, что Фрэнсис приедет туда. Формально он все еще жил дома. Скоро наступит момент, говорил мне Фрэнсис, когда он покинет дом навсегда и больше туда не вернется. Я ему до конца не поверил; кроме того, этот момент еще не наступил, и я жил настоящим. Знаете, современная психология считает такое поведение правильным, практически идеальным. Очень странно, потому что в настоящем мы живем тогда, когда о прошлом вспоминать не хочется, а о будущем думать страшно.

В один из тех зимних дней, через неделю после Рождества, Чед пришел в «Лорел Коттедж», надеясь, что застанет там Фрэнсиса. Его не было. Фрэнсис на Новый год уехал в Шотландию вместе с какими-то знакомыми и, конечно, не потрудился сообщить об этом. Чед сказал, что испытал горькое разочарование, настоящий шок, узнав, что Фрэнсис уехал и вернется в Оксфорд, не заезжая домой, и поэтому он, Чед, не увидит его еще четыре месяца; известие выбило его из колеи, и он не заметил, что Вера больна. И только когда она извинилась, что не предлагает ему чай, поскольку слишком слаба, чтобы встать с кресла, Чед обратил внимание на ее бледность, мешки под глазами, а когда прижал ладонь к ее лбу, то почувствовал выступивший на коже пот.

В отеле «Браунс» Чед рассказал лишь начало истории, прибавив, что иногда задает себе вопрос, в какой степени сам способствовал тому, что случилось потом. Что было бы, выполни он просьбу Веры — с учетом обстоятельств, довольно странную просьбу матери маленького мальчика, обращенную к *нему*! И что, тогда не случилось бы этого ужасного переплетения человеческих судеб? Все было бы хорошо? Не думаю. Иден что-нибудь придумала бы, и Веру все равно ждало поражение. Я сказала об этом Чеду, сказала, чтобы он не мучился совестью. Несмотря ни на что, я знала их лучше его — все-таки они мои родственники. Расставшись, мы с Чедом больше никогда не встречались и даже не слышали друг о друге, пока в наши жизни не вошел Дэниел Стюарт.

Я задала ему еще один вопрос. Может, я была не права. В конце концов, это не мое дело.

— Эхо наконец затихло, Чед?

Он сделал вид, что не понял.

И вот передо мной — в буквальном смысле, лежит на столе, извлеченный из конверта — написанный самим Чедом рассказ о том, что произошло, когда он пришел к Вере в канун Нового года. Чед записал свои воспоминания для Стюарта, по его просьбе, потому что живых свидетелей тех событий больше не осталось. Несмотря на то что ему перевалило за семьдесят, а также на мочки ушей, как у Адриана, Чед производил впечатление очень бодрого человека, в здравом уме и твердой памяти; но что стало с его стилем, таким ясным, изящным, доставляющим истинное наслаждение? Думаю, стиль был принесен в жертву любви к моему кузену Фрэнсису. Стюарт хочет, чтобы я взглянула на этот рассказ и подтвердила его. Этого я сделать не могу. Меня там не было. Я жила в Лондоне, в Кембридже, иногда в Сток-бай-Нейленде и все, что знала о болезни Веры, содержалось в одном-единственном письме, которое она прислала отцу. Но воспоминания Чеда я все равно прочту. Мне интересно узнать остальное — то, что он не рассказал мне в отеле «Браунс».

*Я постараюсь изложить вам факты, не позволяя сегодняшней оценке прошлых событий влиять на мои утверждения. Постараюсь написать то, что тогда мне казалось правдой. В 1948 году, в последний день 1948 года, я даже не подозревал о тайне, окружающей Джеймса Рикардо, в ту пору Хильярда, которого мы называли Джейми. Насколько я знал, он был сыном Джеральда Хильярда, и мне в голову не приходило ставить под сомнение этот факт. Разрыв между мистером и миссис Хильярд я приписывал какой-то другой причине. Точно так же я пребывал в полном неведении о возможной трещине в отношениях Веры Хильярд и Иден Пирмейн. В течение всего времени нашего знакомства их преданность друг другу выходила, если можно так выразиться, за пределы сестринских чувств. Я нисколько не сомневался, что их отношения никогда не изменятся, и в определенном смысле — даже тогда — они остались прежними.*

*31 декабря 1948 года пришлось на пятницу. Утром мне нужно было провести небольшое расследование для газеты, а после этого весь день оставался в моем*

распоряжении. Я уже строил планы о великолепном новогоднем вечере, который проведу вместе с семьей Хильярд. Чтобы подтвердить эти планы, я поехал домой из Колчестера через Грейт-Синдон и заглянул к Вере Хильярд, в «Лорел Коттедж».

Днем она никогда не запирала дверь — в те времена было гораздо безопаснее. Я вошел, окликая ее. Мне навстречу выбежал маленький мальчик, Джейми, но саму Веру я нашел сидящей в кресле, и при моем появлении она не встала. Однако прошло еще какое-то время, прежде чем я понял: что-то не так. Ее подавленное настроение я приписал тому факту, что ее сын Фрэнсис передумал и не встретит с нами Новый год. Потом Вера сказала, что, наверное, заболела гриппом — у нее температура 39 градусов, она недавно измеряла. Я спросил, не нужно ли позвать врача, но Вера сказала, что врач лишь посоветует лечь в постель, а как она может это сделать, если на ее попечении Джейми?

Я оказался перед нелегким выбором. Вера выглядела больной, и, похоже, ей становилось хуже. Я увидел, как ее лицо покрылось потом, а потом ее стало знобить, и она попросила принести одеяло. Конечно, бросать ее было нехорошо, но, с другой стороны, ничем помочь я ей не мог, и мне совсем не хотелось самому заразиться гриппом. Сделать я мог только одно. Я сказал, что заберу Джейми на пару часов, чтобы она смогла отдохнуть. Вера согласилась. Поэтому я взял ребенка к себе, приготовил ему ленч и принялся за статью; Джейми играл со старым набором для маджонга, а в четыре я отвез его домой.

Вере стало гораздо хуже. Она лежала в постели, вернее, на постели, не сняв одежды, и ворочалась с боку на бок, держалась за грудь и дышала с трудом. На этот раз я не колебался: позвонил врачу и попросил приехать как можно скорее. В те времена вы могли позвонить врачу и поговорить с ним, а не с секретарем или, того хуже, с автоответчиком. И доктор приезжал к вам, и небеса не падали на землю. Ей повезло, у нее есть я, чтобы за ней ухаживать, сказал врач. Думаю, он принял

меня за мужа. Я поспешно разубедил его, но пообещал остаться на ночь. А что еще я мог сделать?

Когда врач ушел, я спросил Веру, не позвонить ли Иден, однако она отказалась. Иден ни в коем случае нельзя беспокоить, особенно в канун Нового года. Меня, конечно, волновал Джейми. Я мог пару дней присмотреть за Верой, но без трехлетнего — или ему было уже четыре? — ребенка. Тем не менее мне удалось уложить его спать, а когда Вера заснула, я попробовал дозвониться до Иден. Трубку взяла экономка, миссис Кинг, и сказала, что никого нет дома. Сегодня же канун Нового года, разве я не помню? В ту ночь я спал в комнате Фрэнсиса Хильярда, заведя будильник на два часа, а потом на пять, чтобы встать и взглянуть, как там больная.

Нельзя сказать, что Вера бредила, — это было бы преувеличением. Но у нее была очень высокая температура и кружилась голова. Когда я вошел к ней во второй раз, она схватила мою руку и тонким голосом быстро заговорила, в основном какую-то бессмыслицу, среди которой иногда проскакивало что-то связанное насчет того, что жизнь без детей не имеет смысла, а потом вдруг продекламировала стих.

Я всегда считал Веру очень далекой от литературы, но эти строки она, наверное, помнила со школы — такое сильное впечатление они на нее произвели.

Мороз ли, буря ли, жара —  
Нет лучше друга, чем сестра,  
С ней весело шагать.  
Обрыв заметит за версту,  
Споткнись — подхватит на лету,  
Поможет устоять. <sup>[68]</sup>

Я снова лег, но в семь часов меня разбудил Джейми. Он хотел к матери, но я боялся, что ребенок тоже заразится гриппом. Пришел врач и сказал, что с Верой

не обязательно сидеть все время, только нужно найти человека, который навещал бы ее два или три раза в день. Но ребенка ни в коем случае нельзя оставлять с ней. Я снова попытался позвонить Иден, но ее снова не оказалось дома. Экономка пообещала передать миссис Пирмейн просьбу перезвонить мне, когда та вернется к ленчу. Это будет часов в двенадцать, поскольку в доме ждут гостей.

Вера по-прежнему дышала с трудом, а голос у нее был напряженным. Я присел к ней на постель и передал слова врача. Потом сказал, что мне нужно уйти, но я поговорил с Джози Кембас, и она обещала, что придет днем, а потом вечером. Сам я дождусь звонка от Иден, поскольку нужно договориться, чтобы кто-то присмотрел за Джейми.

Последняя фраза привела Веру в крайнее возбуждение. Она обеими руками схватила мою ладонь и села. Я должен взять Джейми. Должен пообещать ей, что возьму Джейми и присмотрю за ним. Я точно помню ее слова:

— Вы должны взять его, Чед, он вас знает. Мне будет легче, и я смогу заснуть, зная, что Джейми с вами.

Вера сказала, что скоро ей станет легче и болезнь никак не может продлиться больше двух или трех дней. Она не помнит, чтобы болела больше одного дня после той неприятности, которая с ней случилась, когда Иден была совсем маленькой; по ее мнению, то была анемия, которую было бы легко вылечить, догадайся кто-нибудь дать ей железо. Вера все говорила и говорила, раскачиваясь из стороны в сторону и крепко сжимая мою руку. Я пообещаю ей — правда? — что возьму Джейми до понедельника. К понедельнику ей станет легче, она будет совершенно здорова. Джейми не причинит хлопот — он съест то же, что и я, он не просыпается по ночам, а чистая одежда для него лежит в ящиках комода в его комнате. Если я принесу чемодан, она сама все уложит.

Мне и в голову не пришло согласиться. Я находил

подобную просьбу странной. Одиноким мужчиной, живущий в квартире, которая больше похожа на студию с кухней... Что я могу знать о потребностях, вкусах и капризах маленьких детей? Следующим утром — несмотря на воскресный день — у меня было назначено интервью с членом парламента от нашего округа; в другое время он со мной встретиться не мог. А в девять утра понедельника мне нужно на работу. Поэтому не могло быть и речи, чтобы выполнить просьбу Веры. Хотя я и сомневался, что она поправится к понедельнику. Я сказал, что Джейми должна взять женщину — Иден.

Вера рухнула на постель, словно увидела входящего в дверь призрака. Она смотрела на меня так, словно сквозь меня видела что-то ужасное — привидение, которое проникло в комнату и теперь нависло над ней, угрожающе поднимая руки. В каком-то смысле так оно и было, хотя призрак оставался невидим для остального мира. Вера изо всех сил стиснула мою руку, как будто хотела удержаться рядом с собой.

— Пожалуйста, Чед, возьмите Джейми!

Она принялась умолять и заклинать меня, и я подумал, что от высокой температуры у нее помутился рассудок. Ничего другого мне тогда не приходило в голову.

— Не могу, — ответил я. — Будьте благоразумны. Вы же знаете, что я не могу.

— Я вас никогда ни о чем не просила. И больше никогда не попрошу. Пожалуйста. Чед.

— Это невозможно, Вера, — сказал я.

— Тогда попросите Джози — пусть возьмет его к себе. Джейми не знает ее так хорошо, как вас, но Джози добрая женщина и будет к нему добра. Обещайте, что поговорите с Джози.

Я сказал, что спрошу. Сделаю все, что в моих силах. Внизу зазвонил телефон, и я спустился, чтобы снять трубку; разумеется, это была Иден. Экономка передала ей, что Вера больна, и после ленча Иден придет, не дожидаясь, пока разойдутся гости; с гостями

*останется Тони, а она приедет прямо к Вере и заберет ее вместе с Джейми в Гудни-холл.*

*Я испытал огромное облегчение. У меня словно гора спала с плеч, и мне казалось, что все неприятности уже позади.*

*Не успел я повесить трубку, как пришла Джози с ленчем для Веры, который та, естественно, не могла есть; Джози принадлежала к числу немногочисленных (в те годы) владельцев стиральной машины и поэтому забрала с собой грудку грязного белья и одежды. Я сказал Вере, что скоро приедет Иден, и удивился ее в высшей степени странной реакции.*

*Она посмотрела на меня сумасшедшими глазами, явно пребывая на грани истерики, но на бред это было не похоже. Свою безумную просьбу она произнесла рассудительным, спокойным и ясным голосом.*

*— Джейми днем спит. Заприте его в комнате, Чед, и скажите Иден, что его забрала Джози.*

*Что я мог ей ответить? Как отреагировать на подобную просьбу, явно безумную? Я не стал спорить. Пообещал. Да простит меня Бог.*

На этом месте рассказа Чедда я остановилась. Странно, но прочитанное меня расстроило. Разумеется, я знала об отчаянии Веры, знала, как все было плохо, но не подозревала, что до такой степени. Что касается подтверждения для Дэниела Стюарта, тут я ничем не могла ему помочь. Если только найду письмо, которое Вера отправила моему отцу через неделю после того воскресенья. Оно датировано 6 января 1948 года и входит в число немногих зимних писем, которые отец сохранил. Самое ценное в письме не то, о чем сообщается, а то, о чем умалчивается.

*Дорогой Джон!*

*Мне следовало написать тебе раньше, чтобы поблагодарить за денежный перевод, который вы с Вранни прислали Джейми на Рождество. К сожалению, все прошедшую неделю я пролежала с гриппом. Болезнь протекала тяжело, с осложнениями на горло и легкие, но все были удивительно добры и всячески помогали; Джози и Тора Моррелл навещали меня каждый день, а*

*Хелен стала мне настоящей опорой — часами сидела возле меня, читала мне, присылала еду из Уолбрукса.*

*Джейми у Иден. Я немного волновалась, что она еще недостаточно окрепла, чтобы заботиться о нем, однако она уверила меня, что снова чувствует себя нормально. Там ему лучше всего, в этом милом доме, а на следующей неделе я уже смогу его забрать. Иден приехала за ним в ту же минуту, как только узнала, что я больна...*

Письмо было прочитано вслух, за завтраком, и моя мать слушала его с обычной кривой усмешкой, указывавшей на ее раздражение.

— Я рад, что мальчик у своей тетки, — сказал отец. — Прямо гора с плеч. Там ему будет лучше, чем у кого бы то ни было. Иден — сама доброта, она для Джейми почти как родная мать.

— Не вижу особой разницы, — произнесла моя мать своим ровным, бесстрастным тоном. Мне показалось, она имеет в виду, что Вера и Иден одинаково ужасны для любого ребенка, оставленного на их попечение. Отец, видимо, понял ее точно так же — отложил письмо и спросил, что она имеет в виду. Мать уклонилась от прямого ответа.

— Ты знаешь, что я думаю. Я еще тогда тебе говорила, что выкидыш твоей сестры — это к лучшему. Она не любит детей, и у нее нет ни капли терпения — достаточно одного взгляда, чтобы это понять.

Они немного поспорили: отец настаивал, что материнский инстинкт в полной мере воплотился в обеих сестрах. Мать не могла забыть тот случай, когда Иден, оставшись у нас ночевать, вытерла пыль в спальне. Не сдержавшись, она говорила об эгоизме Иден, о ее беспечности, жажде наживы и так далее. Я вспомнила об утре в день свадьбы, когда Иден отмахнулась от Джейми и даже могла ударить его, не уклонись он от ее руки. Я вспомнила, что она никогда не разговаривала с племянником без крайней необходимости, а потом в моей памяти всплыла картина: Джейми с резной швейцарской собачкой и набросившаяся на него Иден: «Положи немедленно! Это не игрушка!»

Отец встал, собираясь на работу.

— Я действительно убежден, что там ему будет лучше, — повторил он, как будто никакого спора и не было. — С собственной теткой.

— Я бы сама с удовольствием взяла его, если бы знала, — сказала мать.

Никто ни разу не вспомнил о человеке, который в первую очередь

должен был бы присматривать за Джейми и ухаживать за бедняжкой Верой. Думаю, дело в том, что мы все уже давным-давно перестали рассчитывать на Фрэнсиса, ждать от него помощи или даже просто участия. Почти не считали его членом семьи. Из воспоминаний Чеда стало очевидно, что Вера не предлагала вызвать его из Шотландии, куда он уехал на Хогманай.<sup>[69]</sup> Мои родители забыли о его существовании. А я сама, которая обязательно поинтересовалась бы — зайти речь о какой-то другой семье, — почему нельзя позвать на помощь сына больной женщины, просто не представляла Фрэнсиса в этой роли. Я перечитала письмо Чеда, тщетно пытаюсь найти упоминание о Фрэнсисе, но отметила лишь, что Чед провел две ночи в его комнате и, вне всякого сомнения, в его постели, и попыталась представить, что он чувствовал при этом — восторг или боль, а возможно, и то и другое.

*Я не стал запира́ть Джейми в спальне, — продолжал Чед. — Просто уложил в постель вместе с игрушками, надеясь, что он хоть немного поспит. Иден приехала около трех. Вам нужны факты, все, что я помню, — поэтому могу сообщить, что она была здорово навеселе, хотя и не пьяна. От нее пахло вином. Мадам де Помпадур говорила, что шампанское — это единственное вино, выпив которое женщина не теряет красоты, поэтому я полагаю, что Иден, помимо всего прочего, пила шампанское. Откровенно говоря, ей не стоило садиться за руль. Она прошла прямо в комнату Джейми, собрала для него чемодан и только потом заглянула к Вере.*

*Я не слышал, что они говорили друг другу. Войдя в комнату, Иден разбудила Джейми, и парень захныкал. Я дал ему немного апельсинового скуоша и печенье. К тому времени мне очень хотелось уйти. Услышав, что Иден меня зовет, я поднялся наверх и увидел Веру, лежащую на лестничной площадке. Она была в сознании, но слишком слаба и не могла встать. В первый момент я подумал, что Вера хотела самостоятельно дойти до ванной, но потом пришел к другому выводу. Иден тоже была на лестничной площадке, в перчатках, с сумочкой под мышкой. Полагаю, она попрощалась и вышла из спальни, а Вера бросилась за ней, наверное, попыталась догнать и остановить, но была слишком слаба и упала.*

Я взял ее на руки и отнес в постель. Она лежала, откинувшись на подушки и закрыв глаза. Внизу заплакал Джейми.

— Пожалуйста, Чед... Джейми, — прошептала Вера. По ее щекам побежали слезы. Я подумал, что она плачет от слабости и высокой температуры.

— Лучше не беспокоить ее, пусть немного поспит, — сказала Иден. Ее речь звучала слегка замедленно. Если не знать ее нормального голоса, то можно было и не заметить.

Мы спустились к Джейми. Он плакал, опрокинув на себя скуош. Я вытер малыша и налил ему еще. Иден ничего не говорила о том, что собирается увезти и Веру, и Джейми. Я тоже не напоминал. Состояние Веры не позволяло ее перевозить. Врач не рекомендовал ей вставать с постели. Мы сами видели, что случилось, когда она попыталась ходить. Я размышлял, можно ли оставлять Веру одну, но в это время пришла Джози Кембас — с вязанием и библиотечной книгой, готовая остаться тут до вечера, а если потребуется, то и на ночь.

Так все и решилось. Иден усадила Джейми на заднее сиденье машины, положила чемодан в багажник и уехала. Я сказал Джози, что позвоню Вере в понедельник, чтобы узнать, как она, и тоже отбыл. Однако в понедельник сам свалился с гриппом. Просидел дома всю ту неделю и часть следующей, а когда наконец позвонил в «Лорел Коттедж», трубку сняла Джози и сказала, что Вере гораздо лучше, но в данный момент она спит. После этого я довольно долго не разговаривал с Верой, но к тому времени все изменилось. С Иден Пирмейн я больше не встречался. Последний раз я видел ее, когда она садилась за руль своего автомобиля, а ее последние слова, которые я слышал, были обращены к Джейми — Иден предупреждала, чтобы он не прищемил пальцы дверцей.

Вера долго болела. Навестив ее в феврале, я была поражена ее видом и подумала, что Хелен права — у Веры недостаточно сил, чтобы забрать

Джейми.

Я приехала в Уолбрукс в пятницу вечером вместе с Эндрю и осталась на выходные. Если за прошедшие несколько недель мой отец и получал какие-то известия от Веры или Иден, новости до меня не доходили — за исключением информации, что выздоровление Веры идет медленно. В начале визита в Сток-бай-Нейленд моя тревога за Веру была обусловлена лишь укорами совести. По очевидным для всех причинам теперь, приезжая в деревню, я останавливалась не у нее, а у Хелен. Вне всякого сомнения, Вера понимала причину, но все равно получалось, что я ее бросила.

— О, дорогая, — сказала Хелен. — Она в любом случае не захотела бы тебя принять. То есть не то чтобы не захотела — просто не в состоянии. Вера еще не оправилась после того гриппа. Завтра мы к ней поедem, и ты сама увидишь. Она хочет вернуть Джейми, хочет, чтобы мы все поехали к Иден и забрали Джейми, но я не знаю. Увидишь.

Вера так похудела, что мне приходилось делать над собой усилие, чтобы не смотреть на нее во все глаза, и стала какой-то тусклой — так выглядят в старости некоторые светловолосые женщины, становясь похожими на засохший листок. Кожа ее покрылась морщинами, волосы сильно поседел, запястья и колени выпирали, а когда она улыбалась, лицо становилось похожим на череп. Но несмотря на все это, несмотря на явную слабость, всю минувшую неделю Вера отремонтировала комнату Джейми. Мы — Хелен, генерал, Эндрю и я — поднялись наверх, чтобы оценить ее работу. Это была та спальня, в которую обычно помещали меня, где я смотрела, как Иден намазывает кремом лицо и завивает волосы, где сама пробовала ее косметику. Комната преобразилась. Вера покрасила стены в белый цвет, а дверь в синий, сшила для Джейми коврик из синих и белых лоскутов, вырезала иллюстрации из книг Беатрикс Поттер<sup>[70]</sup> и вставила в картонные рамки.

— Просто божественно, — сказала Хелен. — Он будет в восторге. Но, дорогая, ты уверена, что у тебя хватит сил?

Вера улыбнулась своей улыбкой черепа.

— Конечно, хватит. Я ведь все это сделала, правда? В любом случае мне кажется, что не нужно оставлять Джейми у Иден. Просить об этом было бы неприлично. Понимаете, Иден очень занята. Думаю, она уже им пресытилась и будет рада его вернуть.

В ее словах было столько радости, столько уверенности, столько... отчаяния?

— Пусть какое-то время поживет у нас. — В голосе Хелен можно было услышать все, что угодно, кроме воодушевления. Тем не менее никто не

сомневался в ее искренности. Она возьмет Джейми, если Вера скажет. — Я с радостью приму его, дорогая. Если ты еще не готова, а Иден нуждается в отдыхе.

Вера промолчала. Тогда я очень удивилась, заметив ее испуг. Или мне это теперь кажется? Может, в тот день я обратила внимание только на ее худобу, усталый вид и то, как она покачала головой, благодарно и как-то обреченно улыбаясь Хелен? Мы сели в машину и поехали в Гудни-холл. К дому вела длинная липовая аллея; вокруг корней деревьев и на лужайках намело сугробы. Казалось, все небо тоже в снегу. Был самый разгар зимы, холодное и промозглое время, хуже декабря, и хотя дни становились длиннее, после пяти уже темнело.

Красивый особняк архитектора Стюарта, со своими террасами, балюстрадами и лестницами, выглядел каким-то неприветливым. Ни хвойных деревьев, ни вечнозеленого кустарника, которые могли бы оживить серый дом и серое небо над ним. Было три часа дня, и свет в комнатах еще не горел. Когда мы ехали по гравийной дорожке перед террасой, произошло нечто странное. Из-за дома медленно вышла Иден, одна; она остановилась в углу балюстрады около каменной вазы, прижала ладони к постаменту и посмотрела сначала на парк, а потом на нас. На Иден была шуба с пушистым, поднятым вверх воротником, обрамлявшим ее лицо. Я уверена, что она нас не ждала, не знала, что мы едем, и была неприятно удивлена, увидев машину.

Ей не удалось скрыть свои чувства. Она родилась в другой среде, и ей не прививали утонченные манеры, требовавшие скрывать истинные чувства и надевать маску любезности. Иден спустилась по лестнице; вид у нее сначала был сердитый, но затем она, похоже, смирилась. Волосы ее полностью скрывал тюрбан из какой-то темной шерстяной ткани — вместе с воротником из рыжей лисы он не способствовал поцелуям. Никто не целовался.

— Боже мой, как я рада всех вас видеть. Вот это сюрприз! — сказала Иден.

— Я тебя предупреждала, что мы приедем в воскресенье, — напомнила Вера.

— Две недели назад ты говорила, что, возможно, приедешь в эти выходные.

Создавалось впечатление, что, если бы Вера попыталась назвать точную дату, Иден бы ей отказала.

Мы вошли в дом. Мне казалось, что, несмотря на трудности с топливом — собственно, тогда трудности были почти со всем, — в Гудни-

холле будет тепло, Иден и Тони что-нибудь придумают. Но в доме было холодно, холоднее, чем в колледже, в Уолбруксе или у моих родителей. В гостиной работал маленький электрический камин. Мы все остались в пальто и, возможно, поэтому не сделали попытки сесть. Иден сказала, что сегодня у миссис Кингс выходной, но для чая все равно рановато, не так ли? Тони тоже куда-то уехал.

Голос Веры показался мне непривычно робким:

— Джейми еще спит?

— Джейми? — переспросила Иден, словно это имя она когда-то слышала, но теперь припоминает с трудом. — Джейми? Да, наверное, спит. Точно не знаю.

Все молчали. Потом Эндрю признался мне, что на мгновение у него возникло чувство, что Иден не взяла Джейми и мальчика нет в доме, а все это лишь Верины фантазии. Она думала, что сын у Иден, тогда как на самом деле он был у Джози или миссис Моррелл. Разумеется, Эндрю заблуждался, поскольку Иден сняла шубу, бросила ее на кресло и произнесла фразу, которая произвела ошеломляющий эффект:

— Сказать няне, чтобы она привела его, или мы сами поднимемся в детскую?

Вера слегка порозовела. Она выглядела так, словно на осунувшемся лице проступили два укуса насекомых, по одному на каждой щеке.

— Няне?

— Да, именно так я и сказала. — Голос Иден звучал ровно.

— Ты взяла няню, чтобы она заботилась о Джейми?

— Да. Мы подумали, что такое важное дело следует поручить профессионалу, который знает, что делает.

Как будто Джейми страдал аутизмом, задержкой развития или был неуправляем. Так мне сказал потом Эндрю.

— Значит, он в той милой детской, которую мы видели, Иден? — спросила Хелен бодрым, радостным тоном. — Как хорошо, что ей нашлось применение.

Иден пожала плечами.

— Тогда пойдёмте.

Генерал отказался. Он принадлежал к тому поколению мужчин — возможно, последнему, — для которых мужские и женские роли никак не пересекались. Нога мужчины не переступает порога детской, и мужчина не ведет бесед с няней. Мужчины, подобно султанам, не имеют никаких дел с детьми, даже мальчиками, пока те не достигнут сознательного возраста. Генерал взял «Дейли телеграф» — я заметила, что Иден уже разгадала

половину кроссворда, — и уселся на диван. Мужчина должен вести машину, и когда машина будет готова, он ее поведет. Эндрю тем не менее пошел с нами, и я, поднимаясь по лестнице, взяла его за руку.

Под лисьей шубой у Иден оказался наряд хозяйки деревенского поместья. Твидовая юбка с бантовыми складками, светло-голубые джемпер и кардиган, несколько нитей жемчуга и кольцо с бриллиантами по всей окружности. Блестящие золотистые волосы были коротко пострижены и завиты в симметричные локоны, похожие на сосиски. Иден повела нас по длинному коридору в угол дома, где находилась детская. В коридоре стоял такой холод, что у меня начали стучать зубы. Но в самой детской было тепло. Во время предыдущего визита я не заметила камина. Теперь заметила. В нем горел огонь, который щедро кормили не дровами, а хорошим валлийским углем, дававшим жаркое красное пламя, не уступавшее электрическому обогревателю с двумя спиралями, стоявшему между двух окон. Снаружи было холодно, и окна запотели. В прошлый раз на улице светило солнце, лучи которого падали на ковер с узором из плюща и вьюнка по краю. Этот ковер исчез, а его заменил светло-бежевый, в тон новых занавесок из бежевого репса, но столик со стульями были на месте — и конь-качалка тоже. Девушка чуть старше меня — вероятно, ровесница Иден — расставляла на столике чашку с блюдцем, тарелки и кружку с изображением кролика. На девушке было серое платье, не форменное, но достаточно строгое, чтобы считаться таковым. Джейми сидел на деревянном коне и, похоже, энергично раскачивался взад-вперед. Когда мы вошли, мальчик замер, но конь естественным образом продолжал качаться. Джейми взглянул в нашу сторону, потом резко отвернулся.

Иден подошла к няне и что-то сказала — я не расслышала что. Девушка немедленно, словно в ответ на нажатую кнопку или повернутый выключатель, произнесла:

— Поздоровайся с мамой, Джейми.

У нее был сильный суффолкский акцент, и поэтому команда (оставшаяся невыполненной) прозвучала примерно так: «По-аздравайся с ма-амой, Джарми».

Вера проявила благоразумие и постаралась скрыть свое сильнейшее разочарование. До этого момента я не осознавала, что они с Джейми не виделись с первого января, то есть уже шесть недель, а в жизни четырехлетнего ребенка это очень большой срок. Джейми слез с коня, подошел к няне и прижался к ее ноге.

— Ну, ты уже большой мальчик, — сказала она.

Лицо Джейми сморщилось, и он заплакал. Девушка подхватила его на

руки. Довольно неуклюже, подумала я. Словно не желая участвовать в разворачивавшейся на наших глазах маленькой драме, Иден подошла к камину и, сунув в рукавицу холеную, унизанную кольцами руку, принялась ворошить угли маленькой латунной кочергой.

Больше не в силах сдерживаться, Вера протянула руки и бросилась к Джейми. Реакцию мальчика предвидели все, кроме Веры: Джейми еще сильнее прижался к сильному, обтянутому серым хлопком плечу и спрятал лицо. Вера жалобно вскрикнула, и няня протянула ей Джейми. У меня сердце обливалось кровью. На подобные сцены — обычно такое случается, когда ребенка надолго разлучают с матерью — всегда больно смотреть. Джейми плакал и сопротивлялся; ему удалось вырваться из рук Веры, он бросился к няне и с ревом обнял ее колени. Все это время Иден тыкала кочергой в огонь камина. На улице пошел снег. Большие, пушистые хлопья медленно плыли мимо запотевших окон. Няня села и обняла Джейми, а Вера осталась стоять, сжав кулаки.

— Первое время ему будет трудно, дорогая, — сказала Хелен. — Не расстраивайся. А что, если мы просто оденем его потеплее, соберем вещи и поедем? Может, так будет лучше?

Подошла Иден.

— Вы же не собираетесь взять его с собой?

— Конечно, собираемся, дорогая. Я думала, ты знаешь.

— Нет, не знаю... В любом случае это исключено. Посмотрите, какой снег. Ребенок был сильно простужен, и крайне неразумно выводить его на улицу в такую погоду, правда, няня?

Думаю, мы все были поражены неуместностью обращения к этой девушке как к оракулу; однако няня почему-то не ответила на призыв Иден. С флегматичным видом она посадила Джейми на колени и принялась играть с ним, подбрасывая вверх и пересаживая с одной ноги на другую. Вероятно, мы все подумали, что если с кем и нужно советоваться насчет здоровья с Джейми, так это с Верой. Джейми сполз с колен няни, уселся на каминный коврик и принялся сосать большой палец.

— Ты ни словом не обмолвилась о простуде.

— Нет, но мы с тобой разговаривали дней десять назад, правда? Он простудился позже.

— Я все время звонила. Тебя никогда не было. Трубку брала та женщина, твоя экономка.

— Вера, — терпеливо сказала Иден, — я же не могу весь день сидеть дома на случай, если ты позвонишь.

— Когда же я смогу забрать Джейми? — спросила Вера; так маленькая

девочка, которой не дали лакомства, пытается выклянчить у матери новое обещание. — Когда я смогу его забрать?

Эндрю начинал сердиться, а умоляющий тон Веры разозлил его еще больше. Он учился в университете, как и я, но был гораздо старше, даже старше Иден — ему было уже под тридцать, он участвовал в «Битве за Англию», пережил плен и уже давно перестал принадлежать к категории «детей», к которой еще относилась я.

— Ты вправе забрать его, когда захочешь, Вера. Он твой сын. Укутаем его, и все будет в полном порядке. Мы приехали сюда, чтобы его увезти, и мы это сделаем. — Потом Эндрю обратился к няне тоном, достойным потомка Ричардсонов, богатых аристократов: — Будьте так добры, соберите его вещи.

Я восхищалась его манерами. Будучи эмансипированной и даже в те времена выступая за права женщин, я все же ждала от мужчин «инициативы». Хелен тоже выглядела довольной. По ее лицу я видела, что ее смущает деспотизм Иден. Как это ни удивительно, но возражать стала Вера. Казалось, она полна решимости успокоить Иден, хотя та выглядела скорее решительной, чем рассерженной.

— Если ты действительно считаешь, Иден, что это не пойдет ему на пользу...

— Считаю. Я уже сказала. — Иден подошла к окну и отдернула занавеску, хотя метель и так была прекрасно видна.

Эндрю вслух произнес то, о чем, наверное, думали все.

— Если машину подогнать к парадной двери, ребенок пробудет на улице не больше десяти секунд, — сказал он и прибавил: — И не придется идти две мили до станции.

— Может быть, договоримся на следующие выходные, назначим конкретный день? — спросила Вера. Даже тогда такая манера изъясняться показалась нам очень странной. — Давай в следующую субботу, Иден?

— Хорошо бы удостовериться, что мой отец в следующую субботу свободен, — сказал Эндрю; голос у него был недовольным.

— У Джози есть машина. Она меня привезет. Давай в следующую субботу, Иден?

Иден ответила не сразу. Огонь, возле которого сидел Джейми и сосал палец (горькое алоэ как средство отучения от вредной привычки было теперь забыто), остался без присмотра. Иден надела рукавицу, положила в огонь пару кусочков угля и прикрыла камин защитной проволочной сеткой. Потом сняла рукавицу, с рассеянным видом протянула руку и слегка взъерошила волосы Джейми.

— Можешь приехать в следующую субботу, если хочешь, — сказала она.

— Значит, я приеду в субботу утром и заберу его, да?

— Да, приезжай утром.

Вернулась няня с подносом и предложила всем нам чай. У Иден был раздраженный вид. Она отрицательно покачала головой, когда девушка стала наливать чай в ее чашку. Вера присела на один из деревянных стульев. Казалось, она упадет в обморок, если останется стоять. Все молчали, пока Хелен не заговорила о снеге, вспоминая истории из своего детства, проведенного в Уолбруксе. И тут произошло неожиданное — в свете того, что должно было случиться, я не могу вспоминать об этом без дрожи. Джейми поднялся с каминного коврика и подошел к Вере. Остановился рядом с ее стулом. Вера снова повела себя очень разумно, не выказывая чувств, которые — я в этом уверена — переполняли ее. Она протянула Джейми руки, или, скорее, только ладони, тем ласковым жестом, который предлагает объятие, если ребенок захочет. Джейми в конце концов захотел. Он взобрался к ней на колени. И подал голос, впервые за все время после нашего прихода.

— Иден купит мне собаку, — сообщил он Вере.

— Правда, дорогой? Как мило.

— Большую собаку. Но сначала она будет маленькой.

— О, дорогой, — сказала Вера. — Я не собиралась заводить собаку, но если ты, Иден, обещала...

Джейми кивнул.

— Она обещала. — Джейми обвил руками шею Веры и прижался к ней.

— Смотри, у тебя чай остынет, — в тоне Иден, точной имитации, в этом не может быть сомнений, я услышала свою бабушку Лонгли, голос которой, как мне казалось, был прочно забыт.

Снег вынудил нас распрощаться. Метель утихла, но было ясно, что она еще возобновится и некоторые дороги станут непроезжими. Как потом признался Эндрю, лучше смерть, чем ночевка в Гудни-холле.

После того как Джейми подошел к Вере и подластился к ней, та явно повеселела. Я считала — и не сомневалась, что Хелен и Эндрю согласны со мной, — что дело только в этом. Веру расстроило безразличие сына. Кроме того, Джейми действительно был простужен. У него текло из носа, и он иногда кашлял. В детской было очень жарко, и выводить ребенка на холод даже на десять секунд, вне всякого сомнения, неразумно. Думаю, спускаясь по лестнице и забирая генерала, мы уже почти примирились с таким

поворотом событий. Прощаясь, Джейми поцеловал Веру; сидя на руках у няни, он выглядел веселым и махал нам рукой с порога детской. Иден тоже поцеловала Веру. Она расцеловалась со всеми и, дрожа от холода, умоляла позвонить, как только мы приедем в Уолбрукс, чтобы она знала, что мы благополучно добрались.

В том семестре я больше не уезжала из Кембриджа. Мне было не очень интересно, и я не удосужилась спросить, что случилось в следующие выходные. Если я и вспоминала об этом, то считала само собой разумеющимся, что Джейми вернулся к Вере в «Лорел Коттедж». Помню, я пыталась представить, как Вера будет справляться с «большой собакой» — судя по воспоминаниям самых старших из Лонгли, в семье никогда не держали домашних животных.

Только в апреле я узнала, что Джейми так и не вернулся домой, а живет в Гудни-холле, очевидно, с согласия Веры.

Дэниел Стюарт относится к той категории мужчин, которые выглядят очень молодо. На первый взгляд он кажется просто мальчишкой. Причина заключается в его худобе, прямой спине, длинных волосах и отсутствии лысины. У Хелен есть теория, что для наибольшего эффекта женщинам — и мужчинам тоже, если хотите знать — следует одеваться так, словно они моложе на десять лет, не больше и не меньше. Стюарт одевается как те, кто младше его лет на двадцать, и это было уже слишком, на грани абсурда. Перешагнув определенный возраст, уже не скроешь морщины на лице, особенно заметные при улыбке, а также седину в волосах, которую не устраняет даже краска — среди каштановых прядей просто появляются медные.

Но все это так, к слову. Стюарт мил, немного вкрадчив, умен. Он сидит в моей гостиной среди горы книг, посвященных грибам, и мы ждем прихода Хелен. Разумеется, он уже с ней встречался. Я слушаю его вполуха, стараясь не пропустить тарахтения дизельного двигателя такси, которое привезет Хелен.

— Я хочу выяснить, — говорит Стюарт, — был ли яд, использованный Верой Хильярд, тем же самым, что убил старуху, которую она обнаружила мертвой в коттедже.

— Миссис Хислоп, — подсказываю я. — Вы меня спрашиваете? Я даже не знала, что это был яд. Мне известно лишь, что она собирала и ела грибы — на мой взгляд, поганки.

— Следствие вынесло вердикт: «естественные причины». В свидетельстве о смерти говорится об инфаркте миокарда, то есть сердечном приступе. Другими словами, она умерла от остановки сердца — в сущности, от нее умирают все. Вскрытие выявило серьезное повреждение почек, но этот факт никак не прокомментирован. В конце концов, миссис Хислоп было почти восемьдесят. В ее доме нашли корзину с грибами, а на сковороде — нечто вроде грибного рагу. И то, и другое проверили в лаборатории и признали безвредным.

Я спрашиваю, выявило ли вскрытие грибной яд в теле миссис Хислоп. Мне всегда казалось, что подобного рода вещи меня не интересуют — так, например, я не читаю детективов, — но во время нашего разговора, выяснилось, что я ошибалась на этот счет.

— Судя по заключению, они ничего не нашли. Но в слухах о ядовитых

грибах недостатка не было; думаю, в основном потому, что все знали о пристрастии миссис Хислоп к грибам. Вера Хильярд тоже давала показания, о чем вы, вне всякого сомнения, знаете.

— Нет, не знаю. — Я очень удивилась. В первую очередь потому, что хорошо помню рассказ Веры о том, как она нашла миссис Хислоп; о допросе она даже не упоминала. Хотя на нее, не соприкасавшуюся с внешним миром четырнадцатилетнюю девочку, допрос должен был произвести глубокое впечатление. Вывод очевиден. Во время расследования Вера должна была слышать все эти разговоры о грибах. Она могла запомнить их, чтобы воспользоваться через много лет.

— Несмотря на официальное заключение, — говорит Стюарт, — я убежден, что миссис Хислоп умерла от отравления грибами, причем от того же яда, который использовала Вера Хильярд почти тридцать лет спустя. Никто не знает, что это за яд, и уже никогда не узнает. Но можно попытаться сделать выводы на основе симптомов, то есть использовать известные нам факты и высказать обоснованное предположение.

— Как с ушами императора Адриана, — говорю я.

Он не спрашивает, что я имею в виду.

— Полагаю, это был яд под названием орелланин. Он содержится в грибах семейства паутинниковых. Долгое время паутинник считался безопасным, и только в 1962 году свойства *Cortinarius orellanus* были исследованы поляком Гржималой. Яд поражает почки. У детей смерть наступает через несколько дней, а у взрослых — через несколько недель или даже месяцев. Почки отказывают.

— У миссис Хислоп была привычка регулярно употреблять в пищу странные грибы, — говорю я. — По вашим словам, вскрытие выявило поражение почек. Вера рассказывала мне, что, когда нашла старуху, та выглядела распухшей. Смерть могла наступить через несколько месяцев после того, как она съела этот, как вы его назвали, *orellanus*. — Я беру принесенный Стюартом справочник по грибам, читаю соответствующий раздел и сразу нахожу возможные контраргументы. — Да, но взгляните сюда: тут говорится, что в Великобритании *orellanus* встречается редко, практически отсутствует. Вера не ездила в Польшу собирать грибы. А другой вид, *turmalis*, тоже почти не встречается.

— Знаю, — отвечает Стюарт. — Я обратил внимание. А как насчет пурпурного паутинника, которого нет даже в этой книге? Вот, смотрите. — Он протягивает мне маленький, тонкий буклет, выпущенный Министерством сельского хозяйства и рыболовства примерно за десять лет до того, как Вера приступила к выполнению своего замысла. — *Cortinarius*

*purpurascens*. Очевидно, широко распространен. Здесь написано, что он относится к съедобным грибам, но лишь в том смысле, что его можно есть без пагубных последствий.

Эту книгу, то есть другой ее экземпляр, я уже видела. Я знаю, что Вера убийца, знаю, что она пробовала применить яд, прежде чем взялась за нож, но все равно испытываю странное чувство, о котором говорят — «сердце упало». Тонкая брошюра (под названием «Бюллетень № 23. Съедобные и ядовитые грибы») в темно-зеленой обложке с изображением рыжих лисичек, которые можно увидеть на рынках во Франции. Год выпуска 1940, цена — полкроны. Рядом с акварельным рисунком пурпурного паутинника в нескольких строчках объясняется, что этот вид с трудом различают даже специалисты и что экспериментировать с ним не рекомендуется. Ни слова об орелланине, и я уже собираюсь сказать об этом Стюарту, но вспоминаю его слова, что ядовитые свойства гриба были открыты лишь через двадцать два года после выхода «Бюллетеня № 23».

— Он принадлежит к семейству паутинниковых, — говорит Стюарт, — и поэтому может содержать разрушающий почки орелланин.

Я смотрю на картинку и отчетливо вспоминаю, что видела пурпурные грибы в окрестностях Синдона. Я ведь всегда приезжала туда в конце лета, правда? Долгое время только в конце лета и начале осени. Мы с Энн вместе бродили по лесам. Это было около брода, где через реку перекинут деревянный мост и где однажды сплетничала с подругой Вера, когда из коляски украли Кэтлин Марч. Именно там я видела паутинник, гроздь которого пробивались сквозь перегной, — коричневато-оливковые (как описывается в книге) грибы, жмущиеся друг к другу, липкие и тусклые, продолговатые, с темно-фиолетовой выпуклостью на шляпке и волокнистой ножкой, мертвенно-бледной, с тошнотворным синеватым оттенком, переходящим в светло-коричневый и приобретающей фиолетовый цвет при нажатии, с лазурно-голубой мякотью.

В этот момент приходит Хелен, чему я ужасно рада! От неприятных воспоминаний детства у меня к горлу подступает тошнота. Хелен обнимает меня и пожимает руку Стюарту.

— Я захватила с собой валиум, мистер Стюарт, так что, если вы захотите поговорить, сами знаете о чем, предупредите заранее, чтобы я смогла принять таблетку.

Стюарт просит ее лишь описать Гудни-холл. Люди, которые теперь там живут, не разрешили осмотреть его. Это ведь ее не расстроит, правда? Хелен качает головой. На ней широкополая шляпа коричневато-лилового цвета, похожая на пурпурный паутинник, и я радуюсь, когда Хелен снимает

ее, обнажая маленькую голову с белыми пушистыми волосами.

— Я не буду принимать валиум, но не могла бы ты, дорогая, подать наш херес чуть раньше?

В минуты раздражения я иногда думала, что вышла замуж для того, чтобы свекровью у меня была Хелен. Или это была не причина, а просто еще одно преимущество? Конечно, я — молодая, невежественная, неопытная — выскочила замуж из страха, что если не выйду за родственника, то чужие меня не возьмут. Посторонний никогда не женится на племяннице повешенной женщины.

Хелен лучше меня помнит события тридцатипятилетней давности. Мне салон Иден вспоминается в розовых и зеленых тонах, как и весь дом, но Хелен говорит о темно-красном и желтом. Она помнит, что обои с рисунками Артура Рэкхема заменили на однотонные, темно-синие, отчего комната казалась холодной даже летом или с зажженным камином. Она помнит, как звали няню Джейми: Джун Пул. Я удивлена, что сама забыла ее имя — ведь сиделку и тюремщика жены мистера Рочестера<sup>[71]</sup> звали Грейс Пул. Разумеется, ситуации сравнивать нельзя. Джейми не безумец, не женщина, и его не прятали, хотя какое-то время он провел на положении пленника, и кроме того, в этой драме не нашлось места для Джейн Эйр.

Джун Пул была деревенской девушкой из Гудни-Парва, и в няни для Джейми ее пригласили — возможно, не без оснований — потому, что она была старшей из семерых детей в семье. Иной жизни, кроме как присматривать за детьми, Джун не знала. Другое дело, *нравилось* ли ей это занятие. Любила ли она Джейми? Как бы то ни было, Хелен об этом не говорит. Я знаю, что для нее очень мучительно вспоминать Джейми в возрасте четырех или пяти лет. Пригубив свой херес, она рассказывает о знаменитом саде рододендронов в Гудни-холле, известном во всем графстве и открытом Иден для публики той весной, и в этот момент входит мой муж.

Мне нравится смотреть, как они с Хелен радуются друг другу, целуются и чувствуют себя абсолютно непринужденно, как будто это самая естественная вещь в мире. Тем не менее я так до конца и не привыкла к этому. Не думаю, что мужу нравится Стюарт, а идея написать книгу явно не вызывает у него восторга.

— Надеюсь, вы ни на секунду не забываете о законе об оскорблении личности, Стюарт, — говорит он, подмигивая мне за спиной этого пожилого юноши.

Событиями управляли болезни. Сначала заболела Вера, потом

Джейми, и последней — Иден. Чем болел Джейми, я точно не знаю. Наверное, крупом, хотя для этого заболевания он уже был слишком взрослым — скорее бронхитом, плевритом или чем-то подобным. В любом случае именно по этой причине Джейми не вернулся домой, в Синдон. Сохранилось письмо Веры моему отцу, датированное 30 марта 1949 года.

*...Иден любезно пригласила меня пожить пару недель у них в Гудни-холле. Завтра Тони пришлет за мной один из своих автомобилей...*

Бедная Вера! Даже на грани паники она не забывала о снобизме — в данном случае чужом снобизме.

*Джейми там уже почти три месяца, и ему еще рано возвращаться домой после сильнейшей простуды с осложнениями, которая у него была в середине января. Можешь представить, как сильно я по нему скучаю, но мне нужно примириться с тем, что лучше для него. Разумеется, не может быть и речи о том, чтобы его перевезти, забрать и т. д. в такие холода. Иден сама доброта, хотя, я знаю, ты согласишься, что другое ее поведение не может нас не удивлять. Она окружила Джейми заботой и ежедневно держала меня в курсе того, как он поправляется. Как чудесно будет жить с ним под одной крышей. Мы снова по-настоящему познакомимся! К тому времени, когда истекут две недели, Джейми уже достаточно окрепнет, чтобы вместе со мной вернуться в «Лорел Коттедж»...*

Эти строки являются своего рода шедевром по части сокрытия фактов и истинных чувств. Возможно также, это взятка Провидению или попытка задобрить судьбу. Если проявить мужество, если поверить, что все хорошо, то все *будет* хорошо. Тем не менее я, Фейт, почти ничего не знаю, и на свете уже нет ни одного человека, которому известно больше. Так, например, обсуждала ли Вера с Иден будущее Джейми? А прошлое, если уж на то пошло? Объявляла ли Иден Вере о своих намерениях? Или бедняжка Вера — думаю, это самое вероятное — провела все эти месяцы в неведении, знала не больше, чем она открыла нам в тот снежный февральский день, не больше, чем сказала в письме отцу, но ужасно

боялась худшего?

Думаю — с учетом заявления Чеда Хэмнера и собственных воспоминаний, — Вера понимала, что ей следует чего-то бояться, с самого дня свадьбы Иден, а может, еще раньше, с объявления о помолвке. После выкидыша Иден ее страхи из химер превратились в нечто конкретное, реальное.

С тех пор я много раз пыталась представить, что говорили друг другу Вера и Иден в те две апрельские недели, когда остались вдвоем. Тони не реже трех раз в неделю ездил в Лондон, поездом из Колчестера. Вне всякого сомнения, время от времени к Иден приходили подруги, в доме появлялись и исчезали миссис Кинг и Джун Пул. На прогулках, в саду или за столом с ними был Джейми. Но как насчет тех долгих часов, когда они были одни, только вдвоем?

Может, они откровенно обсуждали ситуацию, пытаюсь найти компромисс, пытаюсь построить общее будущее, совместную жизнь? Или Иден была тверда, а Вера умоляла ее? Поднимался ли вопрос о том, кто отец Джейми? Зная их, этих двух сестер, я склонна считать, что они ни о чем таком не говорили. Не делились чувствами и не раскрывали своих намерений, а изъяснялись намеками, полуправдой: Иден продолжала делать вид, что Джейми «хрупок» и «еще слаб», а Вера боялась ей противоречить.

Вспоминали ли они прошлое? Это уж точно было бы слишком мучительно. Нет, в то время они не могли оглядываться на прошлое, когда Вера спасла жизнь маленькой Иден, потом оттолкнула собственного сына, чтобы стать ей матерью, и горько плакала, когда война разлучила ее с сестрой, на те дни, когда они нежно любили друг друга, — далекие дни.

В то лето, во время летних каникул, я вместе с Эндрю приехала в Уолбрукс. Разумеется, я вышла за него замуж. Но не в тот год и не на следующий, а гораздо позже, когда остались позади выпускные экзамены и Эндрю получил степень бакалавра с отличием первого класса, а я — неутешительную вторую степень. Тогда мы даже не были помолвлены. Я уже несколько месяцев была в него влюблена, но, в отличие от Дездемоны, не могла любить его за опасности, через которые ему пришлось пройти. Эти опасности со временем меня так утомили, что я раздражалась от одного упоминания о «Битве за Англию». Если бы Веру не повесили за убийство, я распрощалась бы с сыном Хелен как можно тактичнее, надеясь, что когда-нибудь мы снова станем просто двоюродным братом и сестрой.

Но речь о Вере, а не обо мне. Кем я была для нее тогда — и не только

тогда? Персонажем одного из ее снов? Потенциальным союзником в борьбе против Иден? Кем были для нее остальные?

Почти все лето Вера провела в Гудни-холле, иногда возвращаясь домой, в «Лорел Коттедж», на неделю или на несколько дней, но ни разу не брала с собой Джейми. Теперь ему уже было пять — исполнилось в мае, — и ребенка следовало определить в школу. Естественно, все считали само собой разумеющимся, что он пойдет в деревенскую школу Синдона и, вероятно, проучится там до одиннадцати лет. Вера не поступит с Джейми так, как поступила с Фрэнсисом, — не оторвет от себя обожаемого сына и не отправит в интернат. И генерал, по общему мнению, тоже не станет вмешиваться. Это будет Верино решение, и только ее. Не думаю, что кто-то из нас верил — хотя мы никогда это не обсуждали — в то, что Джеральд отец Джейми. У мальчика должен был быть отец, но это не Чед, и значит, у Веры должен был быть другой любовник. Лично я в то время считала, хотя никому не признавалась, даже Эндрю, что какой-то бывший приятель Веры, кто-то, кого она знала до знакомства с Джеральдом, приехал домой в отпуск, и они случайно встретились, а разочарование, ностальгия и, возможно, купленная из-под полы бутылка вина довершили дело. Не очень похоже на Веру, но сексуальная жизнь людей редко бывает похожей на них самих.

Вера попросила нас с Эндрю помочь ей похитить Джейми.

Мы ездили в Бери-Сент-Эдмундс на старом «Мерседесе», только вдвоем, а на обратном пути в Эссекс пересекли Стаур и по дороге домой заглянули в Грейт-Синдон. Возможно, именно в тот день, войдя в лес около брода, чтобы набрать сосновых шишек для камина в гостиной Хелен, я увидела пурпурный паутинник, торчащий из перегноя. Действительно, как утверждает книга Дэниела Стюарта, изобилие *Cortinarius purpurascens* наблюдается в июле и августе, а на дворе стоял июль. А может, это было в другой день, несколькими годами раньше, когда мы с Энн Кембас бродили по лесу в Синдоне, или несколькими годами позже, когда я возвращалась сюда одна.

Не хочется думать, что, исполни мы просьбу Веры, убийства могло бы и не быть. В любом случае это не так. Если бы мы согласились и наши усилия увенчались бы успехом, той конкретной катастрофы, наверное, можно было бы избежать. Однако, как показали последующие события, любые наши действия были обречены на провал.

Вера нас не ждала. Мы заглянули к ней случайно. Я настаивала, чтобы мы ехали дальше, не сворачивая в переулок, где стоял «Лорел Коттедж». Но

Эндрю возразил, что будет некрасиво, если кто-то из деревенских жителей нас увидит и расскажет об этом Вере. Его всегда заботили внешние приличия.

У Веры в гостях была Джози Кембас. Наверное, в тот день я впервые услышала о ее сыне от первого брака, потому что, когда мы пришли, Джози рассказывала о нем и о том, что он учится на юриста. Вера выглядела такой же худой, как во время нашей последней встречи, и такой же постаревшей. Но к ней, похоже, вернулись сила и выносливость. Все время, пока мы были у нее, она беспокойно ерзала, теребила бахрому на подлокотниках кресла, а один или два раза наклонялась вперед, напрягшись и сморщив лицо, словно что-то с усилием сверлила.

Минут через пять после нашего появления Джози ушла.

— Вы на машине? — спросила Вера, как будто после обеда в Синдон можно было попасть другим способом — дневной автобус ушел два часа назад, а вечерний отправлялся только в пять.

Словно ставя под сомнение наш ответ, она подошла к окну и задумчиво посмотрела на «Мерседес», припаркованный рядом с зеленой изгородью из фуксии. Потом кивнула. Сорокадвухлетняя Вера являла собой жалкое зрелище — истощенная, костлявая. Она выглядела на десять лет старше. Ее челюсти — хотя во рту ничего не было — постоянно двигались, как у человека, жующего жвачку.

Внезапно Вера заговорила, без всякой связи с тем, о чем шла речь раньше, но так, словно продолжала разговор, который вела уже несколько недель. В каком-то смысле так оно и было, поскольку потом я узнала, что с такой же просьбой она обращалась к Джози, к Морреллам и даже к Хелен, хотя последняя нам ничего не сказала.

— Если поехать туда прямо сейчас, — произнесла Вера, — Тони не будет дома. Я точно знаю. А Джун после обеда отпускают. Я пробыла там так долго, что знаю все порядки в доме. Там будут только миссис Кинг с Иден, а миссис Кинг не очень сильная — должно быть, ей не меньше шестидесяти. Мы справимся без труда. Я сама справлюсь, если вы отвлекете Иден разговором. Это будет легко.

Люди с навязчивой идеей полностью поглощены ею, и все остальное вытесняется у них из головы; они предполагают, что другие без всяких объяснений должны понимать их. Так было и с Верой. Теперь мне кажется странным, что я не догадывалась, о чем она говорит, — Эндрю, кстати, тоже.

— Разумеется, забрать Джейми, — сказала Вера; она сгорала от нетерпения. — Отвезти его домой. Отнять силой. Это единственный

способ.

Мы оба подумали — как выяснилось впоследствии, — что Вера сошла с ума.

— Разве он не хочет домой, Вера? Ты это имеешь в виду? — Эндрю говорил мягко и осторожно.

— Разумеется, Джейми хочет домой. Но ему только пять лет, не правда ли? Что он может понимать? Это Иден его не пускает. Все знают. Иден хочет его оставить, потому что сама не может иметь детей.

— Послушай. Вера. погоди минуту. — Похоже, Эндрю был потрясен не меньше меня. — Такого не может быть. Ты слишком много об этом думаешь, правда? Ты неважно выглядишь. Только не нужно преувеличивать. Иден настаивала, чтобы ты позволила ей усыновить Джейми? Да?

— Настаивала! — сказала Вера. Она рассмеялась хриплым, жутковатым смехом и, сидя на самом краешке кресла, принялась заламывать руки.

— Тебе ничего не нужно делать — только отказаться. Они не могут забрать у тебя Джейми. Ты должна это знать.

Она закивала головой, нетерпеливо и энергично.

— У вас есть машина, вас двое. Вы молодые и сильные. Вы справитесь с Иден. Ты запрешь миссис Кинг в ее комнате, Фейт будет отвлекать Иден разговором, а я заберу Джейми из детской, и, если Иден нас заметит, ты будешь держать Иден, а мы с Фейт уедем.

— Я не умею водить машину, — сказала я.

Эндрю удивленно посмотрел на меня. Наверное, создалось впечатление, что я воспринимаю слова Веры всерьез.

— Послушай, Вера, — сказал он. — Думаю, тебе нужно сходить к врачу. Пусть выпишет что-нибудь от нервов. — В те времена это было принято называть нервами, а не неврозом. — Просто полежи спокойно и все обдумай. Как только ты захочешь, чтобы Джейми вернулся домой, мы тебе его привезем. Ладно? В любой момент — только скажи. — Именно за это я его любила. Эндрю был сильным, думаю, он всегда был таким. — Только мы не должны ничего скрывать, — прибавил он. — Сообщи Иден и настаивай на своем; но мы должны вести себя цивилизованно, правда?

В ее взгляде читалось невыразимое презрение.

— Почему никто не хочет мне помочь?

— Тебе *не нужна* помощь, Вера. Нет, не так. Если хочешь знать мое мнение, тебе нужна помощь врача.

— Нет, не хочу. Единственное, о чем я тебя прошу, ты не делаешь.

Мы оба чувствовали, что не следует оставлять ее в таком состоянии, хотя, как мне кажется, нам обоим все это очень не нравилось. Мы думали — знаете, мы действительно так думали, — что понимаем, что такое давление и сопротивление. Предполагали, что Вера поедет с нами в Уолбрукс, поживет там несколько дней и, возможно, поговорит с врачом Хелен. Ничего подобного. Если она куда и могла поехать, то лишь к Иден, чтобы снова быть с сыном.

— Неужели Иден действительно хочет усыновить Джейми? — спросила я Хелен в тот же вечер.

— Похоже на то, дорогая. Она не может иметь детей. И никогда не сможет. Вероятно, последние три месяца Иден очень настойчиво убеждала Веру дать согласие на официальное усыновление. Она мне сама говорила. Что касается разговоров, что Иден насильно удерживает Джейми у себя и не отдает Вере, — все это, разумеется, чушь.

— Правда? А что произойдет, если Вера объявит, что хочет забрать его немедленно и уже едет за ним? У нее нет машины. Я имею в виду, неужели Иден будет физически удерживать Джейми? Запрет его в детской? А Тони и Джун Пул будут ей помогать?

— Вижу, ты уже обсуждала эту тему с Верой.

— Нет, — запротестовала я. — В любом случае этого она мне не говорила.

— На самом деле, дорогая, мне кажется, что Вере не нужны неприятности. Она не хочет окончательного разрыва с Иден. Разумеется, не хочет — у нас же такая дружная семья.

Сама я так не считала, о чем не преминула сообщить. Артур Лонгли был не очень привязан к маленькой Хелен и женился второй раз. Джеральд с Верой расстались, а Фрэнсис никогда не чувствовал себя членом семьи. Обе сестры всегда не любили мою мать, а она их, а мой отец и Хелен тоже не особенно ладили. Тут подал голос Эндрю — к моему удивлению:

— Может, я ошибаюсь, но не будет ли для Джейми в конечном итоге благом, если Иден его усыновит? В последнее время Вера выглядит не очень вменяемой. Она одинока, небогата. Спросите себя, такая ли уж она идеальная мать.

— Зачем спрашивать себя? — Я ненавидела подобные фразы. — А разве бывают идеальные родители? Речь идет о том, что *она* его мать, причем отца у него нет, насколько мы знаем. — Хелен, услышав эти слова, изобразила шок. Под «изобразила» я имею в виду характерное для нее выражение, приоткрытый рот и высоко вскинутые брови. — Похоже, ты не понимаешь, что Вера его *любит*. Действительно любит, всем сердцем.

Правда, Хелен? Я никогда не поверю, что ты видел их вместе — в противном случае ты не рассуждал бы об идеальных родителях.

— Я думал о ребенке, — сказал Эндрю. — О его шансах. Так у него будут оба родителя, причем молодые. Красивый дом. Деньги на образование. Надежная основа.

Это вызвало у меня отвращение.

— Иден его ненавидит, — сказала я. — Иден ненавидит детей.

— Нет, дорогая, — возразила Хелен. — Я видела их вместе, на прошлой неделе, и теперь Иден так же безумно обожает Джейми, как и Вера.

В тот вечер мы разделились — каждый из нас принял чью-либо сторону. Никто открыто не выражал своего мнения, никто не заявил, что Джейми должен остаться с Иден или Джейми должен остаться с Верой. Как ни странно, Эндрю, несмотря на первые протесты, оказался в лагере Веры. Думаю, по единственной причине — он не любил Иден и хотел, чтобы она получила по заслугам. Генерал стал на сторону Веры из-за сентиментальных представлений о материнстве. Хелен очень удивила меня, присоединившись к первоначальной точке зрения Эндрю. В том, что Иден и Тони усыновят Джейми, она усматривала неоспоримые материальные преимущества для мальчика. Кроме того, она считала, что это сплотит семью, поскольку Вера половину времени будет проводить в Гудни-холле рядом с Джейми, тогда как в случае победы Веры Иден перестанет с ней разговаривать. Вспомнив глубокую сестринскую любовь, некогда связывавшую их, я удивилась.

— Как жаль, что Вера тогда заболела гриппом, — сказала Хелен, словно причина была в этом. Но в то время мы все так думали.

Не хотелось бы создавать впечатление, что отношения Веры, Иден и Джейми до такой степени занимали нас, что вытеснили все остальное. Мы много размышляли о них, обсуждали, но у нас были и другие занятия. Особенно у нас с Эндрю. Наша дружба, отношения двоюродных брата и сестры, постепенно перерастала в роман. Патриция тоже подумывала о замужестве; она привезла в Уолбрукс на две недели мужчину, с которым жила в Лондоне. Конечно, никто из представителей старшего поколения не знал, что она с ним живет. В 1949 году в таком открыто не признавались, и по приезду к Хелен им, разумеется, выделили отдельные спальни. В те августовские ночи старый дом Ричардсонов часто слышал приглушенные шаги в коридоре.

Однажды утром, примерно через неделю после нашего визита в «Лорел Коттедж», у нас появилась Иден. Она приехала одна, оставив

Джейми дома с Джун Пул и миссис Кинг. Сказала, что едет за Верой, которая вернется в Гудни-холл и останется там до конца месяца. Думаю, вопрос о Джейми не давал Иден покоя, иначе она не стала бы откровенничать при нас, а также в присутствии Патриции и ее приятеля Алана.

— Дорогая, со стороны бедняжки Веры нечестно так себя вести! Нужно просто решить, что ты хочешь, и сделать это. А бедный маленький мальчик — что он чувствует?

Иден выглядела очень спокойной и какой-то отстраненной. На ней было платье из тонкого индийского хлопка в крупную темно-синюю и желтую клетку, с широким воротником и глубоким декольте, край которого был обшит волнистым кружевом. Юбка длинная и пышная; как и положено для официального костюма тех времен — даже в случае утренней поездки на автомобиле по сельской местности, — на Иден были нейлоновые чулки со стрелками и темным швом, а также туфли из лаковой кожи синего цвета на очень высоких каблуках. Ярко-красные губы и ногти. Духи она выбрала очень терпкие — «Изумруд» Коти.

— Я приняла решение, Хелен, — сказала Иден. — Мы с Тони точно знаем, чего хотим. Мы хотим Джейми. С нашей стороны нет никаких препятствий. А вот с Верой тебе нужно поговорить.

— Если Вера с вами не согласна, юная леди, — заметил генерал, — вам придется отступить. Полагаю, вы это знаете?

Я видела, что Иден очень не нравится, когда ее называют юной леди, — впрочем, как и мне. Это обращение генерал использовал в отношении Патриции, Иден и меня, когда бывал нами недоволен.

— Я не хочу обсуждать приватные вещи в присутствии всех и каждого.

— О, дорогая, что значит — всех и каждого? Как ты можешь? Мы одна семья.

Иден не считала Алана членом семьи, хотя у нее не хватило смелости сказать об этом прямо.

— Все равно, это наше с Верой личное дело.

— Нет, не личное, если ты расстраиваешь сестру, — возразил генерал. Непонятно, кого он имел в виду под словом «сестра», Веру или свою жену. В меня, наверное, вселился дьявол, поскольку я точно знала, что мое вмешательство не понравится Иден больше, чем чье-либо еще. За исключением, конечно, моей матери.

— Почему ты не можешь просто усыновить любого другого ребенка? — спросила я. — Почему бы тебе не обратиться в общество по усыновлению? Мне кажется, тебе нужен маленький ребенок. А Джейми

пять лет.

— Я прекрасно знаю возраст Джейми, Фейт. И чрезвычайно благодарна за ценные указания. Только я не понимаю, какое твое дело.

— Пожалуйста, не ссорьтесь, дорогие, — воскликнула Хелен. — Вижу, тебе нужен племянник, Иден. Понимаю. В любом случае он чудесный маленький мальчик, такой милый... и ты можешь определить его в Итон!

Это прозвучало так нелепо, что все рассмеялись, и атмосфера немного разрядилась. Иден с улыбкой сказала:

— Раз уж ты затронула этот вопрос, я могу сказать, что все уже решено. Мне не хотелось объявлять, пока не улажены все детали. Мы собираемся оставить Джейми, он будет нашим сыном, и осталось лишь несколько формальностей. Разумеется, Вера будет проводить с ним столько времени, сколько захочет, пока не привыкнет к новой ситуации.

Мы все были слегка ошарашены. Никто — к какому бы лагерю он ни принадлежал — не мог предположить, что все произойдет так быстро. Я вспомнила, как Вера умоляла нас похитить Джейми. Всего лишь неделю назад она обращалась к нам с Эндрю за помощью.

— Но Вера его любит, — сказала я. — Джейми для нее все.

Иден меня ненавидела. И это придавало мне смелости.

— Тем более она должна желать ему самого лучшего.

— Знаешь, так не бывает. Никто не способен на подобное самопожертвование.

— Я не собираюсь с тобой это обсуждать, Фейт. Ты недостаточно взрослая, чтобы понять. Насколько мне известно, ты еще учишься, если так можно выразиться.

— Я узнаю любовь, когда вижу ее, — сказала я. — На прошлой неделе Вера просила нас с Эндрю забрать от тебя Джейми. Она намекала, что ты удерживаешь его силой.

— О, Фейт, — простонала Хелен.

Эндрю не стал меня останавливать. Не сказал ни слова. Генерал спросил его, правда ли это, и в ответ Эндрю просто пожал плечами. Но даже если бы он поддержал меня, если бы все остальные поверили, что мы могли сделать? Патриция вышла из комнаты, уведя с собой Алана.

— Пойдем прогуляемся, Алан, — позвала она.

— Неужели вы считаете, — с безграничным презрением сказала Иден, — что Вера согласилась бы жить у меня, что я теперь ехала бы за ней, если бы она возражала против усыновления Джейми? Да? Неужели вы думаете, что Вера позволила бы это? Почему она просто не взяла Джейми и

не ушла с ним? Или Фейт полагает, что я удерживаю его как пленника?

Ответов на эти вопросы у меня не было. Вскоре Иден ушла, холодно попрощавшись со всеми. После ее ухода генерал принялся отчитывать меня, назвав подстрекательницей. Я жутко поругалась с Эндрю и в конце концов заставила его признать, что Вера просила нас украсть Джейми. Я также заставила его рассказать об этом родителям, хотя он сгладил острые углы и приукрасил правду, представив дело так, как будто Вера находится в истерическом состоянии и нуждается в помощи психиатра.

Хелен расстроилась — на мой взгляд, несоразмерно. В то время люди иначе относились к душевным болезням. Им все время приходилось защищаться, говоря, что в их семье подобного никогда не было. Именно эти слова произнесла Хелен; испуганная мыслью о психическом расстройстве Веры, она тем не менее очень хотела все приписать болезни. Как бы то ни было, Хелен заявила, что выяснит все сама. Через день или два съездит в Гудни-холл и поговорит с Верой наедине.

Мне хотелось поехать с ней, но Хелен не разрешила. Не отказала прямо, но намекнула, что мое присутствие будет раздражать Иден. Чаттериссы не предупреждали меня, что нужно экономить и не пользоваться телефоном, и я позвонила отцу, чтобы сообщить о Вере и Джейми. Он так и не привык к телефонам — слишком поздно эти устройства появились в его жизни — и при разговоре обращался к телефонной трубке, а не просто беседовал с человеком на другом конце провода. Он говорил по телефону так, словно его голос записывался для людей, непривычных к звукам английского языка. Данное обстоятельство, а также тот факт, что отец, подобно Иден, считал меня слишком юной, чтобы вмешиваться в подобные дела, а также слишком *самонадеянной* для племянницы, сделало наш разговор бессмысленным. Отец повторял, что не может этого понять, но Вера и Иден должны знать, что делают. Но самое главное — я не должна ссориться с тетками.

Хелен вернулась в приподнятом настроении. Вера казалась абсолютно нормальной, и совершенно непонятно, что имел в виду Эндрю. Они с Джейми были на прогулке, ходили в Гудни-Парва, когда приехала Хелен. Разве это не опровергает любые предположения относительно того, что ребенка удерживают насильно? Вера привела его назад, отправила наверх к Джун Пул и поговорила с Хелен о том, что Джейми пойдет в школу. В сентябре он начнет посещать деревенскую школу в Гудни-Парва.

— Я поинтересовалась, будет ли она тоже тут жить, и Вера ответила, что к концу августа вернется в «Лорел Коттедж». Тогда я не сдержалась и спросила, правда ли, что Тони и Иден хотят официально усыновить

Джейми. Вера сказала, что не знает насчет «официального усыновления», но они оставят Джейми у себя, и мальчик будет жить с ними. Я поинтересовалась почему. Вера промолчала, только поморщилась. Она вышивала одну из этих нелепых наволочек — ты знаешь, дорогая, они с Иден всегда этим занимались, будто им назначена... — как это называется?.. — трудотерапия. Продолжала шить, не глядя на меня.

— Ты задала главный вопрос? — подал голос генерал. — Ты спросила, действительно ли она этого хочет?

— Да, дорогой. Не нужно меня допрашивать. Вера достаточно спокойно сказала, что именно таково ее желание и больше не стоит об этом говорить. Я не думаю, Эндрю, что она немного не в себе, — не похоже. Больше похоже на *апатию* — ты понимаешь, о чем я.

Отец прислал мне письмо. Он нисколько не сомневается, что его сестры поступают правильно и ставят долг выше личной выгоды. Они получили должное воспитание, и именно оно сослужит им службу. В нашей семье не было психических расстройств, никаких, и я обязана это твердо усвоить. Меньше всего ему хотелось бы, чтобы я волновалась из-за подобных вещей. В любом случае, ему кажется, что нелюбовь моей матери к его сестрам, которую он приписывал ревности, повлияла и на меня, заставив предвзято относиться к ним. Ему горько думать, что кто-либо пытался разрушить любовь и восхищение, которые я испытывала по отношению к Вере и Иден. И так далее. Не хочу ли я несколько дней пожить у них, прежде чем возвращаться домой? В конце концов, нет никакой необходимости так долго оставаться у Хелен, которая мне всего лишь наполовину тетка.

Ничто не могло заставить меня остановиться в Гудни-холле, даже если бы мне предложили. Естественно, Иден не предложила. Верная себе, она, вне всякого сомнения, будет ждать письменных извинений, прежде чем пригласить меня даже на чай. Я провела в Уолбруксе почти три недели, а потом отправилась домой к родителям, пообещав вернуться в сентябре, чтобы вместе с Эндрю отправиться в Кембридж к началу осеннего семестра. Отец отказывался понять, почему я не поехала к Иден и Вере. Мне начинали надоедать объяснения, особенно потому, что существовали вещи, известные и Вере, и Иден, но неизвестные остальным, а предпринимать что-либо, не зная этих вещей, было бессмысленно. Строить предположения тоже не имело смысла.

От Веры пришло письмо, которое, однако, не сохранилось. Не знаю почему — в сентябре явно не топили камин. Вера сообщала отцу, что вернется в Синдон к концу недели (она и так пробыла у сестры на две

недели дольше, чем собиралась) и что Джеральд хочет развестись. Он встретил женщину, на которой намерен жениться, и предоставит Вере основания для развода. В те времена женщине, чтобы развестись с мужем, требовалось доказать преступное посягательство на супружество, адюльтер, оставление семьи или жестокое обращение — неудачного брака было недостаточно.

— Она только выиграет, избавившись от него; Джеральд вел себя по отношению к ней просто чудовищно, — сказал мой отец.

Иден заболела, причем в самое неподходящее для Гудни-холла время. Джун Пул взяла недельный отпуск. А с отцом Тони случился легкий сердечный приступ, и Тони уехал в Йоркшир. Спланировать все это было невозможно. Просто так совпало. Болезнь Иден в письме не называлась, что оставляло впечатление какой-то тайны. Явно не простуда и не грипп. Может, еще один выкидыш? К тому времени, как я вернулась в Уолбрукс, ее поместили в больницу.

Вера осталась в Гудни-холле с Джейми, экономкой миссис Кинг и женщиной из деревни, которая два раза в неделю приходила убирать в доме. О том, что произошло, Вера сама рассказала мне за два дня до моего возвращения в колледж. Я отчасти выполнила просьбу отца и провела две ночи с Верой, но не в Гудни-холле, а в «Лорел Коттедж». Наверху, в заново отремонтированной комнате, спал Джейми. Ночью должен был приехать Фрэнсис. К ужасу и негодованию матери, он воспользовался ее отсутствием, чтобы провести в доме «медовый месяц» с какой-то девушкой, по утверждению Веры, барменшей из Ипсвича. Вся деревня буквально содрогнулась от такого скандала и позора. Девушка уехала, а на следующий день — и Фрэнсис, но Вера ждала, что ночью он вернется — вне всякого сомнения, под утро.

— Врач заявил, что Иден нужно в больницу, иначе он не отвечает за последствия, — рассказала Вера. Она немного понизила голос и оглянулась, словно дом был полон людей, которые могли услышать ее слова и почувствовать отвращение. — Иден не могла мочиться. У нее не отходила моча. Что бы это ни было, сказал врач, затронуты почки. Я убеждена, это результат того, что они с ней делали, когда она потеряла ребенка. В любом случае, мы не будем это обсуждать. Я не должна говорить о подобных вещах в твоём присутствии. За ней прислали «Скорую помощь». Я позвонила Тони в дом его отца, и он сказал, что немедленно выезжает. Джейми был в школе. У него уже две недели как начались занятия. Я ничего не сказала миссис Кинг. Просто собрала два чемодана, Джейми и мой — ты не поверишь, сколько у нас накопилось

вещей, — и оставила в холле с запиской для миссис Кинг, чтобы она прислала их нам. Я пошла в деревню, забрала Джейми из школы, и мы с ним сбежали, вдвоем; нам было весело, и мы смеялись. Такая милая шутка, словно детская шалость. Я все время представляла, как рассердится Иден. Добраться из Гудни в Синдон без машины почти невозможно. Мы сменили три автобуса и попали домой только к восьми. А потом, конечно, я нашла тут Фрэнсиса, а в доме — вопиющий беспорядок. Я очень устала, но мне было все равно. Я уложила Джейми в кровать, в свою кровать, через час легла к нему, и мы проспали всю ночь — это было такое блаженство.

На следующий день приехал Тони. Сказал Вере, что не понимает, почему она просто не осталась в Гудни-холле. Вера засмеялась и ответила, что ни за что не вернется, и Джейми не вернется, а Тони ошибается, если думает, что она навестит Иден в больнице. И она не намерена выходить, чтобы не дать ему шанса пробраться в дом и забрать Джейми. Наверное, Тони — нормальный, сдержанный человек — был в ужасе. Он не понимал, что Вера имеет в виду, — тогда не понимал. Иден еще ничего ему не говорила, только о своем желании усыновить Джейми. По-видимому, Тони уступил, чтобы успокоить Веру.

Рассказывая мне все это, она то и дело смеялась, радуясь, что перехитрила Иден; ее глаза блестели. Во мне крепло неприятное ощущение, что Вера сходит с ума. Я испытывала неловкость в ее присутствии. Но тогда мне не приходило в голову — никому не приходило, — что Вера сама виновата в болезни сестры. Я думала, что все понимаю: Иден уговаривала Веру согласиться на усыновление Джейми на том основании, что так будет лучше для мальчика, и Вера, принеся в жертву свою любовь к сыну, уступила, но потом передумала и воспользовалась представившейся возможностью. О чем я никогда не задумывалась, так это о том, как все это повлияет на ребенка. Считала его слишком маленьким.

На следующий день я столкнулась с Фрэнсисом. Большую часть времени он жил с отцом и теперь собирался поступать в аспирантуру Лондонского университета. В «Лорел Коттедж» Фрэнсис приехал потому, что Джеральд не разрешал сыну приводить девушку в дом на ночь. Сам он в отношениях с новой женщиной вел себя осторожно и подготавливал свидетельства для развода с Верой, специально наняв для этого девушку. Последний раз я видела Фрэнсиса в день свадьбы Иден — вместе с Чедом, при тусклом свете свечи, — и теперь почувствовала неловкость.

— Ей нужно в психушку, — сказал Фрэнсис. — С этим ребенком она делает то же, что и со мной.

— Не похоже, — возразила я. — Тебя она выпихнула. А Джейми, наоборот, изо всех сил старается удержать.

— Это все симптоматично. У нее параноидальная шизофрения.

В комнату вошел Джейми. Он вел себя очень тихо. Я обратила внимание, каким необычно тихим и «хорошим» стал ребенок в последнее время. Всю ночь он спал — с шести вечера, когда Вера уложила его в постель, и до позднего утра. В данном случае до девяти. В руках у него был игрушечный трактор с резиновыми гусеницами, и Джейми провез его по всей комнате, по спинкам кресел, книжным полкам, подоконникам — медленно и полностью сосредоточившись на своем занятии.

— Ну и что? — сказал Фрэнсис. — Я не люблю парня. Почему бы ему не помучиться? Дело в другом. Она больная на голову, ненормальная. Я бы не отказался от удовольствия упрятать ее в психушку. Мило, не правда ли? Запереть в сумасшедшем доме собственную мать.

Я уже не боялась его. И мне было все равно, что он обо мне думает. Сама я смотрела на него с безразличием и антипатией.

— К чему беспокоиться? Тебе-то какое дело? Ты здесь не живешь. И не похоже, чтобы тебя волновал Джейми или его будущее.

— Я тебе расскажу, какое у него будущее. Иден, когда ей станет лучше, придет сюда и заберет парня, а у нее не хватит духу возразить. Вот увидишь.

— Не увижу. Меня тут тоже не будет. Но ты ошибаешься. Вера ни за что его не отдаст. Она не отпускает Джейми от себя больше чем на пять минут. Посмотришь — через минуту она придет сюда.

Фрэнсис улыбнулся, медленно качая головой. У него были глаза с тяжелыми веками, у моего кузена Фрэнсиса. Эта особенность стала заметнее после двадцати, словно глазные яблоки еще больше выпучились, а веки растянулись, чтобы закрыть их, и приобрели багрянистый оттенок, какой бывает у синяков. Опустив набрякшие веки, он улыбался.

— Говорю тебе, у нее не хватит духу сопротивляться. Иден придет, как только выпишется из больницы. — Фрэнсис посмотрел на ребенка. Взгляд его был пронизывающим, но Джейми продолжал возить трактор по подоконнику и наличникам двери. — Я бы сам отвез парня в Гудни, только не доверяю этому тупице Тони присматривать за ним.

— Неужели?

— Ты такая наивная, — сказал он.

Мы все были наивными. Я пришла к убеждению, что все члены семьи предпочитали оставить Джейми у Иден, поскольку открыто или втайне считали Веру психически неуравновешенной. Мне это казалось

несправедливым. Никто не мог быть добрее к ребенку, так любить его и так о нем заботиться. И только после возвращения в Кембридж, задумавшись однажды о Вере, ее проблемах и том, чем все может закончиться, я вдруг поняла, что во время моего пребывания в «Лорел Коттедж» Джейми не ходил в школу. Конечно, я провела там только два дня и две ночи, но учебный год в деревенской школе уже начался. Действительно ли Джейми две недели ходил в школу в Гудни-Парва, пока Вера не забрала его? А может, она просто не смогла устроить его в школу Синдона?

Там я еще раз встретилась с Джози Кембас. Энн училась в педагогическом колледже в Лондоне, и мы виделись неделей раньше. Она призналась, что ей начинает нравиться мачеха. Насколько мне известно, у Веры не было близких друзей. Так, например, они с миссис Моррелл всегда называли друг друга «миссис Хильярд» и «миссис Моррелл», а что касается Чеда Хемнера, его дружба оказалась корыстной. Но Джози и Вера виделись почти ежедневно. Они были откровенны друг с другом — хотя, как выяснилось впоследствии, не до конца. Только Джози Вера доверила бы Джейми. Отдаваясь своим немногочисленным привязанностям со всей страстью, Вера словно перенесла на Джози любовь, которой прежде щедро одаривала Иден. Она гордилась Джози и ее достижениями, одновременно очерняя Дональда Кембаса, которого считала недостойным, неблагодарным, абсолютно не заслуживающим своей второй жены. Джози превосходно готовила — настоящий мастер, по мнению Веры, — пела в церковном хоре, недурно писала акварелью и давала уроки йоги еще в те времена, когда о йоге никто не слышал. Вера беспрестанно хвасталась ею. Я так и не поняла, что сама Джози нашла в Вере, хотя впоследствии имела массу возможностей спросить. Но почему-то не спросила. Я не полюбила ее так, как Хелен, но Джози мне очень нравилась. Мы прекрасно ладили. Тем не менее Веру мы обсуждали только один раз, и то в присутствии моего отца. Мы все — странное трио для собутыльников! — специально выпили слишком много, чтобы, заглушив боль и стыд, узнать у единственного очевидца, что произошло в самом конце.

Джози давала свидетельские показания во время суда над Верой, но я там не присутствовала, следила за процессом по газетам, и только теперь увидела протокол судебного заседания.

Джози уже десять лет как умерла. Когда я с ней познакомилась, ей было лет пятьдесят — высокая, крепкая женщина с темными волосами, которые начали седеть только после семидесяти. У нее был очень красивый голос — я имею в виду обычный, которым она разговаривала, потому что я

ни разу не слышала, как Джози поет, — и она принадлежала к той категории людей, с которыми спокойно и легко, так что в их присутствии можно расслабиться и у тебя не возникает чувства, что ты не оправдываешь их ожиданий. Эти два качества унаследовал ее младший сын — а также испанскую внешность, хотя он, как и мать, был чистокровным англичанином.

Джози, у которой была своя машина, предложила подвезти меня в Сток-бай-Нейленд за день до того, как нам с Эндрю нужно было возвращаться к учебе. Вера, несмотря на приглашение Хелен, отказалась поехать с нами. Дорога в Сток, объяснила она, проходит через Гудни.

— Хорошо, мы поедем другим путем, — сказала Джози. — Сделаем крюк.

Тогда еще не построили объездных дорог, превративших проселки в шоссе и огибавших деревни. Чтобы миновать Гудни, пришлось бы проехать не одну милю — через Лангэм и Хайэм. Вера воспользовалась этим.

— Я увижу дорожный указатель, — сказала она, из чего мы должны были сделать вывод, что даже название «Гудни-Права» на табличке ее расстроит. — А ты, Джози, зайди и выпей чашку чая с Хелен. Я хочу, чтобы она с тобой познакомилась.

В этом была вся Вера. Она хотела, чтобы Хелен увидела Джози, а не наоборот — в прошлом она точно так же демонстрировала Иден, а в последнее время Джейми.

Почему бы в машине нам не поговорить о Джейми и о его будущем? Мы не касались этой темы, хотя именно она больше всего занимала наши умы. Наверное, Джози считала, что я слишком молода. Не обсуждать подобные вещи, а интересоваться ими. Поэтому она спросила меня о последнем годе учебы и о том, кем я хочу стать. И уже в Уолбруксе, при виде Хелен, которая спустилась нас встречать, услышав звук подъехавшего автомобиля, Джози сказала:

— Дорого бы я дала, чтобы узнать, что Пирмейны в конце концов решили эмигрировать в Южную Африку.

— Не знала, что они собираются, — удивилась я.

— Собирались, но теперь, боюсь, уже нет, — ответила Джози, вслед за чем последовал обмен приветствиями и рукопожатиями с Хелен.

Сразу после Рождества отец получил от Веры письмо, в котором та спрашивала его согласия — как владельца одной трети дома — на продажу «Лорел Коттедж»; сама она собиралась уехать. Это письмо не сохранилось, и я не помню его содержания, кроме главного пункта. Осенью отец с

матерью провели выходные у Веры и, будучи там, навестили Иден. Она пробыла в больнице несколько недель или даже месяцев, пока врачи пытались выяснить, что с ней происходит. Я ничего не знаю о тех выходных. Например, ездила ли Вера вместе с ними в больницу? Виделись ли они с Тони? Обсуждалось ли будущее Джейми? Моя мать написала мне только, что они ездили туда и останавливались у Веры, что Иден пробудет в больнице еще не меньше месяца и что все время шел дождь. Письмо Веры вызвало настоящий переполох. Моя мать, объявившая перемирие, чтобы поехать к Вере и навестить Иден, теперь возобновила боевые действия.

— Если дом продается, мы берем свою долю, а на остальное пусть покупает себе жилье.

Отец тут же принялся возражать.

— Что бедняжка Вера может купить за тысячу фунтов?

— Иден добавит. У нее денег куры не клюют. Почему ты должен субсидировать сестру, когда у нее есть муж, которому хорошо платят в армии, и сын, достаточно взрослый, чтобы ее содержать, — а у меня нет даже холодильника?

Мой отец тоже возражал против переезда Веры, но по другой причине. По крайней мере, тут мнения родителей совпадали. Вера прожила в Синдоне всю жизнь, сказал отец, забыв о годах, проведенных в Индии, и там все ее друзья. Под «всеми друзьями» он подразумевал Джози, и я тоже удивлялась, как Вера сможет расстаться с ней.

— Почему она хочет уехать? — все время повторял отец.

Я очень боялась, что правильный ответ должен звучать так: увезти Джейми подальше от сестры. Иден все еще лежала в больнице, хотя ей стало легче и ее обещали скоро выписать. Врачи так и не выяснили, что случилось с ее почками. Теперь почки пришли в норму — Иден, в сущности, всегда была здоровой и сильной. Выйдя из больницы и вернувшись домой, сделает ли она то, о чем говорил Фрэнсис, то есть поедет в «Лорел Коттедж», возможно, захватив с собой в качестве поддержки миссис Кинг и Джун Пул, и заберет Джейми? Это казалось мне невыносимым и незаконным, чем-то первобытным, вроде кражи соседского скота. Однако в один из моих визитов в Эссекс кто-то рассказывал мне о краже скота, которая произошла на одной из соседних ферм перед самой войной. Почему же я должна исключать похищение детей?

— Почему она хочет уехать?

— А Вера не объяснила в письме? — сказала мать.

Отец перестал читать письма вслух, наконец побежденный ее безжалостным сарказмом.

— Она говорит, что нуждается в переменах.

В больнице у Иден была отдельная палата, и отец мог ей позвонить, но, конечно, не позвонил. Написал письмо, спрашивая ее мнения. Нам позвонил Тони. Иден дома — в тот день он привез ее домой. Она сидит рядом с ним, разгадывая кроссворд в «Дейли телеграф»... В феврале Тони собирается повезти ее на Майорку, чтобы Иден восстановила силы.

Сегодня это звучит обыденно, туда едут все, кто не может позволить себе что-то получше, но в 50-м Майорка все еще была неиспорченным, практически неизвестным средиземноморским островом. Я с трудом представляла, где это. Они поедут в Форментор, где отдыхают звезды французского кино. Дом Веры? То есть «Лорел Коттедж»? Нет, они ничего не слышали о планах его продажи. Трубку взяла Иден, начав с того, что задала какой-то вопрос из кроссворда. Нет, ей не кажется, что Вера обязана продавать дом. Пусть подумает. Она, Иден, скажет Вере, чтобы та подумала, а после возвращения с Майорки они смогут еще раз все обсудить.

— Теперь, став богатой, Иден не хочет забивать свою маленькую хоршенькую головку делами сестры, — сказала моя мать.

Отец в ярости скомкал письмо и бросил в огонь — вот почему оно не сохранилось.

Тот телефонный звонок принес мне некоторое облегчение. Не хочу сказать, что я все время волновалась за Веру и Джейми, не такая уж я альтруистка, но иногда задумывалась об их судьбе. Помимо всего прочего, мне не хотелось, чтобы Фрэнсис оказался прав. А теперь получалось, что он ошибся. Иден целый месяц будет слоняться по дому, собираясь в путешествие, потом почти месяц отдыхать. Я забыла о промахе охотника, который оставляет засаду, чтобы неспешно поужинать, или кошки, которая при свете дня перестает следить за мышьиной норкой.

Каждые несколько недель мы с Хелен навещаем Джеральда. Он на семь лет младше Хелен, но выглядит старой развалиной, пускает слюни, ничего не слышит, несмотря на слуховой аппарат, и весь день сидит в инвалидном кресле, тогда как Хелен вихрем влетает в его комнату, ее движения по-прежнему быстры и грациозны, слух остр, и только глаза слегка затуманены, так что ей приходится напрягать зрение, чтобы узнать тебя, и в прошлый наш визит она сначала обратилась к другому старику, перепутав его со своим зятем.

Я не очень понимаю, зачем туда хожу. Джеральда я знала очень плохо, да и то в те времена, когда он был мужем моей тетки. Он так и не женился на женщине, о которой писал Вере, когда просил развода. Вероятно, смертная казнь через повешение оказалась для нее непреодолимой преградой, и о браке с вдовцом Веры Хильярд не могло быть и речи. Это было слишком для всех нас, вынудило меня в панике выйти замуж, отпугнуло любовника Патриции, убило (по утверждению Хелен) генерала и разрушило все, что еще оставалось от брака моих родителей, превратив их в чужих людей, которые почти не разговаривали друг с другом. Однако Хелен никогда не теряла связи с Джеральдом. Разумеется, они знакомы с давних времен, когда Джеральд был младшим офицером, еще до его встречи с Верой. Оба одинокие и в каком-то смысле отверженные, они иногда встречались в Лондоне. Когда Джеральд отдал Фрэнсису дом, купленный им в районе Хайгейт, и поселился в Бэрнс-хоум, пансионе для отставных офицеров, Хелен стала приезжать к нему раз в неделю. Джеральд выбрал Бэрнс-хоум потому, что тот находился на Бэрнс-корт, недалеко от кенсингтонской квартиры Хелен. Теперь она навещает его реже, возможно, из-за преклонного возраста; не исключено также, что я сопровождаю ее потому, что самостоятельные путешествия по Лондону в девяностолетнем возрасте кажутся мне не самой удачной идеей.

Это викторианский дом из красного кирпича с белой облицовкой, выходящий на одну из тех улиц с односторонним движением, по которым транспорт направляется на юг, на другой берег реки. С фасада у него самые толстые двойные рамы, которые мне только приходилось видеть, но с тыльной стороны разбит обширный, обнесенный стеной сад с величественными фиговыми деревьями, которые растут вдоль стен и которым, похоже, нравится пыль и выхлопные газы. В пансионе обитают в

основном мужчины, хотя есть и женщины, что меня всегда удивляло. Разумеется, я знала, что во время Второй мировой войны в вооруженных силах служили и женщины, но мне все равно казалось странным, что две из них очутились здесь, среди ветеранов боев в Западной пустыне и героев высадки в Нормандии. Все старики большую часть времени проводят в большой гостиной со стеклянными дверьми, выходящими в сад. Телевизор никогда не выключается, хотя его, по всей видимости, никто не смотрит, разве что урывками; но если вы попытаетесь встать перед ним или выключить его, то услышите шепот и недовольное ворчание. Ничто в комнате не указывает, что эти люди старые солдаты (старые моряки, старые летчики) — тут нет ни карт, ни картин, ни книг о войне. Никто не носит полковых галстуков, не говоря уже о медалях. У одного старика есть крест Виктории,<sup>[72]</sup> но это самый маленький и застенчивый из всех обитателей пансиона, и однажды я видела, как он встал и заковылял прочь, когда по телевизору начали показывать «Мост слишком далеко».<sup>[73]</sup>

Джеральд остался худым, но сильно сморщился; его кожа покрылась морщинами, словно шкура животного, долго пробывшая под водой. У него старческое слабоумие. Он все забыл — не только недавние события, но и то, что случилось в далеком прошлом. Наверное, это хорошо. Как говорит женщина, управляющая этим заведением, ему нравится нас видеть, и наши визиты становятся важными событиями в его жизни, но если это и правда, по Джеральду не догадаешься. Он никогда не улыбается. Все время, пока мы здесь, Джеральд не отрывает взгляда от телевизора. Когда мы входим, приближаемся вплотную и наклоняемся над ним, он на секунду отводит взгляд и произносит:

— А, Хелен!

Меня Джеральд не узнает. Никогда. Он принимает меня за дочь Хелен, но не Патрицию, а другую, чье имя выветрилось у него из памяти. Я пыталась поговорить с ним, но потом оставила попытки. Ему нравится, когда я держу его за руку. Он кладет на колени правую руку ладонью вверх, берет мою руку другой рукой, вкладывает в свою ладонь и довольно крепко сжимает. Мы не расцепляем пальцы до конца нашего с Хелен визита. Джеральд сидит лицом к телевизору, иногда с закрытыми глазами. Я смотрю на пейзаж за стеклянными дверьми: высокие коричневые спины домов и узкие ущелья между ними, редкие красные автобусы и сад, где растут только травы и деревья, достаточно выносливые и уродливые, чтобы выдерживать свинец, выхлопные газы, грязь и недостаток воды. Примерно посередине нашего визита для обитателей пансиона накрывают чай; нам

тоже наливают чай, но почему-то ни разу не предлагали пирожное или печенье.

Вчера, когда принесли чай и нам вручили чашки с блюдцами, на которых лежал завернутый в салфетку кусочек сахара, в комнату вошел мужчина и стал оглядываться; как выяснилось, он искал Джеральда, но не сразу узнал его, сидящего в инвалидном кресле меж двух женщин. Узнав, он подошел к нам, такой же не улыбочивый, как отец. Это был Фрэнсис. В последний раз мы виделись двадцать пять лет назад. Тогда я случайно встретила его с женой и детьми, Джайлзом и Элизабет, в открытом театре Риджентс-Парка. Вскоре после той встречи я видела их еще раз, Лиз и детей, но уже без Фрэнсиса, который оставил их и уехал в Южную Америку охотиться за жуками. Фрэнсис опубликовал две научно-популярные книги о жизни насекомых. Я написала ему, поздравляя с успехом одной из них, которая мне понравилась и в которой, как мне казалось, не было ничего от Фрэнсиса, однако он не ответил.

Теперь Фрэнсис стал похож на Веру. Внешность Энтони Эндрюса поблекла, исчезло и очарование Себастьяна Флайда.<sup>[74]</sup> Он худ до истощения — разве могло быть иначе с такими родителями? — и похож на богомола, хотя, возможно, это сравнение напрашивается из-за его профессии энтомолога. Фрэнсис весь какой-то высохший, сморщенный, потрепанный и поблекший, словно мертвое дерево, лишившееся коры и исхлестанное непогодой. Думаю, я узнала его только потому, что посетитель не мог быть никем другим.

Хелен переместилась в свободное кресло, уступая ему стул рядом с отцом. Фрэнсис поцеловал Хелен, задержавшись у ее щеки чуть дольше, чем требовал формальный поцелуй. Я вспомнила, что он всегда ее любил. Фрэнсис такой человек, что может приветствовать одну женщину поцелуем, а другую, с которой знаком не хуже, — безразличным взглядом. На нем был серый вельветовый костюм, очень старый и потрепанный, новенькая рубашка, чрезвычайно дорогая, галстук от Пера Спука<sup>[75]</sup> (я так думаю) и туфли «Трикерс». Он производил впечатление обеспеченного человека, а костюм — это просто причуда богача. Потом Хелен рассказала мне, что Фрэнсис женился второй раз, на вдове миллионера и члена парламента, которого убили в Ирландии. Я спросила, почему она раньше мне об этом не говорила. Забыла, ответила Хелен. А также имя новой жены и все подробности о ней. Но если я спрошу, как звали его первую жену, где они поженились и когда...

— Как дела, Фрэнсис? — спросила я.

— Хорошо. — Не знаю почему, но это прозвучало неестественно; обычно говорят «очень хорошо» или «неплохо». Если Фрэнсис пишет письма, то, вероятно, обращается к адресату по имени, не прибавляя «уважаемый» или «дорогой». Он не спросил меня, как дела. Сел рядом с отцом и, к моему удивлению, взял его другую руку.

Неужели так бывает всегда? Может, Джеральд держит за руку всех посетителей младше девяноста? Ведь он никогда не берет руку Хелен. Или Фрэнсис, которого я считала неспособным любить, а Чед Хемнер считал способным любить только зло, любит отца? Душа человека — загадка, тайна. Джеральд не сменил фамилию. Хильярд — это *его* фамилия, а не Веры, и Джеральд не стал отказываться от нее, но Фрэнсис, казалось бы безразличный к мнению окружающих и плюющий на весь мир, после ареста матери, предполагая худшее, стал называть себя Хиллзом; теперь он читает лекции в университете, пишет книги и собирает жучков как профессор Фрэнк Лодер Хиллз.

Так мы сидели, держа за руки Джеральда, который все сильнее и сильнее стискивал наши пальцы, пока боль не подсказала, что пора уходить. Взяв руку Фрэнсиса, Джеральд не отпустил мою, а сжал еще крепче; казалось, что он, несмотря на кажущуюся немощность, опирается на наши руки, намереваясь вскочить с инвалидной коляски. Я вспомнила Веру и ее странный жест, когда она наклонялась вперед и стискивала руки, словно хотела удержать внутри боль. Думает ли о ней Джеральд? Не напоминает ли ему о ней Фрэнсис, светловолосый, морщинистый и высохший, с такими же небесно-голубыми глазами? Несомненно, даже теперь Джеральд должен вспоминать, как она пыталась всучить ему чужого ребенка, смуглого, как его отец-пуэрториканец. Я совсем забыла о его глазах, забыла, как в юношеском возрасте пыталась вспомнить или выяснить, какого цвета глаза у Джеральда. Но когда Дэниел Стюарт начал писать свою книгу, я вспомнила и во время следующего визита к Джеральду, вчерашнего, посмотрела. Они синие. Темнее, чем у Фрэнсиса, василькового цвета.

Из пансиона для отставных офицеров мы вышли все вместе, втроем; мы с Хелен хотели взять такси до дома, а Фрэнсис направлялся к платной автостоянке, где оставил машину. Он беседовал с Хелен, но не о семье или об отце, а о русском фантастическом фильме, который демонстрировали в соседнем кинотеатре «Пэрис-Пуллмен». Очевидно, для него этот кинотеатр тоже соседний — они с женой купили дом на Крессуэл-плейс.

Не принимая участия в разговоре, я высматривала такси. На противоположной стороне улицы в дверях магазина я заметила старика;

похоже, магазин был не из разряда очень популярных, с керамической плиткой на витрине. Казалось, старик внимательно смотрит на нас, вернее, на Фрэнсиса, который, вскинув голову, смеялся над какой-то шуткой Хелен. Это был невысокий мужчина с седыми волосами, в слишком длинном плаще без пояса, с обыкновенным лицом и глазами, которые даже с такого расстояния выглядели печальными. Сердце замерло у меня в груди. Значит, эхо еще не затихло, голоса не умолкли...

— Я слышал, ты помогаешь Стюарту с этой его книгой, — обратился ко мне Фрэнсис.

— Да.

— Вульгарная и никому не интересная вещь.

— Возможно, вульгарная, но насчет неинтересной я сомневаюсь. Стюарт работает по заказу издательства.

— Если он упомянет обо мне, раскроет мое имя, я подам на него в суд. Можешь ему передать.

— Я?

— Именно так. Книга способна стать причиной ненависти, насмешек и презрения — вполне достаточное основание для иска. У тебя муж юрист, правда? Спроси его.

— За пять минут ты успел дать мне два поручения, Фрэнсис — или Фрэнк, или как там ты себя называешь, — ответила я. — Хорошо, что мы встречаемся раз в двадцать пять лет.

Подошло такси. Пока Фрэнсис усаживал в него Хелен, я бросила взгляд на противоположную сторону улицы и увидела, что к мужчине в дверях магазина присоединилась женщина; он ее поцеловал, и, взявшись за руки, они пошли в сторону Блит-роуд. Неужели я так жажду романтических драм, даже с трагическим концом, что на мгновение убедила себя, что это Чед Хемнер? Никакого внешнего сходства и ни малейшего шанса, что процесс старения придаст Чеду такой вид. Вне всякого сомнения, если бы мужчина приблизился ко мне, я увидела бы гладкие, как у младенца, мочки ушей.

И вдруг — несмотря на то что между этими двумя озарениями не было никакой связи — я прониклась убеждением, что событие, которого со страхом ждал Фрэнсис, глядя на меня потемневшими от ярости глазами, никогда не произойдет.

— Можешь не волноваться, — сказала я. — Стюарт не напишет эту книгу.

— Что заставляет тебя так думать?

— К тому времени, когда я, как ты изволил выразиться, закончу ему

помогать, у него пропадет желание.

Тот визит Фрэнсиса в «Лорел Коттедж», когда в отсутствие Веры он привез с собой девушку, был последним. Мне кажется странным, что человек, ставший энтомологом, не выказывал — насколько мне известно — ни малейшего интереса к насекомым, когда был ребенком. Фрэнсис даже не обрывал крылья мухам, что вполне естественно было от него ожидать. Поступив в аспирантуру Лондонского университета, он навсегда порвал с Синдоном, бросив, как я потом слышала, свои вещи, в том числе довольно ценные, среди которых были подарки от Чеда. А сам Чед, который (каким бы невинным он ни пытался себя изобразить) использовал Веру как прикрытие и ввел в заблуждение многих людей, заставив поверить в свой роман с ней, после отъезда Фрэнсиса ни разу не заглядывал в «Лорел Коттедж». Тот новогодний визит, когда заболела Вера, был последним. Фрэнсис поступил в колледж Куин Мэри, и Чед последовал за ним, как только смог, зарабатывая репортажами о благотворительных базарах, устраиваемых в Уилсдене Союзом горожанок и церковью, и снимая комнату на последнем этаже дома, где Фрэнсис сбросил его с лестницы.

Вера осталась одна. Но у нее была Джози. У нее был Джейми. Довольно часто ее навещала Хелен. После отъезда Иден в Форментор мой отец отправился в Синдон и остался там на ночь; целью его визита было отговорить Веру от переезда. Разумеется, без его согласия и согласия Иден она не могла этого сделать, но отец хотел представить все так, как будто выбор за Верой. Она печальным тоном ответила, что особенно и не надеялась на их согласие и даже точно знала, что Иден будет против. Но попробовать все равно стоило — вдруг получится.

Этот разговор впоследствии отец передал моей матери, а та рассказала мне, где-то между арестом Веры и судом. Отец спросил Веру, почему она хочет уехать, но в ответ услышал, что ей надоел Синдон. Отец понимал, что Вера скрывает истинные мотивы.

— Думала, что сможет улизнуть от Иден, — сказала моя мать. — Рассчитывала сбежать вместе с Джейми. Но от Иден не скроешься даже на краю земли — на ее стороне деньги.

— И, мне кажется, право, — сказала я.

Ничего не добившись — как и предполагала — от моего отца и Иден, Вера попробовала уговорить Джеральда выкупить для нее их доли в доме. О своих намерениях она рассказала моему отцу и, видимо, попыталась их осуществить. Если Джеральду нужен развод, пусть за него заплатит, сказала Вера. Не выкупит дом, не получит развода. Думаю, мой отец был

шокирован, услышав такие слова от одной из своих сестер, образцов скромности и добродетели, какими он их считал. Во всяком случае, так говорила мне мать. Но от нее я другого не ждала.

Отец ответил, что продаст Джеральду свою долю, если тот захочет купить, но Иден пусть решает сама. «Ты должен ее заставить, ты должен ее заставить», — вскрикивала Вера, схватив его за руку, но потом вдруг отвернулась и сказала, что, наверное, уже поздно. По мнению матери, она произнесла загадочные слова, которые мы, как нам казалось, потом поняли, хотя отец, конечно, в тот момент ни о чем не догадывался.

— Почему я так поступила? — воскликнула Вера. — Я могла бы сделать это сама в любое время.

Иден и Тони пробыли на Майорке гораздо дольше, чем мы все ожидали. Они ехали туда на месяц, а задержались почти на три. Думаю, как только они собирались уезжать, на острове становилось еще теплее и красивее — и отъезд все откладывался и откладывался. Нам приходили открытки, и Хелен — тоже, но, по словам моей матери — откуда она могла знать? — Вера не получила ни одной. Иден и Тони вернулись в апреле, когда я гостила в Уолбруксе. Это было в субботу, и они, вне всякого сомнения, очень устали, добираясь самолетом из Пальма-де-Майорки до Барселоны, потом поездом из Барселоны в Париж и из Парижа в Кале, потом паромом в Дувр, поездом до лондонского вокзала Виктория, потом через весь Лондон до Ливерпул-стрит и поездом до Колчестера. Но в понедельник утром Иден была уже в Синдоне, в «Лорел Коттедж», готовая забрать Джейми.

Она не предупредила Веру, которая узнала о возвращении Иден и Тони лишь потому, что ей позвонила Хелен (я это слышала), которая чрезвычайно удивилась неведению Веры. У нее был целый день, чтобы подготовиться к встрече, — впрочем, на самом деле несколько месяцев. Я уже говорила, что единственным человеком, которому Вера могла доверить Джейми, была Джози, но все дело в том, что Вера почти не разлучалась с сыном. За последние полтора года Джози, вероятно, сидела с ним всего один раз, когда Вера поехала на свадьбу к кому-то из родственников Нотонов.

Вера солгала Джози. Попросила взять Джейми под предлогом того, что к ней приезжает адвокат по делу о разводе. Поверила ли ей Джози? В то время ее сын проходил юридическую практику, и она должна была знать, что адвокаты не имеют обыкновения приезжать в сельскую глубинку к скромным клиентам, да еще в девять утра. Вера ожидала визита Иден

именно в такую рань и к этому часу уже отвела сына к Джози. Впервые услышав об этом, я вспомнила о Моисее, которого мать спрятала в камышах, но потом перечитала Книгу Исход и обнаружила, что все было не так. Она сделала сыну колыбельку из камышей и спрятала в высокой траве у берега реки; вероятно, под травой подразумевались ирисы. Но Джейми — не младенца, а пятилетнего ребенка — спрятать было гораздо труднее. Хотя в его возрасте такая сильная привязанность к Вере казалась чрезмерной. К полудню ребенок уже плакал и просился к матери, и Джози, устав от слез Джейми, отвела его домой. Если к Вере действительно приезжал адвокат, и действительно в девять часов, то к двенадцати он должен был уже уехать.

Вера ошиблась в расчетах. Причина проста — Иден, как правило, вставала поздно. Ей нечем было себя занять. Вместо девяти она приехала в одиннадцать. Даже теперь я стараюсь не думать, что Вера пережила за эти два часа. В любом случае, Джейми отсутствовал. Нетрудно представить — зная ее, как знаю я, — что могла сказать Вера.

— Я спрятала его в таком месте, где ты его никогда не найдешь!

А потом пришла Джози. Она обнаружила Веру и Иден в гостиной; сестры сидели друг напротив друга с непреклонным видом, словно готовились к бою. Увидев Джейми, Вера протянула к нему руки, и он бросился в ее объятия. Иден презрительно усмехнулась.

— Полагаю, ты отрепетировала эту драматичную сцену.

Все это мне известно потому, что после ухода Иден Джози сразу же позвонила Хелен. Очень рассерженная и расстроенная, она начала рассказывать все мне — я ответила на звонок, — прежде чем я успела передать трубку Хелен. В конце концов Иден ушла — без Джейми, но с обещанием вернуться.

При виде Джози Вера обратилась к ней за помощью, чтобы не дать Иден силой увести Джейми. Похоже, в то время она рассчитывала только на действия, словно потраченные силы и энергия, в отличие от споров и увещаний, могли все исправить. Думаю, в чем-то она была права.

— Я буду держать Джейми, а ты ее выгонишь, — так передала нам Джози слова Веры.

Это шокировало Джози. Она ответила, что и представить себе не могла, что окажется участницей подобной истории. Не может быть и речи, чтобы Иден забрала Джейми у матери. Она никогда не слышала ни о чем подобном. Думаю, действительно не слышала. Джози спросила Иден — решительно и резко, как я понимаю, — почему она считает, что имеет право насильно увозить Джейми из дома, от родной матери.

— Здесь ему не уделяют должного внимания, — ответила Иден. — У

него нет друзей его возраста. Его держат в изоляции, как отшельника. Ему почти шесть, а в школу он ходил только две недели, когда жил у меня. Вера о нем не заботится — взгляните на его ботинки!

На самом деле Вера была бедна; она еженедельно получала весьма скромную сумму от Джеральда, составлявшую ее единственный доход. Не знаю, что было не так с ботинками Джейми, но, скорее всего, они просто не соответствовали сезону или имели шнурки другого цвета, я в этом уверена. Что касается внимания, тут дело обстояло с точностью до наоборот, и мне кажется, некоторая самостоятельность Джейми нисколько бы не помешала. В любом случае, Джози оставила без внимания выпад Иден. Она сказала, что, если Иден намерена усыновить Джейми, вопрос должен решаться юристами в суде, а не с помощью кулаков.

— Выгони ее, — повторила Вера, не выпуская Джейми из объятий.

— Вы слышите, что она говорит, — сказала Джози. — Вам лучше уйти.

Ненависть пропитывала воздух, словно ядовитый газ, рассказывала Джози Хелен. Теперь мы называем это «атмосферой». Просто невыносимо смотреть, как ссорятся сестры, прибавила она. Интересно, что чувствовала бы Джози, если бы, подобно мне, видела их такими, какими они были прежде?

— Я уйду, но еще вернусь, — сказала Иден.

Это была первая встреча Джози с Иден. На нее не произвели впечатления ни богатство, ни то, что Вера называла «силой».

— Если такое повторится, — заявила Джози, — я вызову полицию.

Хелен заставила Эндрю немедленно отвезти ее в «Лорел Коттедж», а затем вместе с Верой и Джейми доставить в Уолбрукс. Вернувшись, она постаралась получить объяснение произошедшему у Веры. Мы все присутствовали при этом. Дело принимало настолько серьезный оборот, что уже было не до внешних приличий или исключения кого-либо по причине возраста.

Вера казалась спокойной, почти невозмутимой. Думаю, в Уолбруксе она чувствовала себя в безопасности, и тем ужаснее для нее оказались последующие события. День был чудесный, очень теплый для апреля, и мы сидели в гостиной, где проходила свадьба Иден; через открытые стеклянные двери в сад в комнату проникали солнечные лучи. По краям большой лужайки, тянувшейся до самого озера, росли нарциссы, а рядом с домом — синий морской лук и маленькие алые тюльпаны, по красоте превосходящие орхидеи.

— Если ты твердо заявишь Иден, чтобы она оставила мысль об

усыновлении Джейми, ей придется отступить, — сказала Хелен Вере. — Возможно, тебе лучше написать ей, дорогая. Почему бы нам не составить письмо, абсолютно бескомпромиссное, и ты его отошлешь? Фейт с Эндрю сходят в деревню и отправят его, правда, дорогие? Тогда Иден получит его утром.

Вере, похоже, не понравилась эта идея. Письмо «не принесет пользы», сказала она. Только «сделает все еще хуже».

— Но почему, Вера? — настаивала Хелен. — Ты обещала Иден, когда болела, что она может забрать Джейми, а теперь боишься отказаться от своих слов? Да? Ты не должна так переживать из-за этого, ты должна забыть.

— Разумеется, я ничего не обещала, — сказала Вера. — Как я могла такое обещать?

Генерал ненавидел Иден. И склонялся к тому, чтобы прибегнуть к помощи закона.

— Я обращусь к своему адвокату, — сказал он. — И знаю, как он поступит. Приведет нас всех к судье и добьется предписания. Этой маленькой гарпии запретят приближаться к твоему парню даже на милю.

— Эй, генерал, — сказала Хелен. — Знаешь, Иден ведь и моя сестра.

— Только наполовину, — возразил он, явно забыв, что это относится и к Вере.

Как бы то ни было, в тот день больше ничего не случилось — и на следующий тоже. Иден снова заболела. На этот раз болезнь была другой, не имела отношения к почкам. На суде прокурор утверждал, что Вера предприняла вторую попытку отравить Иден, подсыпав какой-то яд в чашку кофе в утро понедельника в «Лорел Коттедж». Здесь у меня два возражения: во-первых, на этот раз у Иден была слабость и диарея, что в любом случае указывает на другой вид яда, а во-вторых, просто невозможно представить, чтобы в таких обстоятельствах она что-либо пила или ела.

О болезни Иден мы узнали потому, что Хелен позвонила ей, намереваясь «откровенно поговорить». Поговорить ей вообще не удалось. Трубку взяла миссис Кинг, сообщившая, что Иден в постели и что они вызвали врача. Услышав об этом, Вера рассмеялась и сказала, что Бога не обманешь, — ее слова явно отдавали безумием. Она много рассуждала на эту тему, временами бессвязно и нелогично, наподобие Офелии. Вера осталась в Уолбруксе, и ее поведение все время менялось — от спокойствия, больше напомилавшего оцепенение, до лихорадочных, бурных всплесков энергии. Через несколько дней мне нужно было

возвращаться в Лондон, и Эндрю собирался провести остаток каникул вместе со мной. Потом последний семестр и выпускные экзамены. Впервые я с нетерпением ждала, когда смогу уехать из Уолбрукса домой. Во время одного из всплесков активности Вера предложила Хелен удлинить все кухонные занавески, севшие после неправильной стирки. В кухне Уолбрукса имелось пять окон, так что задача была не из легких. С тех пор вид женщины, которая шьет большой кусок ткани — работа разложена на коленях, голова наклонена, пальцы мелькают, — напоминает мне о Вере. Возможно, именно поэтому я не шью и никогда не мечтала собственными руками сшить занавески для своего дома.

В пятницу утром мы с Эндрю уехали в Лондон — в подержанной машине, которую он себе купил, стареньком «Моррисе» десятой модели. Хелен сказала, чтобы мы не задерживались и не ждали Веру; они с генералом сами отвезут ее домой. У нее такое ощущение, что мы больше не услышим претензий Иден по поводу Джейми. Все в прошлом — это была всего лишь попытка. Вероятно, генерал попал в точку, говоря об обещаниях, которые дала Вера, когда была больна и слаба духом.

Мы уехали, испытывая облегчение, причин для которого не было. Я ничего не рассказала отцу, и Эндрю тоже молчал, хотя мы заранее не договаривались избегать этой темы. Теперь мне кажется, что мы оба чувствовали — как и другие сторонние наблюдатели, — что все не так просто, и здесь присутствует множество тайн, вещей, которые от нас намеренно скрывают, и что мы будем выглядеть глупо, если начнем высказывать свое мнение или давать советы. В те несколько дней мы с Эндрю даже не обсуждали это между собой, но, когда мы ехали в поезде в Кембридж, одни в купе, он вдруг сказал, словно признавался в чем-то:

— Я тебе не говорил, никому не говорил, не хотел волновать. Это будет на моей совести — после всех разговоров об адвокатах и предписаниях. Когда мы были дома, за день до отъезда, я видел Джун Пул у начала нашей аллеи.

Аллеей в этой части страны называют подъездную дорожку. Она вела от дороги к дому, мимо коттеджей Уолбрукса и заколоченного дома, пустовавшего уже двадцать лет, мимо амбаров и конюшен.

— Ну, она могла приходить в один из коттеджей. Может, у нее там кухня или тетка. Мне всегда казалось, что в этих краях все родственники.

— Джун шла спиной ко мне, удалялась, но у меня возникло ощущение, что она стояла за живой изгородью и ждала. А потом увидела меня.

Я спросила, почему он так уверен, что видел именно Джун Пул. Ведь девушка была довольно далеко?

Эндрю был рад ухватиться за любую соломинку. Не меньше сотни ярдов, может, больше. Если бы его попросили подтвердить это под присягой... нет, он не решился бы. Так получилось, что его и не просили, однако, делая это заявление, Эндрю был гораздо ближе к допросу под присягой, чем мог предположить. Он спросил, не кажется ли мне, что стоило сказать отцу?

— А какой от этого прок? — ответила я вопросом на вопрос.

Теперь все это напоминает мне о Санни Дарем и убийстве в Кирби-Тейстон, хотя я сама не знаю почему. Сходства тут немного. В тот момент я подумала о Кэтлин Марч, которую украли, когда она осталась на попечении Веры, а потом убили. Действительно ли Эндрю видел Джун Пул и действительно ли она ждала удобного момента, чтобы выкрасть Джейми?

Больше я не видела Веру. В ту пятницу я послушно поцеловала ее на прощание — мы соприкоснулись щеками и чмокнули воздух.

— Передай мою любовь отцу, — сказала она. — Как-нибудь, в один из этих чудесных дней, я приеду в Лондон и удивлю его.

Если не считать прощания, это были ее последние слова, обращенные ко мне. В семье Лонгли никогда не говорили «пока» — разве я не рассказывала? Это было строжайше запрещено, как еда правой рукой.

— До свидания, — сказала Вера и помахала рукой; она стояла на дорожке рядом с Хелен. Джейми тоже кричал «До свидания!» и махал нам на прощание, сжимая и разжимая пальцы — однажды я видела, как американский профессор во время лекции таким жестом изображал кавычки. Оглянувшись в последний раз, я увидела, как они идут к дому, взявшись за руки.

Остальное я знаю со слов Хелен и Джози. После обеда генерал отвез Веру и Джейми домой в Синдон, убежденный, что все в порядке и что большая часть рассказанных событий произошла в лишь воображении Веры — или Джози. Посидев полчаса, он уехал домой. На следующий день Хелен позвонила Вере и нашла ее энергичной и спокойной. Потом позвонила Иден. Ей стало лучше, и она ждала к ленчу шестерых гостей. Иден отказалась обсуждать будущее Джейми. Тут не о чем говорить, заявила она, все уже решено. Хелен поняла это так, что Иден отступилась и компенсирует свое поражение высокомерием.

В воскресенье ничего не произошло. Иногда я пыталась представить, как в то время проводили день Вера и Джейми. Мне это трудно сделать, потому что сама я никогда не жила в таких условиях, одна в глухой деревне, почти без друзей, без машины, в благородной бедности. Вера не

могла себе позволить пригласить шестерых человек на ленч, даже если бы хотела. Что они делали? Вставали рано, я в этом не сомневаюсь: Вера занималась домашней работой — когда я гостила у нее, она ежедневно вытирала пыль и полировала мебель, — а Джейми играл с игрушками. Затем «Санди экспресс» для Веры и, возможно, прогулка, потом ленч с неизменным ломтиком жареного мяса — крошечные кусочки, на которые в 1950 году уходила вся недельная норма, — жареной картошкой, йоркширским пудингом, зелеными овощами, а на закуску пирог с вареньем или небольшие пирожные с заварным кремом. Потом еще одна прогулка? Сон? Радио? И конечно, шитье или вышивание. Возможно, Вера читала сыну сказку или несколько сказок, говорила с ним, играла... Нет, мое воображение не справлялось с задачей заполнить эти долгие часы, особенно в холод и дождь или когда на улице рано темнело. Вера не читала книг — за исключением детских, вслух. Шкаф в гостиной вмещал библиотеку не увлекающегося книгами человека, в том числе школьные учебники и явно нежеланные подарки.

Закрыв глаза, я и теперь вижу этот книжный шкаф. Вижу, как Джейми возит игрушку по нижней полке и корешкам книг. Стоял ли там в то время «Бюллетень № 23. Съедобные и ядовитые грибы»? Сомневаюсь. Я вспоминаю, что там было: «Драгоценный Бейн», «Энтони Эдверс», «Сезам и Лилии» — награда за успехи в школе, «Сокровище черного сокола», «Полный каталог английских бабочек» Фрохоука... Значит, я ошибалась, утверждая, что в детстве Фрэнсис не проявлял интереса к энтомологии? Может, это была его книга? А если брошюра о грибах тоже принадлежала ему и в то время стояла у него в шкафу в спальне? «Грозовой перевал», «История мистера Полли», «Рассказы из Шекспира» Лэма... а тот темно-зеленый корешок рядом с ней случайно не «Бюллетень № 23»? Не может же он стоять одновременно в двух местах. Не исключено, что тогда его вообще не было в доме. Но я точно знаю, что один раз видела бюллетень в том книжном шкафу, в гостиной, — рыжие лисички на темно-зеленой обложке и увлекательные мифы внутри.

То воскресенье — не помню, солнечное или дождливое — я провела в Кембридже. В тот период я избавлялась от влияния семьи, причем очень быстро, не по дням, а по часам, и, твердо решив, что как человек, который скоро станет независимым, больше не буду поддерживать отношения с сестрами отца, с сожалением размышляла о разрыве с Хелен, которого не избежать, если я брошу Эндрю. Я много думала об этом — должно быть, в то воскресенье тоже, между перечитыванием «Королевы фей» Спенсера и свиданием с Эндрю. Хотя Вера вряд ли представлялась мне жертвой,

попавшей в худшее из возможных переплетений человеческих судеб. Как и остальные, я не сомневалась, что они с Иден уладили все разногласия. В те дни я мнила себя убежденной феминисткой и интеллектуалом и поэтому, наверное, свысока смотрела на их мелкие дразги.

Вот за это меня и следовало наказать. Убийство добралось до каждого члена семьи, отметив десяток лбов каиновой печатью; чем дальше родство, тем бледнее след, но от него никуда не деться, оно навечно отпечаталось в мозгу. Вопрос или случайное слово проявляют эту печать, подобно тому, как проявляются невидимые чернила, когда их подносят к огню. И только время стирает ее, даря некое подобие спокойствия и возможность мысленно вернуться в прошлое.

Наступил понедельник. Вера обдумывала бегство. Ближе к вечеру она сказала Джози, что хочет сбежать. И даже начала собирать сумку, упаковала одежду Джейми, его игрушки и книги. Вера представляла себя беженцем — за прошедшие годы мы, прежде невежественные, узнали, что это такое, — который спасается от армии завоевателей, безразличен к тому, что оставляет, и берет с собой единственную ценную вещь. Но куда она собиралась уехать, как жить? У Веры не было ни денег, ни возможностей заработка, ни ценностей, которые можно продать.

В десять часов приехала Иден вместе с Джун Пул и миссис Кинг. На Джун было серое платье, в котором мы ее видели раньше, и серая фетровая шляпа — обязательный наряд няни. Миссис Кинг держала в руках коробку шоколада «Черная магия». Весной 1950 года (и еще на протяжении нескольких лет) сладости продавались по карточкам, и поэтому шоколад следовало бы считать ценным подарком, если бы он не предназначался для подкупа шестилетнего ребенка. Утро выдалось солнечным и довольно теплым, и они нашли Джейми в саду; ребенок играл в песочнице, которую Вера соорудила у самого дома. Когда я была маленькой, и Иден тоже, песочница находилась в глубине сада рядом с хибарой, которая теперь у меня прочно ассоциировалась с любовными утехами Чеда и Фрэнсиса, — но для Веры это было слишком далеко. Ей требовалось все время держать Джейми в поле зрения.

Она увидела незваных гостей почти сразу, поскольку стирала на кухне. По понедельникам Вера всегда стирала. Этому дню было суждено стать самым ужасным в ее жизни, и мне кажется, она это предчувствовала, но понедельник, а значит и стирку, никто не отменял. Из окна Вера увидела, что происходит. Джун Пул в своей серой униформе присела на корточки на краю песочницы и одной рукой обняла Джейми, а миссис Кинг склонилась

над ними, показывая мальчику шоколад. Как Иден удалось рекрутировать этих женщин в свою частную армию? Вне всякого сомнения, только убедив в своей правоте.

Вера не сразу заметила Иден. Она выбежала из дома с мокрыми руками и в буквальном смысле была перехвачена сестрой, стоявшей на дорожке, которая вела к черному ходу. Иден взяла ее за плечи и сказала:

— Будь благоразумной, Вера. Ты знаешь, что должна уступить, — зачем же устраивать сцену?

Вера вскрикнула, вырвалась и нырнула под руку Иден. Она бросилась к сыну, но Джун уже подхватила Джейми и уносила тем же путем, которым они пришли.

— Давай, Джун, — сказала Иден. — Сажай его в машину как можно быстрее, и мы едем.

Именно в этот момент появилась Джози; она приходила почти каждое утро — спросить, не собирается ли Вера в магазин, или просто поболтать за чашечкой кофе. Поначалу Джози не поверила своим глазам. Так часто бывает, когда мы становимся свидетелями сенсационных событий, кажущихся невероятными в контексте повседневной жизни. Джози посчитала все это спектаклем, игрой. Но ее замешательство длилось лишь несколько секунд. Она увидела, как Вера бросилась к Джун, а Иден и миссис Кинг совместными усилиями оттащили ее, услышала плач и вопли Веры.

— Что вы делаете, черт возьми? — крикнула Джози.

— Прошу вас, миссис Кембас, не вмешивайтесь, — сказала Иден. — Это наше с сестрой дело.

— Не дай им его забрать, Джози! — крикнула Вера. — Не дай им его забрать.

Джейми уже сидел в машине. Он тоже плакал. Двое или трое соседей Веры вышли из своих домов — в деревне все не так, как на улицах Лондона. Первая мысль Джози была о Вере, которую она попыталась обнять, но Вера бросилась к машине, стала стучать кулаками в стекло и звать Джейми.

Иден прыгнула на водительское сиденье. Джози показалось, что она хочет прищемить дверью руку Веры. Но Иден промахнулась. Потом завела мотор, который громко взревел, и оглянулась на Джози. Самое ужасное, вспоминала та, были слезы, заливавшие лицо Иден. Миссис Кинг и Джун сидели сзади, держа почти обезумевшего Джейми, который вырывался и кричал: «Мама! Мама!»

Иден уехала, а Вера бросилась бы за ней, если бы Джози ее не

остановила. Обняв Веру, которая уткнулась головой ей в плечо, Джози отвела ее домой.

Утренней почтой пришло письмо от Дэниела Стюарта с фрагментами судебных протоколов. До сей поры я предпочитала не знать, что происходило в Центральном уголовном суде в ту неделю лета 1950 года. Мой отец также умер в неведении. Взамен у нас было свидетельство очевидца событий, которые произошли в Гудни-холле, — самой Джози. Но с рассказом о вечере, когда мы с ней и моим отцом заперлись в гостиной — каждый уже выпил довольно много виски, и собирался выпить еще, — я немного повременю.

Стюарт просит: «Добавьте, пожалуйста, свои комментарии, миссис Северн». Какие у меня могут быть комментарии? Я там не присутствовала. Я была в Кембридже и в том семестре не читала газет. Мой отец в Лондоне не покупал «Дейли телеграф» со дня появления Веры в магистратском суде и до тех пор, пока не прошла неделя после окончания процесса, а когда вернулся к своей ежедневной газете, то после перерыва нашел кроссворд слишком трудным и так и не смог закончить его. Я пыталась не думать о Вере, отделить себя от нее, но, несмотря на все усилия, сдала экзамены хуже, чем ожидалось. Единственный абзац, который я прочла, прежде чем запретила себе смотреть в сторону газет, преследовал меня, часто всплывая перед глазами и заслоняя другие, написанные более изящным слогом страницы.

*Вера Айви Хильярд, 43 лет, проживающая на Белл-лейн в Грейт-Синдоне, графство Эссекс, предстала сегодня перед магистратским судом Колчестера по обвинению в убийстве своей сестры, Эдит Мэри Пирмейн...*

Мы с Эндрю в панике поженились, чтобы сохранить все в семье. Столько людей знали, что Вера и Иден приходятся нам тетками. Я представляла, как они сплетничают, и у их сплетен отрастают щупальца, способные дотянуться в такую даль, как Лондон и Кембридж. Пришлось забыть о решении освободиться от оков семьи, сбросить ее с себя, как змеи сбрасывают старую кожу. После того, что совершили мои родственники, это стало невозможно. Я была накрепко связана с ними, с братьями и сестрами, кузенами, племянницами и племянниками, заключена в своего рода гетто. Теперь мне кажется, что брак с Эндрю был попыткой спастись — так люди женятся или выходят замуж, чтобы получить гражданство или

избежать высылки из страны. А может, просто слепой выходил за слепого или хромой за хромого. Наш брак продлился два года. Потом мы расстались — по взаимному согласию.

Вскоре после нашего развода Эндрю женился на какой-то женщине, которая быстро подарила Хелен внучку. К тому времени Хелен стала вдовой, Уолбрукс был продан, а Тони уехал Бог знает куда, на Дальний Восток, с разрешения властей отдав Джейми в пансион. Джейми перешел под опеку суда, превратившись в подобие Мельхиседека, царя и первосвященника, — без отца, без матери и без предков.

Таких, как он, я больше не встречала.

На следующей неделе я собираюсь с ним увидеться. Он приготовит мне обещанное угощение, и теплым флорентийским вечером мы будем сидеть в его саду — сравнивать наши воспоминания.

Интересно, стоит ли читать эту стенограмму? Зачем причинять себе боль и страдания, избежать которых все равно не удастся? Если бы у меня горел камин, как в сороковых годах, может, я поступила бы так, как поступал отец с приходившими зимой письмами, и бросила листки в огонь? Нет, напомнила я себе, сначала он их читал, причем нередко по многу раз, в зависимости от того, кто присылал эти письма.

Итак, приступим. По крайней мере, здесь не вся стенограмма, а только самое важное, как утверждает Стюарт. Главным свидетелем защиты была Джози, и это часть ее показаний. Адвокат просит ее описать, что случилось после того, как Иден и ее подручные забрали Джейми.

**Джозефин Кембас:** Я вернулась в дом вместе с ней. Она была в истерике, кричала и плакала. В доме нашлось бренди, и я налила ей немного, добавив в стакан воды. Я хотела позвонить в полицию, а она сказала, что это бесполезно, и тогда я ответила, что поговорю со своим сыном. Он знает, что нужно делать.

**Судья Ламберт:** Ваш сын полицейский?

**Миссис Кембас:** Нет, милорд, он адвокат.

**Адвокат:** Вы поговорили с сыном, миссис Кембас?

**Миссис Кембас:** Пыталась. Назвала его номер оператору. Вера, миссис Хильярд, выхватила у меня трубку. Сказала, что адвокаты и полицейские тут не помогут.

**Адвокат:** Вы спросили, почему?

**Миссис Кембас:** Она ответила, что вся подноготная известна только им с сестрой. Это ее слова. Она сказала, что поедет в Гудни-холл, чтобы поговорить с сестрой и мужем сестры. Ей нужно поговорить с мужем сестры, повторяла она, и, если потребуется, она будет ждать там, на пороге, пока он не вернется. К тому времени она вроде бы успокоилась. Как будто покорилась судьбе. Как будто...

**Судья Ламберт:** Не имеет значения, какой она вам казалась, миссис Кембас. Суд хочет знать, что вы видели и слышали, а не ваши предположения.

**Адвокат:** Миссис Хильярд поехала в Гудни-холл и вы поехали с ней?

**Прокурор:** Милорд, вам не кажется, что мой ученый коллега задает наводящие вопросы свидетелю?

**Судья Ламберт:** Да, возможно.

**Адвокат:** Прошу прощения, милорд. Я сформулирую вопрос по-другому. Миссис Кембас, что делала миссис Хильярд потом?

**Миссис Кембас:** Надела пальто, схватила сумочку и заявила, что доедет на автобусе до Бьюреса, а там будет ждать автобуса до Гудни, если я не отвезу ее на машине. У меня не было особого желания ехать. Я не хотела вмешиваться, но согласилась ее отвезти, рассчитывая, что не буду входить в дом — просто высажу ее и вернусь. Я пошла домой, взяла машину и отвезла миссис Хильярд в Гудни-холл. Когда мы приехали туда, она умоляла меня позвонить в дверь, утверждая, что ее саму просто не пустят в дом.

**Адвокат:** Вы исполнили ее просьбу?

**Миссис Кембас:** Сначала отказывалась, не хотела идти, но в конце концов уступила. Дверь мне открыл мистер Пирмейн. Он сказал...

**Адвокат:** Вы не должны говорить нам, что сказал мистер Пирмейн, если миссис Хильярд при этом не присутствовала. Она присутствовала?

**Миссис Кембас:** Нет, она была в машине.

**Адвокат:** Очень хорошо. Что вы сделали, выслушав мистера Пирмейна?

**Миссис Кембас:** Вернулась к машине, позвала миссис Хильярд, и мы обе вошли в дом в сопровождении мистера Пирмейна. Там больше никого не было. Миссис Хильярд сказала, что ей нужно кое-что сообщить мистеру Пирмейну, поговорить с ним наедине, и попросила меня на минутку выйти. Я ответила, что поеду домой, что у меня нет причин оставаться, однако она умоляла подождать ее, просто ненадолго выйти из комнаты. Мистер Пирмейн сказал, что догадывается, о чем она собирается с ним говорить, — он уже знает, жена сказала ему несколько дней назад. В этот момент в комнату вошла миссис Пирмейн и заявила миссис Хильярд: «Я все ему рассказала...»

Я отложила стенограмму. Нечто подобное мне приходилось читать и раньше — такие документы мне показывал муж, и я видела их в книге «Знаменитые судебные процессы Великобритании». Все они очень похожи и выглядят какими-то искусственными; люди в них изъясняются языком, ограниченным обстоятельствами, в которых они оказались. Тем не менее все меня убеждали, что стенограммы являются точной записью всего сказанного. Странно... Как бы то ни было, именно с этого момента начала свой рассказ Джози — в тихой, замкнутой, напряженной атмосфере жарко натопленной гостиной моих родителей. Она повторила слова Иден, которые та произнесла тем апрельским утром, войдя в салон своего дома.

— Этим ты ничего не добьешься, Вера. Я все рассказала Тони. Рассказала, что Джейми мой сын.

Конечно, мы знали. К тому времени уже знали. Голые факты достигли наших ушей, несмотря на то, что мы, словно страусы, прятали голову в песок. От Джози нам были нужны подробности, мелочи, которые окружали эти голые факты, словно полупрозрачная вуаль. Наклонившись вперед и глядя не на нас, а на огонь в камине, она рассказывала:

— Вера вскрикнула. Я так и не поняла, отрицала она это или нет. Тони — мы с ним не были знакомы, но я буду называть его так — выглядел мрачным. Несчастливым. Он стоял и кивал головой, прикрыв глаза. Ваша сестра — я имею в виду Эдит, Иден, — сказала: «Он мой ребенок. Вера его только вырастила. Она сама предложила, и я признаю, это было благородно с ее стороны, просто замечательно, но о том, чтобы оставить его себе, речь никогда не шла». «Ты лгунья!» — крикнула Вера. Тони был ужасно

смущен. Мне кажется, что он относится к тому типу людей, которые больше всего теряются в трагической ситуации. Он сказал: «Миссис Кембас не нужно об этом знать. Это частное дело, пусть оно таким и останется». «Нет, — возразила Вера. — Пусть все знают. Я не позволю вам это замолчать. Я буду кричать на всех перекрестках, как она со мной обращалась, змея подколодная, жестокая мучительница. Я хочу видеть своего мальчика, — потребовала она. — Где мой мальчик?» «Он не твой мальчик, — сказала Иден. — Мой. И будет принадлежать мне и Тони. Мы собираемся официально его усыновить». «Как ты можешь усыновить собственного ребенка?» — воскликнула Вера, и это было единственным, что хотя бы напоминало уступку. Разумеется, собственного ребенка *можно* усыновить, если он незаконнорожденный. Я спрашивала своего сына.

— Вера начала оскорблять Иден. Наверное, вы не захотите услышать, что она говорила, то есть ее собственные слова?

— Только суть, — сказал мой отец, покачав головой.

— Пожалуй, это можно назвать обвинениями в безнравственности. Иден это очень не нравилось. Тони выглядел так, словно вот-вот упадет в обморок, но Иден оставалась абсолютно спокойной. Она нам все рассказала, то есть мне и Тони. Я уверена, ее муж раньше не знал всех подробностей. Он сел и закрыл лицо руками.

Выяснилось следующее: осенью 1943 года Иден обнаружила, что беременна. От кого, она не стала уточнять. И тогда вмешалась Вера, заявив, что Иден спала с десятком мужчин, в том числе с американским солдатом, пуэрториканцем из Гарлема, который в то время был самым красивым мужчиной в Лондондерри. У Джози сложилось впечатление, что эти сведения Вера почерпнула из самого первого признания Иден. Несомненно одно — у светловолосого Джейми карие, южные глаза и светло-оливковая кожа, никогда не обгоравшая на солнце. Сама Иден, похоже, пыталась убедить Веру (и Вера в то время верила), что у нее страстный роман с офицером королевского флота, который погиб в результате торпедной атаки на фрегат «Лаган» в 1943 году. Как тут не вспомнить другого морского офицера, тоже утонувшего вместе со своим кораблем, любовника или предполагаемого любовника Иден, фигуранта самого грандиозного розыгрыша Фрэнсиса? Вера и Иден, бедняжки, оставались снобами до самого конца.

Я уверена, что Фрэнсису Иден призналась раньше, чем Вере. Иначе и быть не могло, и загадочные фразы Фрэнсиса, произнесенные утром перед первой попыткой похищения, это подтверждают. Вероятно, Фрэнсис подсказал ей, где можно сделать аборт — такие вещи он должен был знать.

И мог дать ей денег, или хотя бы часть, чтобы оплатить процедуру. У Фрэнсиса всегда водились деньги. Думаю, он торговал собой. Однако Иден по какой-то причине не стала делать аборт. Может, она рассказала Вере, и та ее отговорила — Вера, которая сама хотела ребенка и признавалась в этом Хелен, но не могла зачать? По всей видимости, Иден уволилась из женской вспомогательной службы военно-морских сил за несколько месяцев или даже лет до того, как мы об этом узнали. Вернулась в «Лорел Коттедж» и укрылась там.

Сегодня даже людям моего возраста трудно понять, насколько ужасным в 1944 году считалось появление незаконнорожденного ребенка у обычной девушки из среднего класса. А Иден преподносила себя — а также преподносилась самой тщеславной из женщин, ее сестрой, — как образец для подражания. Она не могла написать брату и во всем признаться, рассказать единокровной сестре и ее мужу, позволить, чтобы об этом узнали в Синдоне, где ее считали милым, серьезным подростком, юной сиротой. А что, если сестра, старшая сестра, заменившая ей мать, притворится беременной, якобы родит и потом будет появляться с ребенком?..

Конечно, в тот зимний вечер Джози всего этого нам не могла рассказать. Кое-какие выводы я сделала сама: из собственных наблюдений, которые прежде не могла объяснить, из догадок, а также знания этих двух женщин, моих теток, моих мертвых теток, одна из которых убила другую.

Вера могла предложить этот выход из любви к Иден, из чистого альтруизма и желания сохранить репутацию сестры. А может, она просто хотела ребенка. Потерпев, как это ни прискорбно, неудачу с Фрэнсисом, Вера собиралась попробовать еще раз. Но вероятнее и то, и другое. Она думала, что так будет лучше всем. Никто не знает, что сестры говорили друг другу. Действительно ли Вера обещала оставить у себя ребенка только до той поры, пока Иден не захочет его забрать? Или взяла его без всяких условий, чтобы сделать своим сыном? На первый вопрос Иден ответила утвердительно. По словам Джози, Вера промолчала. Мы сидели и слушали как замороженные.

Ребенок родился в роддоме Колчестера, который через год был разрушен бомбой, в результате чего все документы погибли. Иден поступила туда под именем миссис Хильярд. По ее утверждению, во время беременности у врача она наблюдалась тоже как миссис Хильярд. Пока Иден была в роддоме, Вера уехала из дома и жила в меблированных комнатах в Феликстоу. Договорились они так: Иден с ребенком уезжает из роддома на такси, Вера возвращается из Феликстоу, они встречаются в

Колчестере в холле гостиницы «Георг», а затем все вместе, втроем, едут домой на другом такси. Вера саркастически рассмеялась, услышав этот рассказ Иден, как будто в жизни не слышала более нелепой выдумки.

— Иден вышла из комнаты, — продолжала Джози, — и вернулась с длинным конвертом, в котором лежал какой-то документ. Это было свидетельство о рождении. Свидетельство о рождении Джейми.

— Вы его видели? — спросила я.

— О да, видела. Оно было выписано на имя Джеймса Лонгли: мать Эдит Мэри Лонгли, отец неизвестен. Вера выхватила у меня бумагу. Сказала, что это подделка. Потом заявила, что Иден ввела в заблуждение регистратора, совершив серьезное преступление, которое карается несколькими годами тюрьмы. Разумеется, все это звучало нелепо. Нам предъявили свидетельство о рождении, в котором были указаны факты и которое Вера сама раньше не видела. Думаю, боялась увидеть, боялась даже спросить. Она прекрасно знала, что там написано.

— Но с другой стороны, — сказала я, — если они все так подстроили, то могли изготовить и фальшивое свидетельство. Почему сама Вера, которая была здорова и которой не нужно было оправляться после родов, почему она сама не пошла к регистратору?

Джози ничего не могла нам сказать, но мне казалось, что я знаю ответ. Я представляла, как все произошло. Иден не перестраховывалась, разработав план на случай чрезвычайной ситуации, если ей вдруг захочется взять Джейми, а просто побоялась делать ложные заявления. В регистрационных конторах всегда очень строго предупреждали на этот счет. Или она пришла, чтобы зарегистрировать Джейми как сына Веры Хильярд и Джеральда Хильярда, но в последний момент испугалась? Но это не дает ответа на вопрос, почему Вера не нанесла визит к регистратору сама. Скорее всего, просто потому, что Иден успела первой, отправившись в контору одна, через пару дней после возвращения в Синдон, а затем поставила сестру перед *свершившимся фактом*.

— Вера держала свидетельство в руках, — рассказывала Джози, — и пыталась его уничтожить. Такие документы делаются из прочной бумаги, и их трудно порвать, но ей удалось оторвать кусочек, прежде чем Тони отнял у нее свидетельство. Уничтожать его не было смысла. В архиве Сомерсет-хауса должна храниться копия.

Итак, Вера взяла себе Джейми как собственного сына, а Иден уехала в Лондон работать в качестве компаньонки престарелой леди Роджерсон. Насколько легче было бы Вере, родись Джейми на месяц раньше! Джеральд никогда не признал бы ребенка, которого вынашивали десять с

половиной месяцев. А скажи она ему правду, позволил ли бы ей Джеральд назвать Джейми своим сыном? Возможно. А возможно, рассказал бы всем, что настоящая мать Джейми — Иден. Думаю, Вера, потерявшая Джеральда, была до известной степени даже рада, что Чеда считают ее любовником и отцом мальчика. Это давало ей точку опоры, как бы возвращало молодость. И у нее остался Джейми. Она и предположить не могла, как преданно будет любить его.

Иден почти не виделась с ней. Не спрашивала о Джейми — не хотела знать. Есть такой еврейский анекдот о человеке, который говорит о своем враге: «За что он меня так ненавидит? Я не сделал ему ничего хорошего». Может, именно так Иден теперь относилась к Вере? Вера сделала ей много добра, оказала неоценимую услугу. Такого бремени Иден просто не могла вынести, чувство вины было слишком сильным, и это чувство превратилось в неприязнь. А затем она встретила Тони и обручилась с ним. Должно быть, Вера подумала, что теперь у Иден могут родиться другие дети. Все в порядке, и опасаться нечего, поскольку Иден не захочет, чтобы муж узнал о Джейми. Но дети не появлялись, а потом случился выкидыш, результат внематочной беременности, и шансов выносить и родить ребенка у Иден практически не осталось. Вот тогда Вера испугалась. Наверное, она не видела свидетельства о рождении, но догадывалась, что в нем написано. Если Иден предъявит права на Джейми, то у Веры, как сказал Фрэнсис, не хватит духу возразить. Возможно, дело осложнялось явным безразличием Иден к Джейми. Но это не помешало бы ей забрать ребенка, чтобы иметь сына, наследника Тони и его торговой империи.

— Вера вдруг вскочила, — рассказывала Джози, — и выбежала из комнаты. Никто этого не ожидал, и меньше всего Иден. Она сидела там с победоносным видом — разрушив свой брак, восстановив против себя семью, но все равно торжествующая и недоступная. Вы понимаете, о чем я. По крайней мере, у меня сложилось такое впечатление. Иден медленно встала и произнесла: «Полагаю, она пошла его искать. Я точно не знаю, где он».

— Мы последовали за ней. Я часто жалею об этом. В конце концов, мне-то какое дело? Я была просто подругой Веры, которая привезла ее в дом. Мне следовало уехать, и я сама не понимаю, почему осталась. Причем это нельзя назвать нездоровым любопытством — с меня хватило уже выслушанных откровений и излияний. Наверное, мне казалось, что я не должна бросать Веру здесь, в доме ее врагов — ведь они все были ее врагами, правда? Вплоть до Джун Пул, любимицы Иден.

Я не осмеливалась смотреть на отца, а он на меня... Это странно и

глупо, но отец сделал краеугольным камнем своей жизни идеализацию женственности в семье Лонгли, воплощением которой стала сначала его мать, а затем сестры. Подобно большинству идеализаций, она опиралась на иллюзию, и со стороны отца было очень глупо приносить ей в жертву свой брак и выставлять себя на посмешище, приписывая сестрам качества, которыми они не только не обладали, но которые явно противоречили их истинным характерам. Но как мне его было жалко! Теперь отец лишился этой опоры, и его мир стал другим. Ему даже пришлось изменить отношение к жене и дочери, потому что до сих пор он смотрел на них через очки Лонгли, одним стеклом которых была Вера, а другим Иден. Отец все время сравнивал жену и дочь с сестрами, подчеркивая разницу. Что касается моей матери, тут следует отдать ей должное — после убийства и ареста Веры она не позволила себе ни одного худого слова в адрес сестер, а если и говорила о них, то всегда с жалостью. Но при всем том она превратилась в немногословную женщину.

Джози рассказала нам остальное. Дошла до конца и умолкла. Джейми был наверху, в своей комнате. Он уже вырос из детской, таким большим мальчикам детская не нужна, но эти две женщины, каждая по-своему, не давали ему взрослеть. Чудесная комната, вспоминала Джози. Конечно, она не была там раньше, не видела обои с картинками из сказок и ковер с листьями плюща. Новый ковер был светло-бежевым, а мебель — белой. По фризу вдоль стен среди голубых волн и чаек плыли яхты. На стенах висели репродукции: «Детство Роли»,<sup>[76]</sup> лошади Стаббса<sup>[77]</sup> и «Последний рейс корабля „Отважный“». <sup>[78]</sup>

День выдался теплым, но на дворе все же стоял апрель, и поэтому в камине горел огонь, отгороженный решеткой. В дальнем углу Джун Пул складывала белье. Джейми стоял на бело-голубом коврик перед камином, а Вера опустила перед ним на колени. У Джози сложилось впечатление, что мальчик ничем не был занят, вообще ничего не делал, а просто сидел или стоял, ошеломленный бурными событиями. Они ворвались в комнату — Иден, Тони, Джози, а также миссис Кинг, хотя в тот момент никто не знал, почему она к ним присоединилась.

— «Если ты отсюда не уйдешь, — сказала Иден, — придется вывести тебя силой». Она посмотрела на миссис Кинг и Джун. Миссис Кинг не сдвинулась с места, но Джун отложила наволочку, которую держала в руках, и направилась к нам. Как мне показалось, вид у нее был угрожающим. «Иден, это нужно прекратить», — сказал Тони, и она ответила: «Полностью с тобой согласна. Что я и делаю». Потом протянула

руки, чтобы взять Джейми.

Теперь я лучше приведу отрывок из стенограммы. Как бы то ни было, это официальная версия, и свидетельства Джози в суде на шесть месяцев предваряют ее рассказ нам.

**Адвокат:** Что произошло потом, миссис Кембас?

**Миссис Кембас:** У миссис Хильярд в руке появился нож.

**Адвокат:** Что вы имеете в виду? Она откуда-то взяла нож? Принесла с собой?

**Миссис Кембас:** Наверное, принесла с собой. Она достала его из своей сумки. Это был длинный кухонный нож.

[Миссис Кембас показывают нож, вещественное доказательство В.]

**Адвокат:** Этот нож?

**Миссис Кембас:** Точно такой же, да.

**Адвокат:** Вы раньше его видели?

**Миссис Кембас:** Я должна отвечать на этот вопрос?

**Судья Ламберт:** Вы обязаны ответить адвокату.

**Миссис Кембас:** Тогда да, я его видела.

**Адвокат:** Где?

**Миссис Кембас:** На кухне миссис Хильярд. Она резала им овощи. Я видела, как она точила его на камне.

**Адвокат:** Значит, миссис Хильярд достала нож из сумки. И что произошло?

**Миссис Кембас:** Миссис Хильярд бросилась с ножом на миссис Пирмейн. Кто-то схватил мальчика... миссис Кинг, да, я думаю, это была миссис Кинг. Она схватила мальчика и вывела из комнаты. Мистер Пирмейн пытался остановить миссис Хильярд. Она ударила его ножом в руку, правую руку. Потом напала на миссис Пирмейн, ранила в шею и в грудь. Было много крови, везде. Миссис Пирмейн вскрикнула и упала, опустилась на четвереньки — из нее хлестала кровь.

Кровь залила голубые стены, яхты, морские волны и чаек. Иден вырвало кровью, и потом она умерла. Упала замертво на коврик перед камином. Вера направила нож на себя, но ее остановила Джун Пул, схватив

за руки, а потом связав поясом своего платья.

Вместо истории Веры Дэниел Стюарт расследует случай в Кирби-Тейстон, связав убийство Санни Дарем с исчезновением Кэтлин Марч. Это будет абсолютно другой взгляд на события в свете новых свидетельств, которые он обнаружил, изучая нашу семью. Стюарт получит возможность использовать многое из того, что я ему рассказала, когда будет писать о роли Веры Хильярд. Думаю, он рад, даже счастлив и испытывает облегчение, избавившись от запутанных отношений Лонгли и Хильярд. Так что я оказалась права — хотя в тот момент не была абсолютно уверена, — когда говорила Фрэнсису, что история его матери никогда не будет написана.

Стенограмму судебного заседания я уничтожила, дважды прочитав ее. В один из дождливых дней или одиноких вечеров нездоровое любопытство может вернуть меня к этим листкам, а я не хочу, чтобы мне напоминали о страданиях бедной Веры или, косвенно, о моих собственных неудачах, о первом браке и плохих оценках на выпускных экзаменах, которые стали результатом страха, что дурная слава Веры будет преследовать меня всю жизнь. В двадцать два года благоразумия у меня было не больше, чем здравого смысла у дочери Фрэнсиса Элизабет, которая убеждена, что в девятых годах двадцатого века имя Веры Хильярд может вызвать какие-то чувства, кроме безразличия. В отсутствие каминов и печек я отдала стенограмму мужу, который скормил это необычайно захватывающее и экзотическое блюдо измельчителю бумаг у себя в офисе.

Как обвиняемая в убийстве, Вера не была обязана давать показания в суде, и она их не давала. Возможно, адвокат защиты убедил ее молчать, понимая, что любые ее слова только ухудшат дело, или самой Вере было нечего сказать в свою защиту. Джози рассказала нам о ее глубокой апатии, о том, что, когда она навещала Веру в тюрьме, та ушла в себя, погрузилась в молчание — похоже на так называемую «реакцию бегства». Я уверена, что Вера хотела умереть. Альтернативой было длительное тюремное заключение и годы страданий, когда она будет знать, что Джейми отдан совсем не в любящие руки. Адвокат, конечно, пытался ее защищать. Она хотела лишь напугать, ранить сестру. Но, впад в неистовство, наносила удар за ударом...

Есть еще кое-что, заставившее Стюарта отказаться от своей затеи, — сомнение в сути дела. Элемент тайны в произошедших событиях

действительно может послужить причиной для подобного исследования, но вопрос, на который требуется ответить, всегда звучит так: кто совершил преступление или как. В случае с Верой тут все было ясно. Неопределенность присутствовала совсем в другом, в сложном вопросе о причинах, в сомнениях того рода, которые редко встречаются в других семьях и в жизни других людей, и разрешить которые не в состоянии ни одно расследование.

Наша память несовершенна. Мы склонны забывать. Труднее всего нам поверить в утверждение непререкаемого стороннего авторитета, что событие, о котором мы помним, — всего лишь плод нашего воображения. Когда мы с Джейми сидели в его саду после ужина, он сказал мне, что в тот день кровь Иден попала на него, залила всю одежду. Это единственное, что сохранилось у него в памяти. Однако, прочитав стенограмму судебного заседания, он понял, что ошибался. Джейми помнил то, чего не было, поскольку миссис Кинг увела его раньше, чем Вера пустила в ход нож, за несколько секунд до этого. Так что в основе его манерности, его привычки стряхивать кровь с плеча лежит иллюзия.

Джейми переехал в маленький домик за высокой стеной на Орти Орчелари. В стене имеются ворота из кованого железа, а на портике, по обе стороны которого установлены две вазы, соединенные каменным лавровым венком, вырезаны строки из Данте:

*О, что за трепет душу мне объял,  
Когда я обернулся к Беатриче  
И ничего не видел, хоть стоял  
Вблизи нее и в мире всех величий!*<sup>[79]</sup>

Может, Джейми тоже был потрясен и растерян, еще раз вернувшись к тому, что не дает ему покоя всю жизнь? К тому, что он видел и не видел? Не ссылаясь на психотерапевтические теории, советующие не бежать от проблемы, и тогда она уйдет сама, Джейми говорит мне, что рад, что прочел стенограмму. По крайней мере, это заставило его посмотреть правде в глаза. Перестав быть жупелом, химерой, правда вышла на поверхность — не хуже и не лучше, чем он представлял, а такая, как есть, очищенная от вымысла. Пользуясь жаргоном этих теорий, можно сказать, что Джейми повернулся к ней лицом.

Он точно так же много смеется, часто стряхивает что-то с плеча — хотя теперь сопровождает свой жест нетерпеливым кивком головы и

намеренно задерживает руку на полпути — и приготовил для меня, как и обещал, изумительные блюда — *farfalle con asparaghi, manzo per un dio biondo* (говядина с виноградом, говядина для белокурого бога, что вызывает ассоциацию с Фрэнсисом), *crema d'arancia* и *amaretti*. Соус к говядине Джейми готовит в последнюю минуту — вероятно, это требуется для достижения совершенства, — и пока он стоит у плиты, я рассказываю ему, что картины, которым Фрэнсис дал несуразные названия, исчезли из отеля на Виа Кавур. Мы с Луи снова остановились там, и я заглянула в тот номер: их место заняли безобидные и даже милые акварели с видами Венеции. Книги Фрэнсиса и Джейми лежат рядом на кухонном столе, новенькие, только что из типографии, в блестящих разноцветных обложках: «Нимфы, наяды и поденки» и «Cucina Ben Riuscita». При взгляде на них я чувствую умиротворение — в конечном итоге все приходит к согласию.

В саду Джейми нет цветов. Разумеется, их и не должно быть — это итальянский сад. Меж каменных плит пробиваются кислица и песчанка с крошечными цветами, белыми и желтыми, но остальной сад — это темная зелень вечнозеленых растений и блеклый серый камень. В вазах, напоминающих те, что стояли на террасе Гудни-холла, растет что-то похожее на азиатский ландыш, а из стелющегося по земле плюща выглядывают острые, мясистые листья сансевиерии, которую еще называют «тещиным языком». В саду есть маленький стоячий пруд, без рыбок, но заросший лилиями, а под стенами, позади стен и в каменных и кирпичных нишах расположились кошки, бродячие кошки, которых полно в итальянских городах. Мы время от времени слышим их, когда гибкие тела животных проскальзывают между ветвями и остатками колонн, а после наступления темноты видим их глаза. Джейми ставит на стол лампу, на которую слетаются мотыльки, и я вспоминаю, как Вера просила меня немного посидеть в темноте и покое и не зажигать света, чтобы не впускать мотыльков.

— Расскажите мне о матери, — просит Джейми; он выглядит спокойным, его голос не дрожит.

Похоже на вопрос-ловушку. Я помню сказанные на Английском кладбище слова — о том, что его мать хорошо готовила. Как говорится, яблоко от яблони недалеко падает. Я собираюсь с духом и говорю ему, что самое неестественное из сомнений — это сомнение в *материнстве*.

— Я не сомневаюсь, — отвечает он. — Что бы ни думали родственники и весь остальной мир, я знаю, что Вера Хильярд была моей матерью.

Как я могу с ним спорить? В каком-то смысле это было бы

самонадеянно. Я даже не уверена, что хочу спорить. В сумерках, уже совсем темных, с кружащимися у лампы мотыльками, я рассказываю ему о Вере только хорошее, тщательно редактируя воспоминания: о том, как она его любила, как преданно заботилась, о ее самоотверженной любви к Иден, о ее хозяйственности и чувстве долга. В моем описании Вера предстает идеальной женщиной, благородной и смелой. Исчезают злословие, снобизм, предрассудки, мелочность, равнодушие. Я не упоминаю о таких правилах, как еда левой рукой, а питье правой. Ничего не говорю о ее страхе перед Фрэнсисом и неприязни к нему. Возможно, достоинства Веры перевешивают ее недостатки, и когда я сказала Джейми, что она не так грешна перед другими, как другие перед ней,<sup>[80]</sup> то была недалеко от истины.

— Я рад, что Стюарт отказался от своей затеи, — говорит Джейми. — Книгу, конечно, следовало писать иначе, или, по крайней мере, он не должен был посвящать последнюю главу аргументам за и против того, чего в реальности не существует. Возможно, я когда-нибудь сам напишу о матери. Вы мне поможете, если я решусь?

— Нет, Джейми, — отвечаю я. — Не думаю.

Большая золотистая луна поднимается над темными деревьями парка Орчелари. Я говорю Джейми, что мне пора, и мы немного спорим — он настаивает, что проводит меня до стоянки такси на Санта Мария Новелла. Я настроена вернуться пешком к Виа Кавур. Мы целуемся на прощанье. И у меня такое чувство, что ко мне прижимается бурый медведь. Но иллюзия быстро рассеивается — Джейми поспешно отступает, чтобы стряхнуть невидимую кровь с плеча. В конечном итоге он провожает меня до улицы. Дальше уже светло и многолюдно; толпы народу заполняют Пьяцца делла Стационе, и мне удается убедить Джейми, что теперь я в безопасности. Его отвлекает меню у ресторана «Отелло». Оглядываясь, я вижу, что он все еще изучает меню — внимательно, забыв о тревогах и о прошлом.

Мой муж сказал, что выйдет мне навстречу; я вижу его, поворачивающего с Виа Национале. После стольких лет, проведенных вместе, при встрече с ним у меня все равно замирает сердце, и это приятное чувство. Муж провел вечер с каким-то бизнесменом, живущим во Флоренции англичанином, который собирается подать в суд на газету, обвинив ее в клевете. Луи специализируется на судебных тяжбах, или, как он сам выражается, на том, чтобы убедить людей отказаться от судебных тяжб. Именно к нему я обратилась, чтобы развестись с Эндрю, выбрав сына Джози просто потому, что он был единственным адвокатом, которого я знала. Я хотела избавиться от одной ловушки, но тут же попала в другую,

хотя на этот раз с убежденностью в будущем счастье — и не ошиблась. Из огня да в полымя. Как мне повезло, что это пламя по-прежнему ярко горит!

Я беру его под руку. Рассказываю о Джейми, передаю его слова.

— А ты что думаешь? — спрашиваю я его.

— Кто настоящая мать Джейми? Несомненно, Эдит Пирмейн.

— Долгие годы я не верила, а потом долгие годы считала, что так и есть.

— Дело в том, — говорит Луи, когда мы подходим к отелю, — что данный факт не играл существенной роли в суде над Верой. Я бы сказал, обе стороны поступили мудро, не поднимая этого вопроса. Так было справедливее.

— Как ты можешь!

— Вспомни дело Эдит Томпсон в двадцатых годах. Она явно невиновна в убийстве мужа. Его зарезал Байуотерс, причем без подстрекательства с ее стороны. Но Байуотерс был ее любовником, а она была замужней женщиной, и именно это стоило ей жизни. Вспомни случай Рут Эллис, через несколько лет после Веры Хильярд. Атмосфера нисколько не изменилась. Говорят, Рут Эллис повесили не потому, что она застрелила любовника, а потому, что она *имела* любовника. Если бы защита настаивала, что Джейми сын Веры — а не позволила предположить, что его мать Эдит, — пришлось бы признать, что он не сын Джеральда Хильярда. Теперь ты понимаешь?

— Результат все равно тот же.

— Нет. Повешение — самое страшное из наказаний. Попробовать стоило, шанс был. — Луи смотрит на меня, вскинув одну бровь. — Он сын Эдит... Иден... правда?

— Не знаю. И теперь уже никто никогда не узнает.

Я не знаю. Именно в этом суть загадки, которая привела в отчаяние Дэниела Стюарта и заставила его отступить.

Вероятнее всего, матерью Джейми действительно была Иден, но что делать с многочисленными фактами, свидетельствующими против этой версии? Несомненно, Иден забеременела летом 1943 года, и первым человеком, к кому она обратилась со своей бедой, был Фрэнсис. Они всегда дружили, делились друг с другом всем тайным и сокровенным. Но если Фрэнсис порекомендовал ей врача, дал денег, или часть денег, на аборт, почему она не избавилась от ребенка? Испугалась или ее отговорила Вера? По словам Стюарта, было проведено вскрытие тела Иден, но не с целью выяснить, была ли она когда-нибудь беременна, то есть выносила и родила

ребенка.

Существует веский аргумент в пользу того, что Иден все-таки сделала аборт. В 1948 году у нее был выкидыш, как следствие внематочной беременности. Одним из главных факторов, способствующих развитию внематочной беременности, когда зародыш прикрепляется к стенке фаллопиевой трубы, а не матки, считается неудачный аборт, вызвавший воспаление и последующую непроходимость фаллопиевой трубы. Разумеется, не исключены такие причины, как гонорея (о чем скандально намекала моя мать), а также предыдущие неправильно проведенные роды. Возможно, венерическое заболевание не следует полностью отменить, чего не скажешь о неудачных родах. Роддом, в котором появился на свет Джейми — независимо от того, кто была его мать, — считался хорошим. Я не слышала, чтобы его персонал когда-либо обвиняли в небрежности.

Итак, вполне возможно, что Иден избавилась от ребенка, отцом которого был американский солдат из Лондондерри, — а потом горько пожалела о своем решении. Той же осенью она узнала, что сестра, которая гораздо старше ее, ждет ребенка, и почти позавидовала ей. Хотя ребенок был не от Джеральда — это очевидно. Может, все произошло так, как я предполагала раньше? Может, Вера встретила старого приятеля, приехавшего домой в отпуск, и, уставшая от одиночества, переспала с ним? Энн Кембас однажды рассказала мне (без всякой связи с описываемыми событиями), что дети в одной из семей Синдона своей смуглой кожей обязаны деду, старому моряку — во времена моего детства он был еще жив, — который привез жену из Агадира.<sup>[81]</sup> Два его сына во время войны служили в армии, оба офицерами. Или это притянута за уши? Я говорю глупости? Возможно.

Вера кормила Джейми грудью. Я сама видела. Тут ошибки быть не может. С тех пор я прочла много книг и газетных статей на эту тему и знаю, что у женщин, усыновивших чужих детей, может появиться молоко. Они добиваются этого силой любви и настойчивостью, держа ребенка у пустой груди. Почему подобное не могло произойти с Верой? Она принадлежала к тому типу женщин, которые способны на это, упорных, добросовестных, склонных к навязчивым идеям, движимых чувством долга, как они его понимают. Забрав ребенка Иден, Вера вполне могла прикладывать его к груди, позволяя сосать, потом увидела каплю молока, выделяющуюся из соска, и продолжила свои попытки — ради того, чтобы упрочить связь с ребенком, потому что так лучше для него, и чтобы окружающие не сомневались в том, что она его мать.

Или вероятность этого невелика, и Джейми, скорее всего, был ее

сыном, а грудное вскармливание стало естественным следствием родов? Вера отличалась притворной стыдливостью и чувствительностью, и, расскажи ей кто-нибудь об искусственно вызванной лактации, она скривилась бы и воскликнула: «Какая гадость!» Вера не кормила грудью Фрэнсиса, хотя была очень молода, когда он родился, и это не составило бы для нее труда. Она никогда бы не стала кормить грудью чужого ребенка — ей просто не пришло бы в голову.

Вы можете спросить: если Джейми сын Веры, то почему она позволила Иден вписать себя в качестве матери в его свидетельстве о рождении? Возможно, Вера и не позволяла, возможно, ничего не знала об этом, пока не стало слишком поздно. Хотя могла и одобрить такой подлог. В любом случае, она сама считала, что совершила ужасный грех. Родила ребенка от мужчины, который не был ее мужем. Что само по себе плохо. Собиралась ли Вера скрыть свой проступок, сказав мужу, что Джейми от него? У нее не хватило духа сказать правду. Почему бы тогда не обезопасить себя и не принять предложение Иден, зарегистрировав Джейми как ее сына? В то время ребенок никому не был нужен, он стал бы обузой для обеих, но сестры были бесконечно преданы друг другу. Иден совершит благородный поступок ради нее, чтобы однажды — когда (и если) Джеральд вернется, если начнет сомневаться, если ребенок будет не похож на него или похож на кого-то другого — Вера смогла показать Джеральду свидетельство о рождении и сказать, что усыновила Джейми ради Иден. Когда родился Джейми, Вера не могла предвидеть, что так сильно полюбит ребенка или что Иден когда-либо захочет его забрать.

Итак, Джейми сын Веры, в чем он сам убежден, а ее страх потерять его основан лишь на фальшивом свидетельстве о рождении. Ни разу — ни в суде, ни во время убийства, ни до этого, ни в разговорах с Хелен или отцом, которые навещали ее в тюрьме, — Вера не признала правоту Иден, утверждавшей, что Джейми ее сын. Твердо настаивала, что она мать Джейми.

С другой стороны, Джейми вполне мог быть сыном Иден. В противном случае зачем ей увольняться из женской вспомогательной службы военно-морских сил, не поставив в известность никого из родственников, и практически исчезать с осени 1943 года по лето 1945-го? Решится ли кто-нибудь в здравом уме на ложное заявление регистратору, назвав себя незамужней матерью незаконнорожденного ребенка, чтобы спасти сестру от возможных подозрений со стороны мужа? В тот момент Иден не могла предвидеть, что когда-нибудь захочет усыновить Джейми. На это требовалось согласие мужа, о котором пока не было и речи. Она

боялась риска, связанного с абортom, боялась отказаться от ребенка, боялась солгать регистратору, хваталась за Веру, как за спасательный круг, сестру-мать-спасительницу Веру, которая предложила взять ребенка и вырастить как своего собственного. Джейми — сын Иден. Она ни за что не стала бы лгать — расчетливая, практичная охотница за мужьями. В те дни мужчины желали брать в жены только девственниц, по крайней мере те мужчины, о которых мечтала Иден.

И так далее, и так далее, по кругу, без какого-либо перевеса в сторону Иден или Веры. За эти долгие годы я выяснила, что думают другие люди. Их взгляды прямо противоположны. Хелен на стороне Иден. Она говорит, что Джейми — сын Иден, и верит в это так же твердо, как сам Джейми уверен в обратном. Вера так не боялась бы Иден, утверждает Хелен, если бы действительно была матерью Джейми, а сомнения основывались лишь на ошибке в свидетельстве о рождении. Но Джеральд однажды признался Хелен, что у него нет сомнений, что Джейми — сын Веры; если бы матерью ребенка была Иден, а Вера просто воспитывала его, оказывая услугу сестре, она все рассказала бы ему, когда он вернулся домой, сразу же сообщила бы в письме. Я не считала его тонким знатоком людских душ, однако Джеральд действительно сказал Хелен, что Вера — такая, какой он ее знал, — скорее солгала бы ему, что Джейми — сын Иден, чем ради сестры назвала бы ребенка Иден своим. На самом же деле она ему ничего не сказала. Отказывалась обсуждать вопрос об отце Джейми, и в конечном итоге именно поэтому Джеральд расстался с ней.

Фрэнсис не сомневается (он рассказал Чеду, а Чед — Стюарту), что Джейми — сын Иден. Она пришла к нему осенью 1943 года, призналась, что беременна, и попросила денег на аборт. Фрэнсис достал денег и отдал ей с условием, что, если она передумает, деньги пускай вернет. Иден понимала, что нужно делать аборт, но очень боялась, опасаясь, что врач убьет ее или что-нибудь повредит и она уже не сможет иметь детей. После этого Фрэнсис не видел ее больше года, но денег назад не получил. Сам Чед никогда не сомневался, что Джейми — сын Веры, потому что, как и я, видел, что она кормит ребенка грудью. Джози, моя свекровь, всегда считала Джейми сыном Веры на том основании, что за долгие часы, проведенные вместе, когда Вера изливала ей свои страхи, она обязательно призналась бы, что Джейми не ее ребенок, а Иден. Однако Тони не сомневался, что Джейми сын его жены, — не будь это правдой, она никогда не стала бы рисковать потерей мужа и дома. Энн Кембас вспоминает, что весной 1944 года проходила мимо «Лорел Коттедж» и видела, как из двери на секунду выскочила Иден — от порыва ветра платье облепило выпирающий

живот, — а затем скрылась в доме. Но Энн не до конца уверена и не решится утверждать под присягой, что видела именно Иден, а не Веру, и мы с ней допускаем, что она, подобно Джейми, может непреднамеренно исказить прошлое.

По возвращении из Италии нас ждет обычная гора почты, на этот раз не только для Луи, но и для меня — Дэниел Стюарт вернул все письма и фотографии. Я не тороплюсь вскрыть три пухлые посылки, откладывая до следующего дня, когда останусь одна. На этот раз никаких слез, только грусть и ностальгия, ощущение глупости и бессмысленной суеты.

Вот недовольное письмо Иден, которая выговаривает отцу за мою невежливость, а вот Вера сообщает о своем намерении поселиться в «Лорел Коттедж» и сделать его домом для Иден. Вот фотографии Веры с Фрэнсисом на коленях, где у нее на волосах коричневое пятно — кровь моего отца, порезавшего палец, когда он выковыривал снимок из рамки. Одухотворенная Иден из фотостудии в Лондондерри лежит между сияющей Иден в свадебном платье с воротником в форме лепестка каллы и Верой с Джеральдом на фоне купола и бананового дерева.

Я иду наверх, достаю сейф и возвращаю все на место; последним, на самый верх стопки, я кладу сделанный летом, в саду у Веры, снимок всей семьи, где мы стоим с невинными улыбками, еще не подозревая о рожденьях, браках и смертях, которые ждут нас впереди.

---

**notes**

## **Примечания**

**1**

Живописная сельская местность на востоке Англии.

2

Знаменитый английский поэт XIX в.

**Оскар Уайльд.** Баллада Редингской тюрьмы. — *Пер. Н. Воронель.*

## 4

Последняя казненная в Англии женщина. В 1955 г. она застрелила своего любовника Дэвида Блейкли.

## 5

Казнена в 1922 г. в Лондоне вместе с любовником Фредериком Байуотерсом за убийство мужа, Перси Томпсона.

**6**

Улица во Флоренции.

7

Улица во Флоренции.

## 8

**Элизабет Барретт Браунинг** (1806–1861) — английская поэтесса Викторианской эпохи.

# 9

**Уолтер Сэвидж Лэндор** (1775–1864) — английский поэт и эссеист.

**10**

Английская писательница (1817–1873).

# 11

Жена английского живописца Уильяма Холмана Ханта, одного из основателей Братства прерафаэлитов.

## 12

Титул главы охотничьего общества и владельца своры гончих, как правило, представителя земельной аристократии.

# 13

Первое причастие юношей и девушек в англиканской церкви.

Псевдоним английской романистки Мари Луизы Рамс (1839–1908).

**15**

Английский писатель, художник, теоретик искусства, литературный критик и поэт.

## 16

Один из самых известных английских военачальников, чье имя прочно ассоциируется с колониальными войнами в Индии.

**17**

Индийское национальное восстание 1857 г.

Привилегированная мужская средняя школа, одно из девяти старейших и престижнейших частных учебных заведений страны.

Сандхерстский военный колледж.

Частная школа-интернат для мальчиков; готовит учащихся к поступлению в привилегированную частную среднюю школу.

Церковь, построенная в Средние века на доходы от торговли шерстью.

Известный английский живописец, один из основателей Братства прерафаэлитов.

Книга американской писательницы Джин Страттон-Портер.

**24**

Популярная детская игрушка; коробка с фигуркой, выскакивающей, когда открывается крышка.

Психологический процесс, относимый к механизмам психологической защиты, в результате которого внутреннее ошибочно воспринимается как приходящее извне. Человек приписывает кому-то или чему-то свои собственные мысли, чувства, мотивы, черты характера и пр., полагая, что он воспринял что-то приходящее извне, а не изнутри него самого.

Период Второй мировой войны между сентябрем 1939 г. и маем 1940 г., когда Великобритания де-юре находилась в состоянии войны с Германией, но де-факто не принимала участия в боевых действиях.

**27**

6,35 кг.

Персонаж романа Г. Р. Хаггарда «Копи царя Соломона».

Один из старейших колледжей Оксфордского университета.

Женская организация, члены которой работали на фермах во время Второй мировой войны.

**31**

Немецкий бомбардировщик.

Пригород Лондона.

Пригород Лондона.

**Бомбазин** — шелковая ткань, обычно черного цвета.

«Дети, кухня, церковь» — немецкий лозунг, определяющий роль женщины в Германии.

**36**

Отбеливающее средство, содержащее соединения ртути.

Faith в переводе с английского — «вера», «доверие».

Что и требовалось доказать.

Псевдоним Гектора Хью Манро, английского писателя и журналиста.

Обращение к европейской женщине в колониальной Индии.

**Мартини** — коктейль из джина и вермута. Чем больше пропорция джина, тем суше мартини. Некоторые любители очень сухого мартини считают, что вермут добавлять вообще не нужно — достаточно показать налитому в стакан джину бутылку вермута.

42

Известный художник по интерьерам.

В переводе с английского Goose — «гусь», Gander — «гусак».

В греческой мифологии нетленная, прозрачная кровь богов.

**45**

**Гурок** — город в Шотландии.

Перевод Б. Пастернака.

47

Американская актриса, танцовщица и певица. Была известна прежде всего из-за своих красивых ног.

Речь идет о древнегреческом мифе, в котором богиня Эрида, обиженная, что ее не позвали на свадебный пир царя Менелая и Елены, подбросила гостям золотое яблоко с надписью «Прекраснейшей»; богини Гера, Афина и Афродита перессорились, и эта ссора в конечном итоге привела к Троянской войне.

Правительство поначалу пыталось скрыть ракетные обстрелы, утверждая, что это взрыв на газопроводе.

Названия магазинов, по имени их владельцев.

Английский писатель, переводчик, историк и этнограф. Наибольшей известностью пользовались издававшиеся им сборники волшебных сказок Великобритании.

**Томас Арчер** (1678–1743) — единственный английский архитектор, который работал в стиле барокко.

**Джон Клавдий Лоудон** — шотландский ботаник и специалист по садово-парковому искусству.

Героиня одноименного романа Т. Харди.

Главная героиня одноименного романа Шарлотты Бронте.

У. Шекспир, сонет 66. Перевод С. Я. Маршака.

Персонаж трагедии Дж. Уэбстера «Герцогиня Амальфи» (1613–1614).

Олицетворение, очеловечивание природы (выражение создано Дж. Рескином).

**Эмениды**, или фурии, — в греческой мифологии богини мести, ненависти и кары.

Персонажи романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение».

**61**

Английский иллюстратор, который проиллюстрировал практически всю классическую детскую литературу.

Сок цитрусовых с газированной водой.

Виноградники, где производят самое востребованное и самое дорогое белое вино в мире.

Леди Макбет, парафраз из шекспировского «Макбета».

Фешенебельный магазин галантерейных изделий и подарков.

**Джон Милтон.** Потерянный рай. — Перевод А. Штейнберга.

Улица в Лондоне, где до недавнего времени располагались редакции главных британских газет.

**Кристина Россетти.** Базар гоблинов. — Перевод Б. Ривкина.

Языческий шотландский праздник последнего дня в году.

Английская детская писательница и художник.

Один из главных героев романа Шарлотты Бронте «Джейн Эйр».

Награда за отвагу.

Фильм о Второй мировой войне, о неудачной тайной операции союзников.

Персонаж романа Ивлина Во «Возвращение в Брайдсхед», аристократ.

75

Норвежский кутюрье.

Картина английского живописца Джона Милле.

Английский художник и ученый-биолог.

Картина английского живописца Уильяма Тернера.

**Данте Алигьери.** Божественная комедия. — *Пер. М. Лозинского.*

**Шекспир У.** Король Лир: «Я не так перед другими грешен, как другие передо мной...» — *Пер. Б. Пастернака.*

**81**

Город на юго-западе Марокко.

# Table of Contents

[Барбара Вайн Пятьдесят оттенков темноты](#)

[1](#)

[2](#)

[3](#)

[4](#)

[5](#)

[6](#)

[7](#)

[8](#)

[9](#)

[10](#)

[11](#)

[12](#)

[13](#)

[14](#)

[15](#)

[16](#)

[17](#)

[Примечания](#)

[1](#)

[2](#)

[3](#)

[4](#)

[5](#)

[6](#)

[7](#)

[8](#)

[9](#)

[10](#)

[11](#)

[12](#)

[13](#)

[14](#)

[15](#)

[16](#)

[17](#)  
[18](#)  
[19](#)  
[20](#)  
[21](#)  
[22](#)  
[23](#)  
[24](#)  
[25](#)  
[26](#)  
[27](#)  
[28](#)  
[29](#)  
[30](#)  
[31](#)  
[32](#)  
[33](#)  
[34](#)  
[35](#)  
[36](#)  
[37](#)  
[38](#)  
[39](#)  
[40](#)  
[41](#)  
[42](#)  
[43](#)  
[44](#)  
[45](#)  
[46](#)  
[47](#)  
[48](#)  
[49](#)  
[50](#)  
[51](#)  
[52](#)  
[53](#)  
[54](#)  
[55](#)

[56](#)  
[57](#)  
[58](#)  
[59](#)  
[60](#)  
[61](#)  
[62](#)  
[63](#)  
[64](#)  
[65](#)  
[66](#)  
[67](#)  
[68](#)  
[69](#)  
[70](#)  
[71](#)  
[72](#)  
[73](#)  
[74](#)  
[75](#)  
[76](#)  
[77](#)  
[78](#)  
[79](#)  
[80](#)  
[81](#)